Издательский дом «Дискурс-Пи»



Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ

Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ (Серия «Дискурсология»)– Екатеринбург:Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2006, - 177 с.
Книга представляет собой сборник статей, в которых рассматриваются многочисленные теории дискурса, разработанные представителями зарубежной и отечественной науки. Основное внимание уделяется анализу различных направлений и школ, специализирующихся в области дискурс-исследований. В работе содержатся аналитические обзоры таких современных течений как критический дискурс-анализ, постмодернистский дискурс-анализ, культурные исследования, визуальные исследования и др.

Ряд статей посвящен исследованию конкретных дискурсов, функционирующих в современной общественной жизни. Предметом специального анализа выступают дискурсы постмодерна, демократии, гражданственности, справедливости, прав человека, политической манипуляции, социальной дискриминации, региональной идентичности. Ключевым методом исследования разнообразных дискурсов выступает мультидисциплинарный подход.

В составе авторского коллектива – ведущие и молодые ученые Института философии и права УрО РАН, а также видные ученые из Бельгии, Нидерландов и Австралии.

В книге формулируется заявка на институционализацию новой общественной дисциплины – дискурсологии. Предлагается концепция структуры предметной области и базовой проблематики новой дисциплины.

Основной адресной аудиторией настоящего сборника работ являются обществоведы, ученые, преподаватели и студенты вузов. Книга также предназначена всем, кто интересуется современными исследованиями в области дискурс-анализа.

«Дискурс – это коммуникативное событие, происходящее между говорящим и слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в определенном временном, пространственном и проч. контексте. Это коммуникативное действие может быть речевым, письменным, иметь вербальные и невербальные составляющие».
Тойн А. ван Дейк.

Серия «Дискурсология»
Выпуск 1

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ДИСКУРСА

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АНАЛИЗ

Издательский дом «Дискурс-Пи»
Екатеринбург 2006

Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ (Серия «Дискурсология»)– Екатеринбург:Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2006, - 177 с.

ISBN………

Книга представляет собой сборник статей, в которых рассматриваются многочисленные теории дискурса, разработанные представителями зарубежной и отечественной науки. Основное внимание уделяется анализу различных направлений и школ, специализирующихся в области дискурс-исследований. В работе содержатся аналитические обзоры таких современных течений как критический дискурс-анализ, постмодернистский дискурс-анализ, культурные исследования, визуальные исследования и др.

Ряд статей посвящен исследованию конкретных дискурсов, функционирующих в современной общественной жизни. Предметом специального анализа выступают дискурсы постмодерна, демократии, гражданственности, справедливости, прав человека, политической манипуляции, социальной дискриминации, региональной идентичности. Ключевым методом исследования разнообразных дискурсов выступает мультидисциплинарный подход.

В составе авторского коллектива – ведущие и молодые ученые Института философии и права УрО РАН, а также видные ученые из Бельгии, Нидерландов и Австралии.

В книге формулируется заявка на институционализацию новой общественной дисциплины – дискурсологии. Предлагается концепция структуры предметной области и базовой проблематики новой дисциплины.

Основной адресной аудиторией настоящего сборника работ являются обществоведы, ученые, преподаватели и студенты вузов. Книга также предназначена всем, кто интересуется современными исследованиями в области дискурс-анализа.

(Цитаты для обложки)

«Дискурс – это коммуникативное событие, происходящее между говорящим и слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в определенном временном, пространственном и проч. контексте. Это коммуникативное действие может быть речевым, письменным, иметь вербальные и невербальные составляющие».

Тойн А. ван Дейк.

«Мне казалось, что говорить что-то о чем-то составляло основное свойство дискурса и, соответственно, свойство текста как цепи фраз».

Поль Рикер.

«Я полагаю, что в любом обществе производство дискурса одновременно контролируется, подвергается селекции, организуется и перераспределяется с помощью некоторого числа процедур, функция которых – нейтрализовать его властные полномочия и связанные с ним опасности, обуздать непредсказуемость его события, избежать его такой полновластной, такой угрожающей материальности».

Мишель Фуко.

«Дискурс есть результат гегемонистских артикуляций, цель которых - установление как политического, так и морально-интеллектуального лидерства в обществе».

Якоб Торфинг

.

«Дискурс является формой существования воображаемого, связанного с силой, воображаемого, имя которому власть».

Луи Марен.

«Как и всякий дискурс, претендующий на «реализм», дискурс истории в своем воображении ведает лишь двучленную семантическую схему – референт и означающее».

Ролан Барт.

«Дискурс … имеет форму структуры толкований. Каждое предложение, которое уже само по себе имеет толковательную природу, поддается толкованию в другом предложении».

Жак Деррида.

«Диалогизм соприроден глубинным структурам дискурса … Диалогизм является принципом любого высказывания».

Юлия Кристева.

«Лучший способ устанавливать допущения *дискурса* состоит в том, чтобы изучать его терминологический аппарат. Семантический инвентарь *дискурса* при необходимости определяет границу между тем, что может и что не может быть сказано, обсуждено или исследовано в его рамках».

Франклин Рудольф Анкерсмит.

«Для каждого из нас вся жизнь – не что иное, как лоскутное одеяло из мыслей, слов, предметов, событий, действий и взаимодействий в Дискурсах».

Джеймс Пол Ги.

«Дискурс это язык, используемый в процессе репрезентации социальной практики, отличной от частной точки зрения».

Норман Фэркло.

«Дискурс – это форма социального поведения, которая служит для репрезентации социального мира (включая знания, людей и социальные отношения)».

Луиза Дж.Филлипс и Марианне В.Йоргенсен.

«Присущий структурно дифференцированному жизненному миру метод дискурсивного формирования воли предназначен для того, чтобы наладить социальное партнерство всех общественных групп со всеми конкретными субъектами, учитывая интересы каждого отдельно взятого индивида. Будучи участником дискурсов, индивид со своим несубституированным «да» или «нет» предоставлен сам себе только при условии, что он через совместные поиски истины останентся вовлеченным в универсальное сообщество».

Юрген Хабермас.

«…Дискурс должен быть прочитан в своей классовой грамматике, классовых акцентах, в противоречиях, возникающих между индивидом и его социальным положением или между группой и ее социальным положением, в противоречиях, проговариваемых в самом дискурсе предметов».

Жан Бодрийяр.

«Дискурсивные сообщества могут возникать *там* и *тогда*, *где* и *когда* люди способны повлиять на действия и благополучие, интересы или идентичности друг друга».

Сейла Бенхабиб.

«Дискурс – это чрезвычайно комплексный процесс, состоящий из многочисленных взаимозависящих компонентов. Он возникает из ментальных процессов, пересекающимися, например, с психологическими, социальными, культурными и другими аспектами жизни».

Муара Чимомбо и Роберт Л.Розберри.

«Всякий текст (или слово) несет в себе содержание, но также и действие. Сказать всегда означает совершить: мыслитель что-то говорит и, говоря это, что-то совершает. Это высказывание и это совершение или этот дискурс и дискурсивное действие совпадают или не совпадают … Когда я говорю намеками, то, что я делаю, не совпадает с тем, что я говорю: интенциональный смысл скрыт в дискурсе, дискурсивное действие дает к нему ключ».

Филипп Бенетон.

«Дискурс представляет собой явление промежуточного порядка между речью, общением, языковым поведением, с одной стороны, и фиксируемым текстом, остающемся в «сухом остатке» общения, с другой стороны».

Владимир Карасик.

«Дискурс есть вербализованная речемыслительная деятельность, понимаемая как совокупность процесса и результата и обладающая как собственно лингвистическим, так и экстралингвистическими планами».

Виктория Красных.

…Термин *дискурс* получает множество применений. Он означает, в частности:

1* эквивалент понятия «речь» в соссюровском смысле, т.е любое конкретное высказывание;

2* единица, по размеру превосходящая фразу, высказывание в глобальном смысле; то, что является предметом исследования «грамматики текста», которая изучает последовательность отдельных высказываний;

3* в рамках теорий высказывания или прагматики «дискурсом называют воздействие высказывания на его получателя и его вненсение в «высказывательную ситуацию» (что подразумевает субъекта высказывания, адресата, момент и определенное место высказывания);

4* при специализации значения 3 «дискурс» обозначает беседу, рассматриваемую как основной тип высказывания;

5* у Бенвениста «дискурсом» называется речь, присваиваемая говорящим, в противоположность «повествованию», которое разворачивается без эксплицитного вмешательства субъекта высказывания;

6* иногда противопоставляются *язык* и *дискурс* (langue/discourse) как, с одной стороны, система мало дифференцированных виртуальных значимостей и, с другой, как диверсификация на поверхностном уровне, связанная с разнообразием употребления, присущих языковым единицам. Различается, таким образом, исследование элемента «в языке» и его исследование «вречи» как «дискурсе»;

7* термин дискурс часто употребляется также для обозначения системы ограничений, которые накладываются на неограниченное число высказываний в силу определенной социальной или идеологической позиции. Так, когда речь идет о «феминистском дискурсе» или об «административном дискурсе», рассматривается не отдельный частный корпус, а определенный тип высказывания, который предполагается вообще присущим феминисткам или администрации;

8* по традиции Анализ Дискурса определяет свой предмет исследвания, разграничивая *высказывание* и *дискурс*.

Высказывание – это последовательность фраз, заключенных между двумя семантическими пробелами, двумя остановками в коммуникации; *дискурс* – это высказывание, рассматриваемое с точки зрения дискурсного механизма, который им управляет…

Патрик Серио.

«Вынужденный искать признание своему существованию в категориях, терминах и именах, что не им созданы, субъект ищет знак своего существования вне себя, в дискурсе, который одновременно доминантен и индифферентен».

Джудит Батлер.

«Мы определяем дискурс как сложноструктурированную коммуникативно-знаковую систему, обладающую шестью основными планами: *интенциональным* (властные интенции, стратегии, замыслы), *актуальным* (воплощение властных интенций в реальной деятельности, имеющей знаково-символический характер), *виртуальным* (распознавание и понимание смыслов, ценностей, идентичностей), *контекстуальным* (расширение смыслового поля на основе социокультурных, исторических и иных контекстов), *психологическим* (эмоциональный, энергетический заряд, содержащийся в дискурсе и придающий ему суггестивную силу) и *«осадочным»* (запечатление всех перечисленных выше планов в робщественном сознании и опыте, в той конструируемой и материализуемой обществом среде, формы которой являются отражением культуры)».

Ольга Русакова.

СОДЕРЖАНИЕ

ДИСКУРСОЛОГИЯ КАК НОВАЯ ДИСЦИПЛИНА. ПРЕДИСЛОВИЕ

Слово «дискурс» столь же популярно, сколько неопределенно. Существует множество его трактовок и вариантов применения. Чтобы как-то разобраться в огромной массе литературы, посвященной теоретическим и прикладным проблемам дискурса и дискурс-анализа, а также выяснить, каким образом формируются дискурсы и как они управляют нашей жизнью, мы решили создать специальную серию книг о дискурсе как феномене общественной жизни и предмете научных исследований.

Главная цель настоящей книги – познакомить читателей с современными теориями и концепциями дискурса, которые открывают разнообразные грани этого загадочного и удивительно богатого по содержанию и функциям феномена.

Многие представленные в данной работе теории дискурса опираются на коммуникативный подход. Иначе говоря, дискурс рассматривается как важный и неотъемлемый агент коммуникации, который выступает носителем и ретранслятором смыслов, ценностей, идей, образов, мнений, интерпретаций и прочих ментальных и виртуальных образований.

В то же время, дискурс часто трактуют как мощный властный ресурс, посредством которого социальные институты и индивиды осуществляют свою саморепрезентацию, легитимацию, конструирование и продвижение тех или иных образов реальности, производят позиционирование в социокультурном и политическом пространстве. За право контролировать содержание дискурсов и каналы дискурсных коммуникаций между субъектами социально-политической и культурной жизни ведется напряженная конкурентная борьба.

Властная сила дискурсов, как отмечают многие авторы, заключается в их способности производить социальные, культурные, политические и прочие идентичности. Дискурсы рассматриваются как пароли идентификации: *вы таковы, каков ваш дискурс*.

Современная жизнь бросает вызовы старым идентичностям и взывает к новым дискурсам. В глобализирующемся мире востребованными становятся дискурсы кросскультурной и транснациональной кооперации, дискурсы новой российской, европейской, латиноамериканской и иных идентичностей. Вопрос *«кто мы?»* - сегодня является едва ли не самым главным, центральным в дискурсивном пространстве мировой общественной мысли.

С развитием масс-медийных технологий и массовых коммуникаций дискурсы становятся все более медиатизированными. Мультимединые дискурсы в силу своей синтетической аудивизуальной природы несут в себе мощный эмоциональный заряд, который вовлекает в коммуникацию чувственные и иррациональные компоненты сознания, к тому же, оказывает скрытое воздействие на подсознание, что создает благоприятные условия для реализации манипулятивных стратегий. Вот почему синтез зрелища и музыки, т.е. аудиовизуальность, в наше время все чаще становится атрибутом не только массовой культуры, но и политики.

Расширение пространства массовых коммуникаций и появление все новых видов дискурсов, активно влияющих на различные стороны общественной жизни, предполагает активизацию научной деятельности в области мультидисциплинарного изучения дискурсов. И действительно, в последнее время ученые разных стран и разных специальностей все чаще стали собираться на конференции для обсуждения с междисциплинарных позиций проблем исследования дискурса. Особенно большое внимание сегодня уделяется исследованиям политического дискурса и медиадискурса. В июле 1997 г. в Бирмингеме (Великобритания) состоялась крупная международная конференция, посвященная проблемам анализа политического дискурса. С 2001 г. Европейским центром политических исследований (ECPR) в рамках проводимых им

форумов постоянно работает специализированная секция, на которой обсуждаются теории политического дискурса и дискурс-анализа. Теоретико-методологические вопросы применения дискурс-анализа при исследовании политических процессов стали предметом интересной дискуссии, проходившей в дни работы Третьего Всероссийском конгрессе политологов (Москва, 28-29 мая 2003 г.). Содержание многих тезисов, направленных в качестве заявок для участия в работе Четвертого Всероссийского конгресса политологов (Москва, 20-22 октября 2006 г.), свидетельствует о том, что вопросы теории дискурса и дискурс-анализа неизменно продолжают оставаться в фокусе пристального внимания отечественных исследователей.

Проблемы теории и методов анализа разнообразных дискурсов регулярно освещаются на страницах периодических академических и общественно-политических изданий, в числе которых - отечественные журналы «Вопросы философии», «Полис», «Политические науки», а также научно-практический альманах «Дискурс-Пи» (выпуски 2001-2006 гг.), издаваемый Институтом философии и права УрО РАН.

Столь интенсивное развитие дискурс-исследований, на наш взгляд, дает основание для вывода о том, что сегодня вполне реально появление в семействе современных гуманитарных наук новой кросс-дисциплины, специализирующейся на изучении разнообразных форм и видов дискурса. С нашей точки зрения, данную синтетическую междисциплинарную область знания можно было бы обозначить термином «дискурсология».

Предметную область дискурсологии должны составить, во-первых, вопросы общего порядка, рассматривающие природу, структуру и функции дискурса как феномена общественной жизни.

Во-вторых, в поле исследования будущей дисциплины попадают конкретные группы дискурсов:

- *институциональные дискурсы* (педагогический, медицинский, научный, административный, военный, спортивный, религиозный, семейный и др.),
- *дискурсы идентичности* (национальной, наднациональной, региональной и др.),
- *политические дискурсы* (дискурсы демократии, авторитаризма, популизма, гражданственности, парламентаризма, расизма и др.),
- *медиадискурсы* (PR-дискурс, ТВ-дискурс, дискурс рекламы и др.),
- *бизнес-дискурсы* (дискурсы делового общения, маркетинга, корпоративной культуры и др.),
- *арт-дискурсы* (дискурсы театра, литературы, изобразительного искусства, архитектуры, кино-искусства, моды и др.),
- *дискурсы субкультур* (дискурсы молодежных культур, криминальный дискурс и др.)
- *дискурсы среды обитания* (дискурс дома, интерьера, города, ландшафта и др.),
- *дискурс тела* (сексуальный дискурс, дискурс телодвижений, дискурс бодибилдинга и др.),
- *дискурс сновидений* и др.

В-третьих, в состав дискурсологии, с нашей точки зрения, должны войти прикладные исследования и социальные технологии, которые можно обозначить понятием «дискурсивное искусство».

Под дискурсивным искусством мы понимаем искусство управления процессом коммуникации, связанное с установлением такого режима общения, в ходе которого между всеми его участниками достигается состояние доверия, понимания, согласия, солидарности.

Теория и практика дискурсивного искусства тесно соприкасаются с такими дисциплинами, как педагогика, дипломатия, риторика, деловая коммуникация, социальная работа, политический маркетинг, PR, имиджелогия, коучинг, шоу-политика, медиа-рилейшнз и др.

Изучение дискурсивного искусства, по нашему убеждению, необходимо при организации подготовки широкого круга специалистов, чья профессиональная деятельность требует овладения ценными и полезными навыками гуманитарных коммуникаций.

Понятно, что становление и развитие предметной области дискурсологии нельзя представить без внимательного изучения и обобщения уже накопленного опыта в области осмысления сущности дискурса как категории гуманитарной науки, без анализа основных трактовок дискурса, его теоретических моделей, конкретных практик дискурс-анализа.

В настоящей коллективной работе предпринимается попытка аналитического обобщения современных зарубежных и отечественных теорий дискурс, которая представляет собой определенный вклад в развитие дискурсологии как новой дисциплины. На суд читателей выносятся оригинальные авторские версии и трактовки разнообразных видов дискурса, таких как дискурсы справедливости, дискурсы манипуляций, дискурсы Постмодерна, дискурсы гражданственности, дискурсы прав человека и др.

Особо отметим, что для участия в настоящем издании были привлечены зарубежные специалисты в области дискурс-анализа и коммуникативистики: Нико Карпентье (доктор философии, профессор отделения коммуникативных исследований Брюссельского свободного университета и Брюссельского католического университета, Бельгия), Ян Сервэ (доктор философии, профессор и глава Школы журналистики и коммуникации Квинслэнского университета, Брисбейн, Австралия), Рико Ли (доктор философии, преподаватель отделения коммуникативных и инновационных исследований Вагенингенского университета, Нидерланды). Их совместная статья «Медиа в малых сообществах: заглушенный демократический дискурс?» с любезного согласия авторов впервые публикуется на русском языке.

В целях информирования читателей о ряде работ других зарубежных исследователей дискурса мы разместили в рамках отдельной рубрики серию статей, написанных в жанре реферативных обзоров. Надеемся, что знакомство с представленными обзорными статьями расширит общий кругозор наших читателей в отношении современных теорий и коцепций дискурс-анализа.

Мы уверены, что за дискурсологией как новой интегративной дисциплиной - большое будущее. Редколлегия серии книг «Дискурсология», выпускаемой Издательским Домом «Дискурс-Пи», приглашает к сотрудничеству всех желающих внести свой теоретический и практический вклад в развитие данной перспективной междисциплинарной отрасли знания.

Руководители проекта – О.Ф.Русакова,
А.Е.Спасский.

О.Ф. Русакова

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ДИСКУРСА: ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИЙ

Гуманитарные науки на протяжении всего XX века находились под обаянием феномена языка. По словам Ричарда Рорти, «язык вербует мир», и, следовательно, самое надежное знание о мире зашифровано именно в языке. Изучение языка – ключ к изучению человека и мира. Данный постулат, усвоенный в качестве базовой методологической установки различными общественными дисциплинами, получил название «лингвистического поворота». С конца 1960-х гг. «лингвистический поворот», прежде всего, благодаря широкому распространению идей и терминологии постмодернизма и семиотики в интеллектуальных кругах, превращается в «дискурсивный поворот».

Интенсивное проникновение дискурс-анализа в гуманитарную и социально-политическую науку не могло не сопровождаться бурным размножением разнообразных теорий дискурса, базирующихся на определенных мировоззренческих и методологических подходах к трактовке самого понятия «дискурс», на тех или иных исследовательских традициях, способах толкования и описания дискурсивных практик, их структуры и функций.

Сегодня исследовательская область под названием «теория дискурса» является одним из наиболее активно развивающихся направлений современных общественных наук. Об этом свидетельствует растущее с каждым годом количество публикаций, научных конференций, университетских курсов и диссертаций, посвященных различным сферам применения теорий дискурса и дискурс-анализа.

К настоящему времени в академической среде сложились научные школы и направления, предлагающие собственные оригинальные теоретические модели дискурса и способов проведения дискурс-анализа. В связи с этим у тех, кто внимательно следит за процессами в области современных дискурс-исследований, появляется потребность в целостном и системном их осмыслении, в проведении своеобразной инвентаризации многочисленных дискурс-теорий в форме их классификации и сравнительного анализа.

В работах последних лет неоднократно предпринимались разнообразные попытки систематизации и классификации существующих теорий дискурса и дискурс-анализа. Среди них наиболее интересными в плане предложенных методологических подходов являются классификации Тойна А.ван Дейка (Teun A. Van Dijk) Якоба Торфинга (Jacob Torfing), Марианне В.Йоргенсен и Луизы Филлипс (Marianne Jorgensen and Louise Phillips).

Для того, чтобы ввести читателя в существующую исследовательскую ситуацию в области классификационного анализа теорий дискурса, мы предлагаем краткий обзор характеристик, описаний и выводов, посредством которых указанные нами авторы осуществляют в своих работах систематизацию и сравнительный анализ наиболее влиятельных теорий дискурса.

Классификация Ван Дейка.

В основе классификации теорий дискурса Ван Дейка лежит *дисциплинарно--генетический подход*, который был сформулирован в вводной статье к первому тому редактируемого им четырехтомника «Справочник по дискурс-анализу»(1985)[1].

[1] Dijk T.A.van. Introduction: Discourse Analysis as a New Cross-Discipline // Handbook of Discourse Analysis. Vol. 1. Disciplines of Discourse. Academic Press. 1985.

В своей статье Ван Дейк представляет дискурс-анализ в качестве новой кросс-дисциплины, развитие которой связано с постоянным расширением предметной области исследования, с подключением к изучению дискурса все новых дисциплин, что в итоге приводит к образованию разнообразных отраслевых направлений дискурс-анализа в гуманитарных и социальных науках. При этом расширение предметного поля дискурс-анализа рассматривается Ван Дейком как результат интегративных междисциплинарных процессов.

Процесс расширения предметного поля дискурс-анализа, по Ван Дейку, сопровождается внедрением в теорию дискурса новых методологических подходов, заимствованных из определенных дисциплин.

Становление дискурс-анализа как новой дисциплины, по Ван Дейку, начинается с применением методов структурной лингвистики в процессе исследования литературных произведений и культурных мифов. Ранними опытами в области структурного дискурс-анализа, по его мнению, можно считать работу Владимира Проппа «Морфология народной сказки» (1928) и структуралистские исследования первобытной мифологии Леви-Стросса в 30-е годы XX-го века.

Появление первых специализированных работ по теории и практике дискурс-анализа Ван Дейк связывает с публикациями в 1964 и 1968 годах во Франции сборников статей «Communications 4» и «Communications 8»[1]. В этих сборниках печатались работы Тодорова по применению структурной лингвистики и семантики к литературе, первые работы по семиотике и семиологии Барта, Эко и других авторов. Благодаря соединению структурного анализа с семиотическим предметная область дискурс-анализа расширилась до изучения продукции массовой культуры и массовых коммуникаций (кинематограф, реклама, СМИ, мода и др.).

В то же время, в 60-е годы XX века начинается бурное развитие новых отраслей лингвистики, что приводит, в результате, к появлению социолингвистических, этнолингвистических и иных социокультурно-ориентированных лингвистических теорий дискурса (Broun, Bernsnein, Gumperz, Bright и др.). В свете новой лингвистики предмет дискурс-анализа расширился до изучения культурных стилей, вербального искусства, адресных форм, изучения социальных и культурных контекстов разнообразных видов коммуникаций: беседы, рекламы, новостей (Halliday, Leech, Crystall).

В итоговой части своего краткого обзора процесса становления дискурс-анализа, Ван Дейк делает ряд общих выводов. Отмечается, во-первых, что ранний интерес к проведению систематического дискурс-анализа был по-преимуществу структуралистским предприятием, связанным с применением структуралистского подхода в лингвистических и антропологических исследованиях. Предметом изучения становились не только народные жанры и мифы, но также и ритуальные интерактивные взаимодействия. Во-вторых, в 1960-х дискурс-анализ обогатился семиотическими методами исследования текстов, средств массовых коммуникаций и коммуникативных событий. В-третьих, появление новых исследовательских направлений в рамках лингвистики способствовало дальнейшему развитию дискурс-анализа как в рамках лингвистических исследований, так и за их пределами.

Появление на свет дискурс-анализа в статусе самостоятельной дисциплины, по Ван Дейку, приходится на период 1972-1974 гг. В начале 1970-х появляются первые монографии и коллективные работы, полностью или частично посвященные дискурс-анализу как особой междисциплинарной отрасли знания.

В начале 1970-х годов в рамках социолингвистики возникли теории повседневного, разговорного дискурса (Labov, Sacs, Schegloff, Jefferson), а в рамках философии языка – теория речевых актов (Austin, Grice, Searle), в которых основное внимание стало фиксироваться на экстралингвистических измерениях дискурса, а именно

[1] Communications 4. Recherchers semiologique. Paris. Seuil. 1964; Communications 8. Recherchers semiologique. L`analyse structural du recit. Paris. Seuil. 1968.

- на интенциях говорящего, верованиях, ценностных ориентациях, отношениях между говорящим и слушающим.

Одновременно область повседневного дискурса становится предметом изучения новых социологических дисциплин: микросоциологии и феноменологической социологии (Goffman, Garfinkel и др.). Естественный и спонтанный язык разговорного общения стал рассматриваться сквозь призму лингвистической прагматики и социальных ситуаций. Дискурс-анализ приобрел диалогическое и ситуативное измерения (ситуативный конверсационный дискурс- анализ). Предметом интереса стали разного рода институциональные диалогические дискурсы, к примеру, разговоры учеников в школьном классе (Sinclair and Coulthard).

Еще, по крайней мере, две дисциплины, по мнению Ван Дейка, внесли свой существенный вклад в появление новых теорий дискурса в 1970-е годы. Это когнитивная психология и информатика. Развитие когнитивной психологии привело к зарождению психологических теорий дискурса или дискурсивной психологии (Kintsch, Bower, Rumelhart, Charniak). Развитие информатики обогатило дискурс-анализ новым категориальным аппаратом, описывающим воспроизводство знания в искусственной памяти.

В течение последующего десятилетия (1974-1985гг.), по мнению Ван Дейка, усиливается дисциплинарная интеграция в сфере дискурс-анализа. Междисциплинарный процесс изучения дискурса становится все более однородным и автономным. Дискурс-анализ превращается в супердисциплину, в исследовательское пространство которой вовлекаются все новые и новые объекты. Дискурс-анализ проникает в юридическое пространство, делая предметом своего исследования юридические документы и отношения, имеющие текстуальную и диалогическую природу. Изучение массовых коммуникаций эволюционирует от контент-анализа к более сложному дискурс-анализу медиа-текстов и медиа-выступлений. Здесь также как и в семиотике подвергаются систематическому анализу не только вербальные, но и визуальные дискурсы – фотографии, фильмы, комиксы и т. д. Клиническая психология обращается к изучению терапевтического дискурса, социальная психология – к взаимодействию когнитивных и социальных аспектов побудительной коммуникации, к ситуативному анализу вербальных взаимодействий, опсредованных дискурсом.

С середины 1980-х годов, считает Ван Дейк, дискурс-анализ вступает в этап развития внутриотраслевой специализации. Появляются специализированные теории дискурса, например, такие, как теория идеологического дискурса, теория этнических дискурсов, теория дискурса социальных меньшинств, теория дискурса расизма и др. Возникают новые идейно-теоретические направления в дискурс-анализе. Одним из наиболее широких и разветвленных направлений становится критический дискурс-анализ (сокращенно КДА). В особую отрасль выделяется анализ политического дискурса. Сам Ван Дейк в последние годы специализируется в области исследования идеологического дискурса.

Классификация теорий дискурса Якоба Торфинга[1].

Теория дискурса, считает Я.Торфинг, появилась в конце 1970-х годов как некий интеллектуальный ответ на кризис теоретических исканий «новых левых» образца 1968 года, на критику структуралистской теории языка, культуры и общества, как ответ на кризис марксизма, уступающего свои позиции перед лицом набирающих силу идеологий неолиберализма и неоконсерватизма. Главная цель теории дискурса - предложить новую аналитическую перспективу в исследовании способов конструирования социальной, политической и культурной идентичности. Открытость и поливалентный характер новых теорий дискурса привлекает большое число исследователей, которые находят в теории

[1] Torfing Jacob. Discourse Theory: Archivments, Arguments, and Chellengers // Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance. Palgrave Vacmillan. 2005.

дискурса недогматическую рабочую схему для разработки новых интеллектуальных направлений, базирующихся на постструктуралистских и постмодернистских интуициях.

Теория дискурса представлена в различных исследовательских традициях, дисциплинах и онтологических концептах. Согласно Торфингу, наиболее влиятельным течением, предложившим определенную версию дискурс-теории, является постструктурализм. Постструктуралистская традиция дискурс-анализа, утверждает автор, оказала большое воздействие на политические науки. В целом, теория дискурса способствовала критическому обновлению методологического арсенала многих дисциплин, включая теорию международных отношений, теорию европейской идентичности, публичное администрирование, массмедийный анализ, культурную географию и урбанистику.

Теория дискурса, отмечает Торфинг, убедила многих ведущих теоретиков обратить свое внимание на такие проблемы как парадигматика знания, формирование идентичности, дискурсивное конструирование осадочных норм, ценностей и символов.

Теория дискурса, констатирует автор, появилась на свет как кросс-дисциплинарная попытка интеграции центральных положений лингвистики и герменевтики с ключевыми идеями социальной и политической науки. Это стремление было подстегнуто растущим признанием тесного переплетения языка и политики в процессе социетальной трансформации. Социальные и политические события меняют наш словарь, а лингвистические и риторические инновации облегчают продвижение новых политических стратегий и проектов. Данный взгляд стал результатом аналитических разработок конца 1970-х и начала 1980-х гг.

В качестве главного критерия классификации существующих теорий дискурса Торфинг выдвигает степень широты трактовок дискурса в диапазоне от лингвистического текстуализма до постструктурализма. В соответствии с тем, в какой мере трактовки дискурса выходят за границы узко-лингвистического подхода, приближаясь к предельно широкому постструктуралистскому пониманию дискурса как способу конструирования мира, Торфинг выделяет *три поколения теорий дискурса* или три традиции дискурс-анализа.

Теории дискурса *первого поколения* трактуют дискурс в узко-лингвистическом смысле, а именно, определяют его как текстовую единицу разговорного и письменного языка, фокусируя внимание на семантических особенностях устного или письменного текста. Теории дискурса первого поколения в основном анализируют языковые особенности индивидуальных акторов или «языковых личностей» с учетом их социального положения. К примеру, социолингвистика анализирует отношения между социоэкономическим статусом говорящего и его словарным запасом (Douns, 1984). К теориям первого поколения Торфинг относит также ряд психологических теорий дискурса, возникших на базе теории речевого действия, которая развивалась в рамках аналитической психологии, фокусирующей внимание на стратегиях говорящего в ходе беседы (Labov, Franchel, 1977; Potter, Wetherell, 1987).

В то время как дискурсивная психология ограничивала себя анализом разговорного языка, критические лингвисты (Fowler, 1979) раздвигали рамки исследования дискурса до изучения конкурирующих способов репрезентации реальности одновременно в разговорном и письменном языках. Опираясь на концепцию идеологического происхождения дискурсивных структур Мишеля Пешо (Michel Pecheux, 1982), они фокусировали внимание на том, что выбор того или иного дискурса как способа репрезентации, включая язык и стиль, носит идеологический характер.

Лингвистический уклон теорий дискурса первого поколения, по Торфингу, приводил к тому, что в социолингвистическом анализе беседы не было отчетливо выраженного стремления связать воедино анализ дискурса с анализом политики и политической борьбы. В то же время, фокусировка на стратегиях говорящего в дискурсивной психологии и на идеологических трансформациях в критической

лингвистике позволяла проводить анализ репрессивных эффектов различных форм дискурса. К сожалению, в дискурс-теориях первого поколения данная интенция не получила дальнейшего теоретического развития.

Второе поколение теорий дискурса, согласно Торфингу, трактует дискурс гораздо шире, не ограничивая его область разговорным и письменным языком. Предметное поле дискурс-анализа раздвигается до изучения социальных практик.

Ко второму поколению теорий дискурса Торфинг относит широкий конгломерат исследований, объединенных названием «критический дискурс анализ» (КДА). Основным разработчиком данного направления считается Норман Фэркло (Norman Fairclough), который вдохновленный анализом дискурсивных практик Мишеля Фуко, рассматривает дискурс как один из способов властвования, регуляции отношений субординации социальных акторов.

Дискурс в КДА рассматривается как совокупность социальных практик, обладающих семиотическим содержанием. К дискурсивным практикам теоретики КДА относят все виды лингвистически опосредованных практик, а также имиджи и жесты, которые производятся и подвергаются интерпретации со стороны социальных акторов. Социальные классы и этнические группы продуцируют идеологически значимые дискурсы в целях установления и поддержания своей гегемонии, а также - изменения действительности. Следовательно, дискурсивная практика вносит вклад не только в воспроизводство социального и политического порядка, но и в процесс социальной трансформации. Таким образом КДА ясно демонстрирует властный эффект дискурса.

Вместе с тем, КДА, по мнению Торфинга, не разъясняет, как соотносятся между собой дискурс и его недискурсивные контексты. Дискурс сводится к лингвистической медиации событий, которые детерминированы каузальными силами и механизмами, производимыми существующими независимо от дискурса социальными структурами. Такой подход, считает Торфинг, значительно снижает объяснительную силу дискурс-анализа в теориях КДА. Данные теории отходят от позиции Фуко, который считал, что все социальные практики носят дискурсивный характер в том смысле, что они очерчены правилами своего формирования, которые варьируются в зависимости от культурно-исторического времени и пространства.

Третье поколение теорий дискурса, фокусирующих внимание на современных социальных и политических практиках, носит ярко выраженный постструктуралистский характер. В духе постструктурализма понятие дискурса расширяется до всеобъемлющей социальной категории. Дискурс трактуется как синоним практики социального конструирования. За основу берется максималистскаяй формула Жака Деррида: «Все есть дискурс». Интеллектуальными источниками постструктуралистского дискурс-анализа выступают работы Ролана Барта, Юлии Кристевой, Жака Лакана, в которых дискурс рассматривается как совокупность социальных практик, в рамках которых конструируются и воспроизводятся значения и смыслы.

С постструктуралистским пониманием дискурса сходны понятие языка Ричарда Рорти и понятие коммуникации Николаса Лукмана.

Интеллектуальными источниками поструктуралистких теорий дискурса выступают также постмарксистские идеи Луи Альтюссера и Антонио Грамши.

В политической науке постструктуралистская теория дискурса получила оригинальную разработку в работах Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф (Ernesto Laclau and Chantal Mouffe).

В своем сравнительном анализе концепций дискурса второго и третьего поколений Торфинг отмечает, что в отличие от представителей КДА постструктуралистские теоретики дискурса в лице Лакло и Муфф отвергают натуралистическую онтологию, содержащуюся в идее, что дискурс каким-то образом детерминирован внедискурсивными силами на уровне экономики или государственных институтов. Они не согласны, что такие кажущиеся недискурсивные феномены, как

технология, институты и экономические отношения, сконструированы как-то иначе, без участия дискурсивных практик. Они рассматривают дискурс как атрибут любой социальной деятельности и любой социальной институциализации.

Свой собственный дискурс-анализ политики Торфинг выстраивает на основе постструктуралистской парадигмы, заявляя тем самым о своей причастности к третьему поколению теоретиков дискурса.

Специфика постструктуралистской теории дискурса описывается Торфингом через выделение ее исходных парадигмальных установок. Во-первых, отмечается, что ее основанием выступают анти-эссенциалистская онтология и анти-фундаменталистская эпистемология. Иначе говоря, утверждается, что не существует первичной, самодетерминированной сущности, которая определяет и упорядочивает все отношения идентичности. Не существует трансцендентных центров детерминации исторических процессов и социального устройства вроде Бога, Разума, Человечества, Природы или Железного Закона Капитализма. Постструктуралистская теория дискурса нацелена на изучение последствий отказа от идеи трансцендентного центра. Результатом такого отказа является признание игрового характера детериминации социальных значений и идентичностей.

Данная теория дискурса соглашается с утверждением Рорти (Rorty, 1989) о том, что правда – не свойство внешнего мира, а свойство языка. Нет экстрадискурсивных реалий, эмпирических фактов, методологий, научных критериев, которые могли бы стать гарантами Правды или научной Истины. Понятие правды всегда локально и пластично, поскольку зависит от определенного дискурсивного режима, который устанавливает, что есть правда, а что есть ложь. Иначе говоря, правда есть продукт дискурсивного конструирования.

Во-вторых, в постструктуралистской теории дискурса на первый план выдвигается релятивистский, контекстуальный и принципиально историцистский взгляд на формирование идентичности. Утверждается, что идентичности образуется в ходе позиционирования в отношении других означаемых явлений. Так, например, смысл понятия «социализм» раскрывается только при соотнесении с такими понятиями как «либерализм», «консерватизм», «фашизм» и др. Постижение смысла понятий предполагает также исследование контекстов и способов интерпретаций.

В-третьих, подчеркивается, что, формационный порядок дискурса не является стабильным, он подвержен реструктуризации под влиянием политических и исторических процессов.

В заключении Торфинг выделяет ключевые теоретико-методологические проблемы, возникающие перед современными исследователями дискурса. Среди них называется такая проблема, как дальнейшее расширение предметной области дискурс-анализа путем переноса фокуса исследований с проблематики политик идентичностей (расовых, национальных, этнических, гендерных, секс-меньшинств др.) на традиционную проблематику политической науки - изучение государственного управления, политических реформ, стратегий, идеологий и т.д.

Классификация теорий дискурса М. Йоргенсен и Л. Филлипс.

В книге Марианне Йоргенсен и Луизы Филлипс «Discourse Analysis as Theory and Method»[1] классификация теорий дискурса осуществляется на основе проведения сравнительного исследования трех теоретико-методологических подходов к дискурсному анализу, которые, по мнению авторов, можно отнести к одной общей междисциплинарной области – *социально-конструкционистскому дискурс-анализу*.

[1]В русском переводе книга вышла под названием «Дискурс-анализ. Теория и метод» (Харьков, Издательсво Гуманитарный Центр, 2004).

Этими тремя подходами, анализирующими дискурс с позиции социального конструкционизма, являются: 1) дискурсная теория Лакло и Муфф; 2) критический дискурс-анализ (КДА); 3) дискурсивная психология.

«В основе всех подходов, - утверждают авторы книги, - общее представление о том, что наш способ общения не только отражает мир, идентичности и социальные взаимоотношения, но, напротив, играет активную роль в его создании и изменении»[1].

Сравнительный анализ трех теорий дискурса авторы строят на основе, во-первых, раскрытия основных черт социального конструкционизма, выступающего метапарадигмой, объединяющей все три теории дискурса, во-вторых, - выделения отличительных особенностей каждой теории посредством применения метода позиционирования. «Каждый подход, - пишут авторы, - имеет свои собственные философские и теоретические предпосылки, включающие особое понимание дискурса, социальной практики и критики. Эти предпосылки влияют на цели, методы и акценты в эмпирических исследованиях»[2]. Главные разногласия касаются, во-первых, решения вопроса об области действия дискурсов: формируют ли дискурсы социальный мир полностью или только частично? Во-вторых, существуют разхождения в вопросе о том, что является основным предметом исследования дискурсного анализа. В одних теориях анализируется дискурс людей в повседневных социальных взаимоотношениях, в других – предпочтение отдается анализу публичных, идеологических и академических дискурсов.

Кроме того, в книге рассматривается еще один (четвертый) подход к дискусному анализу, сформированному на почве социального конструкционизма. Это, так называемый, *комбинированный подход*, который вбирает и определенным образом интегрирует элементы других трех подходов, представляя собой некий идеальный синтез современных теорий дискурса. Собственно, именно этот, комбинированный подход и предлагают использовать в качестве универсальной теоретической модели дискурс-анализа Йоргенсен и Филлипс.

Сравнительный анализ теорий дискурса Йоргенсен и Филлипс начинают с раскрытия базовых предпосылок-постулатов, выступающих основанием социально-конструкционистского подхода к дискурсу. Выделяются следующие предпосылки-постулаты: 1) наши знания и представления о мире – это не прямое отражение внешнего мира, а результат классификации реальности посредством категорий; выражаясь языком дискурс-анализа, наши знания – продукт дискурса; 2) способы понимания и представления мира обусловлены историческим и культурным контекстом; «дискурс – это форма социального поведения, которая служит для репрезентации социального мира (включая знания, людей и социальные отношения)»; 3) знания возникают в процессе социального взаимодействия, где люди конструюруют истины и доказывают друг другу, что является верным, а что ошибочным; 4) в соответствии с определенным мировоззрением некоторые разновидности поведения фиксируются как естественные, другие – как неприемлемые; «различное социальное понимание мира ведет к различному социальному поведению, и поэтому социальная структура знаний и истины имеет социальные последствия»[3].

Все три социально-конструкционистских подхода к дискурсному анализу (теория Лакло и Муфф, КДА, дискурсивная психология), согласно Йоргенсен и Филлипс, объединяет также общее происхождение. Все они вышли из лона структурализма и постструктурализма. Все они опираются на структуралистские и постструктуралистские трактовки языка как мироформирующей силы. *Различаются же они между собой тем, насколько к ним можно применить ярлык постструктурализма*.

«Наиболее чистой» в плане приверженности идеям постструктурализма Йиргенсен и Филлипс считают *теорию дискурса Лакло и Муфф*, которая была изложена в

[1]Филлипс Л.Дж. и Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод / Пер. с англ. – Х., 2004. С. 15.
[2] Там же. С. 16.
[3] Там же. С. 19 –21.

их совместных работах - книге «Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics» (1985), и статье «Post-Marxism without apologies» (1990).

В данной работе дискурсы рассматриваются как способы общения и понимания социального мира, конкурирующие между собой за придание социальному миру определенных значений. Дискурсы постоянно вовлечены в борьбу за достижение превосходства. Ключевое слово указанной теории –«борьба дискурсов».

Цель дискурс-анализа, по Лакло и Муфф, состоит в том, чтобы очертить процессы структурирования социальной реальности, в ходе которых происходит закрепление за теми или иными знаками определенных значений, устанавливаются, воспроизводятся и претерпевают изменения отношения идентичности. Данные процессы называются Лакло и Муфф термином «артикуляция». «Мы называем *артикуляцией* любое действие, устанавливающее отношение среди элементов так, что идентичность знаков изменяется в результате артикуляционной практики. Все структурное единство, появившееся в результате артикуляционной практики, мы назовем *дискурсом*»[1].

Трактовка дискурса Лакло и Муфф, отмечают Йоргенсен и Филлипс, близка пониманию структуры как фиксации знаков сети отношений у Соссюра. Но в отличие от Соссюра, который рассматривал структуру как относительно устойчивое образование, Лакло и Муфф трактуют дискурс как незавершенную, открытую для изменений структуру, как многовариантный спектр артикуляций, как конгломерат, в котором, кроме зафиксированного значения, всегда есть и другие потенциальные варианты значения, которые могут преобразовывать структуру дискурса[2].

Кроме того, в отличие от Соссюра, который видел цель структурного анализа в обнаружении структуры языка и дискурса, Лакло и Муфф фокусируют свое внимание на том, *как* формируется и изменяется структура дискурса. Это становится возможным путем анализа артикуляций, которые постоянно производят, оспаривают и переозначивают структурные компоненты дискурса.

В трактовке Лакло и Муфф определенная идентичность приобретается субъектом посредством дискурсивного структурирования социального мира и осуществления процедур позиционирования внутри дискурса. Субъект является чем-то, потому что он в дискурсах противопоставлен чему-то.

Личность, подчеркивают Йоргенсен и Филлипс, в теории Лакло и Муфф помещена вовнутрь дискурса. Субъект приобретает свою идентичность в дискурсивных практиках. Идентичность, по Лакло и Муфф, всегда образована в соответствии с принципом относительности. Поэтому субъект всегда расщеплен, он имеет разные идентичности, он всегда имеет возможности иной идентификации. Люди объединяются в группы в связи с тем, что некоторые возможности идентификации начинают выступать как наиболее приемлемые и потому – приоритетные. При этом другие варианты идентификации игнорируются, исключаются из политической игры. Те социальные группы, которые потенциально являются носителями иных возможностей идентификаций, в доминирующей идентификации подпадают под понятие «другие».

В процессе дискурсивной борьбы могут образоваться взаимоисключающие идентичности. Тогда это приводит к социальным антагонизмам. Антагонизм, согласно Лакло и Муфф, может быть преодолен посредством гегемонии (термин «гегемония» заимствован из теории гегемонии Антонио Грамши). Гегемония трактуется как переартикуляция антагонистических дискурсивных практик.

Большое внимание при сравнительном анализе теорий дискурса Йоргенсен и Филлипс уделяют рассмотрению вопроса о соотношении дискурсивных и недискурсивных практик. Они отмечают, что Лакло и Муфф готовы включить в область

---

[1] Цит. По: Филлипс Л.Дж. и Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и практика. С. 49.

[2] Модель дискурса Лакло и Муфф нам напоминает многочисленные трансформации изображения, которые ми наблюдаем в калейдоскопе: один и тот же набор частиц при каждом повороте калейдоскопной трубы выстраивается по-новому, образуя структуру нового рисунка.

дискурсивного анализа всю социальную практику, поскольку не выделяют какой-то особой недискурсивной социальной практики. Именно в решении данного вопросу Йоргенсен и Филлипс видят главное отличие теории дискурса Лакло и Муфф от КДА в лице Фэркло: «Тогда как Фэркло… вносит различия между дискурсивными и недискурсивными измерениями социальной практики и видит диалектические изменения между этими измерениями, Лакло и Муфф…считают социальную практику полностью дискурсивной»[1].

Взгляд на дискурсивные практики как на артикуляции, посредством которых производится когнитивное конструирование всей социальной реальности, вовсе не означает отрицания существования социального мира как объективной реальности, поясняют Йоргенсен и Филлипс. Для подтверждения этого положения они приводят следующий пример, заимствованный из статьи Лакло и Муфф: «камень существует независимо от социальных систем классификации, но рассматривать ли его как снаряд, или как произведение искусства зависит от дискурсивного контекста, в котором он находится»[2].

В теории дискурса Лакло и Муфф большое внимание отводится анализу политики. Политика, по сути, вплетается ими в дискурсивную практику, поскольку является способом конструирования, воспроизводства и преобразования социального мира. Собственно вся политика рассматривается как сфера борьбы между определенными дискурсами. Политические артикуляции определяют, как мы действуем и думаем, представляя собой способ властвования и распределения власти.

Политическая дискурсивная конкуренция анализируется Лакло и Муфф через введение понятия «гегемония», в чем Йоргенсен и Филлипс справедливо обнаруживают марксистские истоки их теории, а именно, связь с теорией гегемонии Антонио Грамши[3].

В теории Грамши гегемония – это организация социального согласия. Гегемония – это инструмент властвования посредством производства значений. Посредством создания значений власть мобилизует людей на активные действия против существующих условий.

Лакло и Муфф развивают теорию гегемонии Грамши в том плане, что выходят за рамки объективистского марксистского эссенциализма, который так и не преодолел Грамши. В отличие от Грамши они рассматривают понятия «класс», «социальная группа», «нация» не как объективные сущности, а как продукт дискурсивной гегемонии: «Для Лакло и Муфф…нет никаких объективных законов, которые делят общество на определенные группы. Группы всегда создаются в политических дискурсивных процессах»[4].

Что касается *критического дискурс-анализа (КДА)*, то данное научное течение, согласно Йоргенсен и Филлипс, гораздо ближе к марксистской точке зрения, чем теория Лакло и Муфф, и, следовательно, является менее «чистым» постструктурализмом.

В отличие от теории дискурса Лакло и Муфф, КДА настаивает на том, что дискурс является лишь одним из множества аспектов любой социальной практики. Дискурс это прежде всего семиотическая система, которая состоит из таких компонентов как язык и образы. Дискурс не только конструирует мир, но и сам этим миром конструируется. «Для специалиста в области критического дискурс-анализа, - подчеркивают Йоргенсен и Филлипс, - дискурс – это форма социальной практики, которая одновременно и *созидает* социальный мир, и одновременно *созидаема* посредством других социальных практик. Социальная практика и дискурс находятся в *диалектической*

---

[1]Филлипс Л.Дж. и Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. С. 62.
[2] Там же. С. 63.
[3] Там же. С. 58-59.
[4] Там же. С. 59.

связи с другими социальными измерениями. Эта связь не только вносит вклад в формирование и изменение социальных структур, но также и отражает их»[1].

Объективная социальная реальность в КДА рассматривается как структура, влияющая на практику дискурса. В качестве примера такого подхода в книге приводятся описания семьи у Фэркло. Отношения между родителями и детьми в семье лишь частично образуются дискурсивно, говорит он. Но, в то же время, семья – это нечто уже установленное, имеющее конкретные традиции, сложившиеся взаимоотношения и идентичности. Складывание данных традиций происходило не без участия дискурсивных практик, но это не означает, что данные практики не имеют объективной основы. «Формирование общества с помощью дискурса, - отмечает Фэркло, - происходит отнюдь не благодаря тому, что люди свободно играют с идеями. Он является следствием их социальной практики, которая глубоко внедрена в их жизнь и сориентирована на реальные, материальные социальные структуры»[2].

Марксистский уклон в КДА, по мнению Йоргенсен и Филлипс, сочетается с идеями Мишеля Фуко, трактовавшим дискурс как властную силу, создающую отношения неравенства между социальными субъектами. В КДА, пишут они, утверждается, что дискурс способствует формированию и воспроизводству неравного распределения власти между социальными группами, например, между классами, женщинами и мужчинами, этническим меньшинством и этническим большинством[3].

В центре внимания КДА – роль дискурсивной практики в поддержании социального порядка и осуществлении социальных изменений. Одним из центральных понятий является *понятие «коммуникативное событие»*. Коммуникативное событие трактуется как соединение логики дискурсивной практики с объективной логикой социального и экономического порядка. Например, поход в магазин как коммуникативное событие включает вербальную коммуникацию с продавцом (действие дискурсивной логики) и совершение экономической сделки в виде купли-продажи (действие объективной логики рыночных отношений). Обе логики находятся в состоянии диалектического взаимодействия, что приводит к изменениям в социальной сфере. Так, например, развитие рыночных отношений приводит к распространению маркетингового дискурса. Маркетинговый дискурс, в свою очередь, подчиняет себе дискурсивные практики разнообразных общественных институтов (образование, здравоохранение, культура). Данный процесс Фэркло обозначает термином *«маркетизация дискурса»*.

Между теориями, относящимися к КДА, не существет единообразия в трактовке дискурса как властной силы, считают Йоргенсен и Филлипс. Например, Ван Дейк в отличие от Фэркло трактует власть не столько как созидающую, продуктивную силу, сколько как силу репрессивную[4].

Одной из отличительных черт КДА по сравнению с теорией дискурса Лакло и Муфф, считают Йоргенсен и Филлипс, является включение им в свой методологический арсенал лингвистического текстового анализа языка в ходе изучения дискурса социального взаимодействия, в то время как Лакло и Муфф не доводят свои эмпирические исследования до лингвистического анализа.

Использование лингвистического подхода, согласно авторам, отличает КДА и от дискурсивной психологии, поскольку та фокусирует свое внимание не на лингвистическом, а на *риторическом анализе дискурса*.

Третья разновидность социально-конструкционистской теории дискурса – *дискурсивная психология* – рассматривает *дискурс как ситуативное использование языка и речи в повседневной практике общения*.

---

[1] Там же. С. 101.
[2] Цит. По: Филлипс Л.Дж. и Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. С . 102.
[3] Там же. С. 103.
[4] Там же. С. 146.

С позиции дискурсивной психологии язык не является просто каналом, который описывает психологическую реальность и опыт. Скорее наоборот, *субъективные психологические реальности создаются посредством дискурса*. Дискурс рассматривается как «строитель» проживаемой психологической реальности.

Особое внимание в дискурсивной психологии уделяется анализу культурных, исторических и социальных контекстов общения. Главными объектами ее исследования выступают аттитюды (установки, намерения) участников коммуникации и групповые конфликты.

Причины формирования тех или иных аттитюдов, считают социальные конструктивисты, следует искать не в индивидуальных когнитивных структурах, а в способах социального взаимодействия, т.е. в контексте более общей системы значений. Аттитюды – это продукты социального взаимодействия.

При анализе социальных конфликтов, связанных с дискриминацией одних групп людей другими, дискурсивные психологи предлагают учитывать культурные факторы, влияющие на то, как человек категоризирует мир и производит идентификацию. Например, результаты кросскультурных исследований доказывают, что дети из разной культурной среды не похожи в том, как они в повседневном общении дискриминируют другие группы[1].

В процессе дискурс-анализа задаются следующие вопросы: что люди делают со своими сообщениями? Каким образом мнения становятся устойчивыми представлениями? Как разрушаются альтернативные версии представлений о мире?

При рассмотрении данных вопросов, отмечают в своей работе Йоргенсен и Филлипс, дискурсивная психология исследует подавляемые в диалоге и выдавливаемые в подсознание дискурсы. Отмечается, что некоторые способы общения позволяют обсуждение определенных тем, другие же накладывают на них табу. Поэтому говорящий вынужден выбирать только между допустимыми в общении дискурсами, а табуированные дискурсы - держать в подсознании.

В числе ведущих специалистов в области дискурсивной психологии авторы называют Джонатана Поттера (Jonathean Potter), Маргарет Уэтерелл (Margaret Wetherell), Майкла Биллига (Michael Billig), Сью Уиддиком (Sue Widdicomb) и Роба Уоффитта (Rob Wooffitt). Всех их, по мнению Йоргенсен и Филлипс, объединяет приверженность следующим ключевым моментам теории дискурса:

- Дискурс, определяемый как использование языка в повседневных текстах и общении, является динамической формой социальной практики, которая строит социальный мир, личности и идентичности. Личность формируется путем усвоения социальных диалогов. Власть действует посредством позиционирования человека относительно различных дискурсивных категорий. Субъективные психологические реальности формируются в дискурсе.
- Люди используют дискурс риторически, чтобы совершить социальное действие в определенных коммуникативных ситуациях. Использование языка ситуативно обусловлено.
- Язык формирует не только сознание, но и подсознание. Психоаналитическую теорию можно объединить с дискурс-анализом для объяснения психологических механизмов формирования «несказанного»[2].

Кроме выделения общих характеристик данного направления дискурс-анализа, Йоргенсен и Филлипс производят *классификацию различных течений внутри дискурсивной психологии*. Они выделяют три различные точки зрения на дискурс в рамках дискурсивной психологии:

1) постструктуралистская точка зрения, которая основывается на теории дискурса, власти, идентичности и субъекта Мишеля Фуко (W.Hollway, I.Parker);

---

[1] Там же. С. 160 –161.
[2] Там же. С. 185 –186.

2) точка зрения интеракционизма или сторонников концепции взаимодействия, основанная на конверсационном анализе (анализе разговора) и на этнометодологии (C.Antaki, S.Widdicomber]);

3) синтетическая точка зрения, которая объединяет две предыдущие (J.Potter, M.Wetherell, M.Billig).

В центре внимания *первого подхода* – вопросы о том, как люди понимают мир, как в определенных дискурсах создаются и изменяются идентичности, каковы социальные последствия этих дискурсивных конструкций.

Второй подход концентритуется на вопросе о том, насколько и каким образом текст и разговор соорентированы на социальное взаимодействие. С помощью этнометодологии прослеживается то, как посредством речи и общения у различных этносов формируется представление о социальном устройстве. В этом подходе дискурс анализируется как возникающий в ходе общения способ категоризации социального мира.

В *третьем подходе* объединяются два предыдущих интереса: интерес к тому, как дискурсы формируют субъекты и объекты, и то, как дискурс сориентирован на социальное взаимодействие в определенном контексте. Внимание акцентируется на том, что люди делают с их текстом и речью и какие дискурсы они привлекают в качестве ресурсов.

В синтетическом подходе вместо понятия «дискурс» часто используется понятие *«репертуар интерпретации»,* которое было введено в оборот Поттером и Уэтерелл, чтобы подчеркнуть, что дискурсы являются гибкими ресурсами социального взаимодействия. Каждый репертуар обеспечивает ресурсы, которые люди могут использовать для построения версий действительности. «Под репертуаром интерпретации, - пишут Поттер и Уэтерелл, - мы подразумеваем хорошо распознаваемые группы терминов, описаний и отражений речи, часто сконцентрированных в метафорах или ярких образах»[1].

Центральным вопросом эмпирических исследований Поттера и Уэтерелл выступает вопрос о том, как представители определенных этносов используют специальные дискурсы или *репертуары интерпретации* для осуществления категоризации других людей посредством использования таких понятий, как «культура», «раса», «нация». В ходе своих исследований авторы стремятся показать социальные последствия определенных репертуаров интерпретиции. К примеру, показывается как существующие *репертуары расы*, содержащие представления об иерархии коренных и некоренных народов, о «чистокровных» людях и людях «смешанной крови», вносят вклад в социальную дискриминацию[2].

Различия между тремя подходами Йоргенсен и Филлипс усматривают в интерпретациях понятия «идентичность»: «С точки зрения интеракционизма идентичности рассматриваются как ресурсы, которые люди привлекают для общения…В центре внимания - вопрос о том, как отдельные идентичности используются в разговоре в определенном контексте для осуществления некоторых социальных действий, например, таких как узаконивание какого-то отдельного убеждения или мнения. В отличие от этой точки зрения, два других подхода в дискурсивной психологии (постструктуралистский и синтетический) определяют и анализируют специфические способы общения, где идентичности рассматриваются как *дискурсы*, которые структурируют и ограничивают общение в контексте взаимодействия. Постструктуралистский подход в лице Фуко и его сторонников определяет идентичность как продукт субъективных позиций в пределах дискурсов… Синтетический подход рассматривает идентичности как продукт определенных дискурсов, и как ресурс социальных действий при взаимодействии»[3].

---

[1] Там же. С. 169.
[2] Там же. С. 199 –200.
[3] Там же. С. 172 – 173.

В синтетическом подходе процесс возникновения идентичности раскрывается через категорию «позиционирование». *Позиционирование* – это процесс, на основе которого люди составляют мнение о себе в ходе взаимодействия и переговоров с другими людьми. Люди, участвующие во взаимодействии друг с другом, рассматриваются трояко: 1) как продукты определенных дискурсов; 2) как создатели дискурсов; 3) как агенты социокультурного воспроизводства и изменения.

И постструктуралистская, и синтетическая точки зрения, отмечают Йоргенсен и Филлипс, указывают на непостоянство идентичностей, на их возможный взаимоисключающий характер в силу того, что они могут быть встроены в антагонистические дискурсы. Например, такая идентичность как христианин, может противоречить идентичности «феминистка» или «рабочий». Идентичность «потребитель» может противоречить идентичности «защитник окружающей среды».

В процессе позиционирования могут появляться новые виды идентичности, связанные со смешением дискурсов. Например, при смешении потребительского дискурса и дискурса «зеленых» может возникнуть идентичность «зеленый потребитель».

Создание идентичностей ограничено диапозоном дискурсивных ресурсов, доступных индивидуумам. Оно связано с их социальным положением, статусом и культурой. Часто людям проще принять уже предписанные кем-то идентичности.

В постструктуралистском и синтетическом подходах к дискурс-анализу позиционирование и идентичность рассматриваются как способ функционирования власти: «Власть функционирует дискурсивно путем того, что и сама позиционируется в дискурсах, и располагает других относительно отдельных дискурсивных категорий – например, категории члена «цивилизованного» Запада или «варварского» исламского мира»[1].

Сравнивая дискурсивную психологию в целом с теорией дискурса Лакло и Муфф, Йоргенсен и Филлипс подчеркивают, что дискурсивная психология отклоняется от постструктуралистской тенденции, поскольку рассматривает дискурсы не как абстрактные явления, а как ситуативный язык, использование которого зависит от обстоятельств социальной практики. При этом допускается существование внедискурсивной реальности. «…Большинство дискурсивных психологов утверждают, что социальные события, отношения и структуры имеют условия существования, которые лежат за пределами дискурса. Например, они утверждают, что национализм формируется не только с помощью дискурсов, но также и за счет существующего государственного принуждения и силы, имеющих материальную природу, которым в дискурсах придается специальное значение…Дискурсивная психология, таким образом, выносит определенные социальные практики за пределы дискурса, хотя при этом и не делает четких различий между дискурсивными и недискурсивными практиками, как, например, это делает критический дискурс-анализ».[2]

Собственный подход к дискурс-анализу Йоргенсен и Филлипс позиционируют как *комбинированный*. Данный подход основан на проведении выборки из всех трех социально-конструкционистских теорий дискурса определенных понятий, положений и методов в целях соединения их в качестве теоретико-методологической базы нового мультиконструкционистского исследования дискурса. «Мы основывается на посылке, - пишут они, - что комбинирование различных теорий и методов, формирующее структуру синтетического мультиперспективного исследования, подходит в качестве методологии для социального конструкционистского дискурс-анализа. Частично из-за свойственного конструкционизму перспективизма (то есть тенденции объединять различные теоретические подходы)»[3].

---

[1] Там же. С. 174.
[2] Там же. С. 163 –164.
[3]Там же. С. 236.

В комбинированной или мельтиперспективной теории дискурса дискурс трактуется широко, а именно, как ограничения возможных утверждений, приводящие к ограничению числа значений. Дискурсы определяют то, что можно и что нельзя говорить в определенных обстоятельствах.

Дискурсы анализируются в *трех измерениях*: дискурсивная практика, текст и социальная практика. Для анализа дискурсивной практики применяется подход Лакло и Муфф к дискурсам идентичности. Соотношение между дискурсивной и социальной практикой Йоргенсен и Филлипс рассматривают с позиции, близкой Фэркло: дискурс трактуется как часть социальных событий. Но в отличие от подхода Фэркло, основанного на онтологическом различии между дискурсивным и недискурсивным, комбинированный подход строится на аналитическом различии между дискурсивными практиками (объектами эмпирического дискурс-анализа) и более широкими социальными событиями, которые рассматриваются как фон для анализа дискурса «Другими словами, - отмечают авторы, - вопрос онтологического статуса дискурса и дискурсивной практики вынесен за скобки. Рассматривается только аналитическое измерение отличное от социальной практики»[1].

Предложенный подход дополняется подходом дискурсивной психологии, представленном в работах Уэтерелл и Поттера. За основу берется концепция дискурсов как гибких ресурсов в построении представлений о мире и идентичностей в процессе интерактивного взаимодействия.

Кроме того, в структуру комбинированного дискурс-анализа Йоргенсен и Филлипс предлагают привлечь социальные теории о политике, средствах коммуникации, рисках и идентичностях, предварительно переведя их на язык дискурс-анализа. Предлагается, в частности адаптировать к методологии дискурс-анализа теорию рисков Ульриха Бека, концепцию философии потребления Энтони Бауманна и Зигмунда Бауманна, теорию жизненной политики Энтони Гидденса.

При анализе комбинированного подхода в работе Йоргенсен и Филлипс особое значение придается соединению понятия «порядок дискурса»[2], сформулированного Фэркло, с трактовкой дискурса как ресурса в дискурсивной психологии, а также - с понятием «изменчивый знак»[3] в теории дискурса Лакло и Муфф. Например, в политическом дискурсе изменчивым знаком можно считать понятие «демократия», поскольку разные субъекты наполняют его различным содержанием. Изменчивый знак, взятый в контексте порядка дискурса, указывает на то, что один дискурс преуспел больше остальных в фиксации определенного значения понятия «демократия», и что другие дискурсы борются, чтобы завоевать эту фиксацию.

Одна из основных задач комбинированного дискурс-анализа – критика такой дискурсивной практики, которая подает себя как «само собой разумеющееся».

Суть критики заключается в том, чтобы показать, что то, что выдают за само собой разумеющееся, на самом деле есть ни что иное, как *доминирующий дискурс*. Стоит изменить ракурс или переструктурировать порядок дискурса, как то, что считалось само собой разумеющимся, окажется проблематичным. Например, в феминистских исследованиях в целях критики дискурса, в котором само собой разумеющимся считается доминирование мужчины над женщиной и доминирование «цивилизованных» народов над «примитивными» используется гипотетический образ киборга.

[1] Там же. С. 241.
[2] Под *порядком дискурса* подразумевается конфигурация всех типов и жанров дискурса, которые используются в какой-либо определенной области или в каком-либо определенном социальном институте. Например, внутри *порядка дискурса больницы* существуют следующие дискурсивные практики: дискурс медицинской консультации при коммуникации «врач-пациент», профессиональный дискурс в виде научной медицинской терминологии, используемой медиками как в устной, так и письменной форме, дискурс связей с общественностью (к примеру, пропаганда здорового образа жизни) и др. Дискурсивные практики внутри определенного порядка дискурса находятся в постоянном взаимодействии.
[3] Под *изменчивым знаком* понимаются элементы дискурса, открытые для разных значений и сигнификаций.

Йоргенсен и Филлипс, останавливаясь на методах данной критики, обращаются к работе теоретика феминизма Донны Харавей (Donna Haraway) «Манифест киборга».

Киборг – это гибрид организма и машины, природы и культуры. В силу этого он способен разрушать представления, которые люди считают само собой разумеющимися. В частности, киборг способен отойти от картины мира, которая предлагает структурировать действительность на основе длинного списка дихотомий: я/другой, мужчина/женщина, цивилизованный/примитивный и т.д. С позиции киборга доминирующие дискурсы рассматриваются не иначе, как мифопорождающие конструкции, как источники политической мифологии[1].

Критика доминирующих дискурсов, по мнению Йоргенсен и Филлипс, открывает возможности для новых комбинаций элементов дискурсивного поля, для переинтерпретаций само собой разумеющегося, а, следовательно, и для возникновения нового знания.

Рассмотренные выше классификации теорий дискурса не претендуют на охват всех существующих исследований в области дискурс-анализа. Их цель другая – дать более или менее целостное представление об основных подходах к понятию «дискурс» и способах его изучения, выработанных в академической среде и представленных авторитетными авторами, научными школами и влиятельными исследовательскими течениями.

В основе каждой классификации, как было показано, лежит свой базовый принцип выделения и структурирования определенных комплексов дискурс-теорий.

Для Ван Дейка базовым принципом выступает дисциплинарно-генетический подход, позволяющий провести дифференциацию теорий дискурса, исходя из того, методологический инструментарий какой дисциплины оказал наибольшее влияние на развитие дискурс-анализа на определенном отрезке времени.

У Торфинга классификация теорий дискурса осуществляется через выделение исследовательских традиций в диапозоне от лингвистических до постструктуралистских подходов к дискурсу.

В основе классификации Йоргенсен и Филлипс положен принцип дифференциации социально-конструктивистских теорий дискурса, исходя из того, как они трактуют взаимосязь дискурсивных и недискурсивных социальных практик.

Естественно, возможны и иные варианты классификаций существующих разнообразных теорий дискурса. Далее мы предлагаем вниманию читателей собственную классификационную схему дискурс-теорий, принимая во внимание достижения в этой области известных и уважаемых авторов.

С нашей точки зрения, существуют объективные и субъективные научно-когнитивные факторы, определяющие процесс возникновения и траекторию развития той или иной теории дискурса.

К объективным научно-когнитивным факторам мы относим объективные тенденции междисциплинарной интеграции и дифференциации наук, итогом которых становится возникновение новых методов и принципов исследования, а также оформление предметных областей новых дисциплин и субдисциплин. Теории дискурса и дискурс-анализа появились в результате именно данных объективных процессов. Они продолжают множиться и развиваться, благодаря пересечению предметных полей и методов самых разных наук. В точках таких пересечений, как правило, и появляются новые разновидности теорий дискурса.

К субъективным научно-когнитивным факторам, определяющим появление разнообразных теорий дискурса, мы относим, во-первых, сложившиеся в определенных академических кругах исследовательские традиции и установки, стереотипы мышления,

---

[1] См.: Филлипс Л.Дж. и Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. С 296 - 298.

доминирующие парадигмы и категориальные системы, словом то, что можно обозначить термином *«ментальные карты ученых»*.

Во-вторых, к субъективным научно-когнитивным факторам следует отнести *индивидуальные эпистемологические фильтры предпочтения,* т.е. позиции конкретных исследователей, осуществляющих отбор тех или иных ментальных карт в качестве исходной базы для построения собственных оригинальных теорий.

С учетом сказанного можно выделить следующие три основных критерия классификации теорий дискурса: 1) характер и содержание базового междисциплинарного комплекса, ставшего основой для появления конкретных теорий дискурса; 2) определенная исследовательская, методологическая и идеологическая традиция, сыгравшая роль ментальной карты для целого ряда теорий дискурса; 3) инновационные достижения конкретных авторов в области разработки теории дискурса.

В соответствии с данными критериями мы предлагаем три подхода к классификации теорий дискурса.

Первый подход предполагает выделение дискурс-теорий в соответствии с тем, какая новая междисциплинарная область оказала решающее влияние на формирование их теоретической и методологической базы.

Известно, что существенный вклад в развитие дискурс-анализа внесли такие новые комплексные дисциплины, как социолингвистика, коммуникативная лингвистика, культурная лингвистика, нарратология, семиотика, культурная психология и др.

С.Слембрук (S.Slembrouck), к примеру, выделяет следующие дисциплины, в рамках которых возникли разнообразные дискурс-теории: 1) аналитическая философия, включающая теорию речевых актов и теорию информационного обмена; 2) лингвистика, включающая структурную лингвистику, текстуальную лингвистику, прагматику и др.; 3) лингвистическая антропология, включающая этнографию речи, этнопоэтику, интеракциональную социолингвистику и др.; 4) новые литературные исследования; 5) постструктуралистская теория; 6) семиотические и культурные исследования; 7) социальные теории Пьера Бурдье, Мишеля Фуко, Юргена Хабермаса; 8) социология интеракции, включающая конверсационный анализ и этнометодологию[1].

В соответствии с предложенным дисциплинарным делением Слембрук выделяет теории дискурса Джона Остина (John Austin) и Джона Серля (John Searle), возникшие в рамках теории речевых актов. В рамках структурной лингвистики появились теории дискурса Кристал и Дэви (Cristal and Davy), а также Холлидей (Halliday). К теориям дискурса, возникших в рамках постструктурализма, он относит концепции Лакло, Муфф и Торфинга. В рамках семиотических и культурных исследований, отмечает Слембрук, появилась теория дискурса Бирмингемской школы во главе со Стюартом Холлом (Stuart Hall), в рамках интеракциональной социолингвистики – теория дискурса Джона Гумперза (John Gumperz) и Эмануила. Щеглова (E.Schegloff), в рамках конверсационного анализа – теория дискурса Харви Сакса (Harvey Sacks), этнометодологии – теория дискурса Гарольда Гарфинкеля (Harold Garfinkel).

С нашей точки зрения, классификация Слембрука не совсем корректна, поскольку не все названные восемь источников появления теорий дискурса можно отнести к научным дисциплинам или внутридисциплинарным течениям. Постструктурализм, например, скорее является мировоззренческим направлением, чем дисциплинарным комплексом.

Что касается других перечисленных Слембруком источников теорий дискурс-анализа, то их, действительно, можно считать дисциплинарной основой для осуществления классификации разнообразных теорий дискурса.

---

[1] Slembrouck S. What is meant by «discourse analysis»? // www http://bank.rug.ac.be/da/da/.htm#pr. Более подробно данная работа рассматривается в обзорной статье А.С.Кузнецова «Г.С.Слембрук. Что понимать под дискурс-анализом?», представленной в настоящей книге.

Добавим еще, что с развитием новой интеллектуальной истории, представленной прежде всего работами Х.Уайта и Ф.Анкерсмита, возникли нарратологические теории дискурса[1].

Сходный подход к выделению разнообразных видов теорий дискурса мы встречаем у Л.М.Макарова. С точки зрения Макарова специфика той или иной теории дискурса обусловлена прежде всего центральной парадигмой, лежащей в основе определенной дисциплины. Так, например, одним из источников современного дискурс-анализа стала коммуникативная парадигма, лежащая в основе феноменологической микросоциологии и социологии языка. Данные дисциплины получили развитие, благодаря исследованиям Эрвина Гоффмана, Арона Сикуреля, Гарольда Гарфинкеля. С именем последнего тесно связана этнометодологическая традиция в социологии, сосредоточенная на анализе структур обыденного, повседневного разговорного общения и интерпретациях, лежащих в его основе. Из этнометодологии развился конверсационный анализ, породивший теории дискурса Щеглова и Сакса и др. В основу конверсационного анализа дискурса была положена структурная модель обмена коммуникативными ролями.

Социолингвистика, отмечает Макаров, привела к возникновению теорий дискурса, опирающихся на парадигму социальных типов. В итоге предметом специальных исследований стали разнообразные дискурсы социального общения, например, дискурсы общения родителя и ребенка, врача и пациента, дискурсы судебного заседания и т.д.[2].

По мнению Макарова, важную роль в формировании теорий дискурса, относящихся к критическому дискурс-анализу (КДА), сыграла теория социальных представлений, рожденная в недрах социальной психологии. «И хотя критический дискурс-анализ, - пишет Макаров, - прямо не заимствует у теории социальных представлений ее аппарат и понятия, идейная и методологическая связь прослеживается достаточно хорошо»[3].

В целом, на наш взгляд, теории дискурса можно сгруппировать и по более крупному дисциплинарному основанию, взяв за основу базовые дисциплины, отраслевое разветвление которых породило те или иные теории дискурса. К таким базовым дисциплинам относятся лингвистика, семиотика, коммуникативистика, социология, психология, культурология, история.

Из лингвистики, например, выросли многочисленные социолингвистические, лингвопсихологические, лингвокультурологические, лингвополитологические и т.п. теории дискурса. Назовем их *теориями дискурса с лингвистическим уклоном.* К таковым, например, относятся теории дискурса Джеймса Ги (James Gee)[4], У.Лабова (W.Labov)[5], Э.Гоффмана[6], и др. К данной разновидности теорий дискурса можно отнести также современные разработки в области политической лингвистики, содержащиеся в работах Джилл Сейдел[7], М.В.Гавриловой[8], Н.М.Мухарямова и Л.М.Мухарямовой [9] и др.

Теории дискурса с лингвистическим уклоном представляют собой самую многочистенную группу. Другую группу теорий дискурса составляют, на наш взгляд,

---

[1] См.: White H. Tropics of Discourse. - Baltimore, 1978; Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе Х1Х века. - Екатеринбург, 2002; Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. М., 2003; Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. - М., 2003.
[2] См.: Макаров М.Л. Основы теории дискурса. - М., 2003. С. 92.
[3]Там же. С. 74.
[4] См.: Gee J. P. An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. - New York and London, 2005.
[5] См.: Labov W. Sociolingvistic Patterns. – Philadelphia, 1973.
[6] См.: Goffman E. Forms of Talk. – Oxford, 1981.
[7] См.: Seidel Gill. Political Discourse Analysis // Handbook of Discourse Analysis. Vol. 4. Discourse Analysis in Society. – London, 1985.
[8] См.: Гаврилова М.В. Политический дискурс как объект лингвистического анализа // ПОЛИС. 2004, № 2.
[9] Мухарямов Н.М., Мухарямова Л.М. Политическая лингвистика как научная дисциплина // Политическая наука. 2003, № 3.

теории дискурса с семиотическим уклоном. К ним относятся теории дискурса Р.Барта, У. Эко, Ж.Бодрийяра, П.Серио и др.

Можно также выделить в отдельные группы *теории дискурса с коммуникативно-семиотическим уклоном* (Е.Шейгал, О.Русакова)[1], *теории дискурса с коммуникативно-культурологическим уклоном* (С.Холл, В.Красных, В.Карасик)[2] и т.п.

Второй подход к классификации теорий дискурса учитывает наличие уже сложившихся исследовательских школ и направлений (мировоззренческих, идеологических, методологических) в сфере дискурс-анализа. Иначе говоря, теории дискурса группируются по своей принадлежности к известным течениям: 1) постмодернистский дискурс-анализ; 2) критический дискурс-анализ (КДА); 3) дискурсивная психология; 4) комбинированный дискурс-анализ; 5) Cultural Studies[3]; 6)Visual Studies[4]; 7) политическая лингвистика и др.

Третий подход представляет собой классификацию теорий дискурса, исходя из того, какие дискурс-объекты преимущественно оказываются в фокусе внимания конкретной теории дискурс-анализа.

Наиболее часто в фокусе теорий дискурс-анализа оказываются следующие дискурс-объекты:

1) дискурсы повседневного общения (бытовые разговоры, дружеские беседы, слухи, бытовые конфликты и др.);

2) *институциональные дискурсы* (административный дискурс, офисный дискурс, банковский дискурс, педагогический дискурс, медицинский дискурс, армейский дискурс, церковный дискурс и др.);

3) *публичный дискурс* (дискурсы гражданских инициатив и выступлений, дипломатический дискурс, PR-дискурс и др.);

4) *политический дискурс* (дискурсы политических идеологий, дискурсы политических институтов, дискурсы политических акций и др.);

5) *медиа-дискурсы* (ТВ-дискурс, дискурс кино, дискурс рекламы и др.);

6) *арт-дискурсы* (литературный дискурс, музыкальный дискурс, дискурс изобразительного искусства, модельный дискурс и др.);

7) *дискурс деловых коммуникаций* (дискурс деловых переговоров, дискурс бизнес-коммуникаций);

8) *маркетинговые дискурсы* (дискурс рекламы, дискурс продаж, потребительский дискурс, сервисный дискурс и др.);

9) *академические дискурсы* (дискурсы научных сообществ, дискурсы научных и гуманитарных дисциплин);

10) *культурно-мировоззренческие дискурсы* (дискурсы культурных эпох, дискурсы различных философских и религиозных течений).

На основании последнего подхода в отдельные группы, например, можно выделить теории политического дискурса М.Пешо, П.Чилтона, К.Шаффнер, Я. Торфинга, М. Ильина, Е. Шейгал и др., теории медиадискурса Ван Дейка, Н.Фэркло, Л.Чоулиараки и др., теории философского дискурса постструктуралистов и Ю.Хабермаса.

Все рассмотренные нами классификации теорий дискурса подтверждают тот факт, что для теорий дискурса не существует ни дисциплинарных, ни фокус-объектных

---

[1] См.: Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. - М., 2004; Русакова О.Ф. Дискурс, политический дискурс, политическая дискурсология // Многообразие политического дискурса. - Екатеринбург, 2004 и др.

[2] См. Красных В.В. «Свой» среди «чужих: миф или реальность? - М., 2003; Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. - М., 2004 и др.

[3] Под Cultural Studies имеется в виду прежде всего Британская школа культурных исследований (BSCS): См. статью Е.Г. Дьяковой «Теория дискурса в Британской школе культурных исследований», опубликованную ниже.

[4] В настоящее время Visual Studies или визуальные исследования превратились в относительно самостоятельную академическую дисциплину: См. статью А.Ю. Зенковой «Визуальные исследования как академическая дисциплина».

ограничений. Методологическая база дискурс-теорий носит принципиально комплексный, междисциплинарный характер, а предметная область данных теорий всегда открыта для дальнейшего расширения. Взятые в единстве, многочисленные теории дискурса представляют собой интенсивно и экстенсивно развивающееся полипарадигмальное, мультидисциплинарное направление современных научных исследований.

Е.Г. Дьякова

ТЕОРИЯ ДИСКУРСА В БРИТАНСКОЙ ШКОЛЕ КУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

«Культурные исследования», в основе которых лежат работы авторов, принадлежащих Британской школе культурных исследований (1), являются одним из самых влиятельных направлений современного гуманитарного знания. Начав в качестве явных научных маргиналов (сторонников Стюарта Холла первое время даже не допускали к преподаванию в более консервативных университетах), сторонники Бирмингемской школы в настоящее время полностью признаны академическим сообществом, а «культурные исследования» приобрели статус самостоятельной научной дисциплины. За последние тридцать лет «cultural studies» из маргинального научного направления, развиваемого в Бирмингемском университете, превратились в один из мейнстримов современного обществознания и породили несколько новых направлений, таких, как «subaltern studies» (колониальные исследования) или «queer studies» (исследования ненормативной сексуальности).

С самого начала сторонники Бирмингемской школы заявили о себе как о марксистах и не отказались от этого самоопределения даже после крушения СССР и социалистической системы в целом. Конечно, их марксизм всегда был очень далек от советской ортодоксии, настолько далек, что взгляды С. Холла и его последователей никогда сколько-нибудь подробно не анализировались в отечественной научной литературе.

Для теоретиков этого направления характерна активная рецепция структуралистских и постструктуралистских теоретических построений, хотя в основе их подхода лежит, по признанию основателя «культурных исследований» С. Холла, «марксизм без границ». Поэтому анализ дискурса ведется в культурных исследованиях в рамках марксистской теории доминирования. Именно с этих позиций описывается взаимодействие профессиональных работников СМИ и аудитории в теории «кодирования-декодирования» С. Холла, которая на сегодняшний день является главной дискурсивной моделью, функционирующей в «культурных исследованиях».

Общепризнанно, что «культурные исследования» возникли в результате адаптации частью английского академического сообщества идей А. Грамши и Л. Альтюссера. Кроме того, сильное влияние на британских исследователей оказал М. Бахтин, а точнее, приписываемая ему работа «Марксизм и философия языкознания». «Культурные исследования» честно следуют за всеми поворотами французской мысли последних трех десятилетий. Начав с переложения на английский лад идей Грамши и Альтюссера, они последовательно пережили увлечение Бартом и Фуко, и от анализа значений перешли к анализу дискурса.

Единственный крупный французский мыслитель, занимавшийся проблемами массовой коммуникации, который *не* повлиял на «культурные исследования» и которого ее сторонники позволяют себе критиковать, и критиковать очень резко, - это Ж. Бодрийяр. И это вполне объяснимо: идея Бодрийяра о том, что символический порядок — это просто абсурдное игнорирование смерти, лишает культурные исследования всякого смысла. По этой же причине английские исследователи не в восторге от идеи симулякра - если вещи и есть то, чем они кажутся, то исчезает всякая потребность в чтении, истолковании, декодировании и

прочих процедурах, на которых базируются культурные исследования. Как сформулировал суть разногласий основоположник Британской школы культурных исследований Стюарт Холл, «есть огромная разница между утверждением, что не существуюет единственного, окончательного, абсолютного значения, никакого определенного означаемого, но только бесконечно изменяющаяся цепь означающих, и утверждением, что значения не существуют вообще» (2). Именно анализ «бесконечно изменяющейся цепи означающих» и лежит в основе теории дискурса в ее бирмингемском варианте.

Сторонники Бирмингемской школы предпочитают доказывать свои утверждения путем анализа конкретных текстов, транслируемых масс-медиа (причем текст они, как и подобает поструктуралистам, понимают предельно широко). Поэтому, как будет показано ниже, их главной методологической проблемой является текстоцентризм.

Культурные исследования основаны не столько на работах самого Маркса, сколько на теории идеологической гегемонии, разработанной А. Грамши. Как известно, итальянский марксист стремился ослабить жесткую связь между классом и его идеологией, которая характерна для нейтральной концепции идеологии в ее ленинском варианте. В отличие от В.И. Ленина, который исходил из непримиримой противоположности интересов и, следовательно, идеологий антагонистических классов, А.Грамши признавал, что господствующий класс может сохранять свое господство, если он опирается не только на голое насилие, но и на согласие всех остальных классов. Поэтому господствующий класс вынужден до определенной степени подниматься над собственным эгоистическим интересом, расширяя и возвышая его. Завоевание идеологической гегемонии А. Грамши описывает термином «катарсис», поскольку оно, с его точки зрения, является политико-этическим процессом и предполагает, что интересы класса интерпретируются не только в чисто экономических категориях, но также в политических и моральных. Отсюда важнейший вывод о том, что идеологическая гегемония не гарантирована автоматически ни одному классу и требуются постоянные усилия «для обеспечения «спонтанного» согласия широких масс с тем направлением социальной жизни, которое задано основной господствующей группой» (3)..

По мысли Грамши, господство тех или иных идей не есть простое следствие экономического господства тех или иных классов или социальных слоев, а есть результат их борьбы за право представлять свои идеи в качестве общезначимых и само собой разумеющихся. Некоторые идеологические процессы вообще не могут быть объяснены, если не учитывать внутренних потребностей организационного характера, т.к. они направлены на внутреннее сплочение той или иной группы или класса, в то время как другие процессы направлены на формирование «идеологических блоков» с другими группами или классами. В результате любой социальный институт, занятый производством или распространением идеологии, включая средства массовой информации и государство, «не является носителем единой, последовательной и однородной концепции» (4). Таким образом, в грамшианстве идеология как конструирующий процесс утрачивает монолитность и однозначную связь с тем или иным классом.

Кроме того, Грамши впервые четко развел гегемониальные идеологические построения, как они формулируются интеллектуальной элитой («органической интеллигенцией»), и обыденное сознание, включающее в себя напластования самых различных идеологических элементов, каждый из которых когда-то служил достижению консенсуса и поэтому в той или иной мере учитывает интересы широких масс.

Именно идея идеологической гегемонии как процесса борьбы за спонтанное согласие масс с определенным истолкованием социальной реальности активно используется для описания места и роли массовой коммуникации в современном обществе в «культурных исследованиях». Когда они утверждают, что средства массовой информацию обеспечивают гегемонию в современном обществе буржуазной идеологии, эта гегемония трактуется ими «по Грамши» как растворение буржуазной идеологии в обыденном сознании на уровне дискурсивных практик.

Дальнейшее развитие в рамках Бирмингемской школы получило и замечание Грамши о том, что у активного человека массы есть два сознания: одно - порожденное его деятельностью, и второе - «поверхностно выраженное или словесное», воспринятое без всякой критики. Поэтому борьба за гегемонию ведется не только между классами, но и внутри сознания каждого отдельного представителя массы (5). Идея «двух сознаний» легла в основу созданной С. Холлом концепции «семантической герильи» аудитории против средств массовой коммуникации.

Кроме А. Грамши, на созданную С. Холлом модель коммуникативного процесса как процесса «кодирования - декодирования» сильно повлияла теория идеологии Л. Альтюссера. Альтюссер пошел дальше Грамши и с помощью понятия «сверхдетерминации» еще сильнее ослабил связь между классом и идеологией этого класса Как известно, с точки зрения Л. Альтюссера идеология является не простым отражением экономической практики, но практикой самой по себе. Это относительно автономное образование, которое имеет собственную структуру и динамику и в этом смысле «сверхдетерминировано» базисом, а не детерминируется им.

Идеология реализуется посредством идеологического аппарата, одной из подсистем которого, наряду с семьей и школой, являются средства массовой информации. Средства массовой информации оперируют системой репрезентаций, посредством которых индивиды воспринимают и выражают свое отношение к реальности, что одновременно означает их самоидентификацию. Вслед за Л. Альтюссером идеология в «культурных исследованиях» описывается как механизм трансформации индивидов в субъектов путем «призывания» («интерпелляции») индивида на соответствующее место в системе репрезентаций.

Правда, в рамках «культурных исследований» наибольший интерес вызывают не столько ритуалы «идеологического узнавания», сколько анализ системы значений, расшифровка идеологических кодов и вскрытие их латентного идеологического содержания. Что касается самого термина «репрезентация», то он толкуется строго по Р. Барту (6). Впрочем, сторонники Бирмингемской школы рассуждают не только об означающем и означаемом, денотации и коннотации, языке и речи, культурных мифах, но используют и дискурсивный подход Фуко.

Однако на С. Холла и его последователей еще до М. Фуко оказал решающее влияние М. Бахтин, так что дискурсивный подход с их точки зрения выглядит дальнейшим развитием взглядов М. Бахтина об «ориентации слова на собеседника» и «стабилизованной социальной аудитории», которая определяет структуру мышления и структуру высказывания. Вслед за Бахтиным они исходят из того, что «значение никогда не может быть окончательно зафиксировано» (7) и «скользит» в зависимости от типа ближайшей социальной ситуации, т.е. значение определяется контекстом его употребления. С. Холл сам указывает на огромное влияние, которое оказала на него работа В. Волошинова (М. Бахтина?) «Марксизм и философия языка», и прежде всего - сформулированная в этой работе идея социальной акцентуации знака, а также тезис о том, что «в каждом идеологическом знаке скрещиваются разнонаправленные акценты», так что «знак становится ареной классовой борьбы» (8).

В целом в рамках Британской школы культурных исследований грамшианская концепция идеологической гегемонии накладывается на идеи М. Бахтина о том, что в процессе классовой борьбы господствующий класс стремится превратить идеологический знак из многоакцентного в моноакцентный, «погасить или загнать внутрь совершающуюся в нем борьбу социальных оценок» (9), и все это вместе трактуется в духе идей Л. Альтюссера о сверхдетерминации идеологии.

На основе данного комплекса идей С. Холл сформулировал собственную концепцию дискурса как процесса «кодирования-декодирования». Мы сочли необходимым подробно остановиться на теоретических истоках теории «кодирования-декодирования», поскольку на сегодняшний день это наиболее разработанная в «культурных исследованиях» концепция, которая охватывает весь процесс производства, распространения и восприятия сообщений.

Процесс кодирования описывается С. Холлом как единый направленный процесс «закрытия» («closure») системы многоакцентных репрезентаций, то есть сужения всего

потенциального спектра значений до тех, которые являются преференциальными в господствующей идеологии. Закрытие обеспечивает натурализацию и абсолютизацию моноакцентных идеологических конструкций, в результате чего они превращаются в нормы здравого смысла и становятся предпосылкой любого мыслительного акта. Таким образом формируется «гегемонистский культурный порядок», обеспечивающий легитимацию существующего положения вещей на уровне дискурса как естественного, неизбежного и само собой разумеющегося. Однако этот жестко структурированный, асимметричный и неэквивалентный по отношению к массам дискурсивный порядок все-таки не является всеобъемлющим. Его гегемония - это гегемония в грамшианском понимании этого термина, т.е. постоянно оспариваемое и нуждающееся в постоянном закреплении господство.

Основным местом борьбы за идеологическую гегемонию для С. Холла является сфера декодирования посланий, а не сфера их кодирования. Именно в процессе декодирования осуществляется «семантическая герилья» против господствующей идеологии путем переосмысления преференциальных смыслов, заложенных в послание отправителями. Она возможнапотому,что «не существует неизбежной зависимости между кодированием и декодированием: первое может попытаться навязать свои предпочтения, но не в состоянии предписать или гарантировать последнее, которое имеет собственные условия существования» (10). Между кодированием и декодированием возможен и регулярно возникает разрыв, а процесс массовой коммуникации является систематически искаженным процессом. Этот разрыв объясняется не особенностями субъективного восприятия членов аудитории а тем положением, которое они занимают в социальной иерархии, особенно когда это положение - подчиненное.

С. Холл выделил три возможных варианта соотношения кодирования и декодирования в процессах массовой коммуникации.

Во-первых, возможна ситуация, когда между кодированием и декодированием существует полное соответствие и процесс соответствует идеалу совершенно неискаженной коммуникации. Характерно, что для С. Холла полное понимание и совершенно неискаженная коммуникация - это *худший* из возможных вариантов, поскольку они означают, что индивид полностью вписан в гегемонистский культурный порядок и оперирует исключительно господствующими кодами. В этом случае успешно осуществляется идеологическая интерпелляция по Л. Альтюссеру, и индивид превращается в идеологически сконструированного субъекта.

Например, тот, кто осуществляет декодирование американских телесериалов в прямом соответствии с замыслом кодировщиков, оказывается на позиции белого мужчины, принадлежащего к среднему классу, европейца, разделяющего традиционные моральные нормы, т.е. имеющего гетеросексуальную ориентацию. Это означает, что если на самом деле он является женщиной, или рабочим, или не-европейцем, или человеком нетрадиционной сексуальной ориентации (или всем этим сразу), то средства массовой информации совершают над ним акт насилия, включая его во враждебный ему культурный порядок.

Полное слияние с той идеальной субъектной позицией, которую навязывают членам аудитории средства массовой информации, вознаграждается «удовольствием от узнавания». Как формулирует это один из виднейших представителей Бирмингемской школы Дж. Фиск, занимая навязываемую средствами информации гегемонистски-доминирующую позицию, мы испытываем «идеологическое наслаждение от того, что мы еще раз убеждаемся, что наша доминантная идеологическая *практика работает:* и значения реальности, и порождаемая ими наша субъективность кажутся имеющими смысл» (11). Тем самым обеспечивается спонтанное согласие членов аудитории с существующим положением вещей.

К счастью, случаи, когда члены аудитории занимают «гегемонистски-доминирующую позицию» (словообразование самого С. Холла), достаточно редки. Гораздо чаще соответствие между кодированием и декодированием является только частичным и достигается в результате переговоров, так что получившийся культурный порядок можно также определить как «переговорный». Суть переговорного процесса состоит в том, что в процессе декодирования

член аудитории «признает легитимность гегемонистских определений на высшем (общем) уровне, но на более ограниченном, ситуативном уровне исходит из собственных оснований»(12) и действует методом исключения из правила. Тем самым у членов аудитории сохраняется возможность получать удовольствие от узнавания и верить в осмысленность существующего порядка вещей, но в то же время они отказываются полностью соответствовать той конструкции субъекта, которую им предлагают, и далеко не однозначно реагируют на интерпелляцию.

Иными словами, члены аудитории, в целом сохраняя лояльность господствующей идеологии, осмысляют определенные события в духе, противоречащем этой идеологии, но соответствующем их собственной социальной позиции, т.е. исходят из корпоративных соображений. Возникающие при этом противоречия, как правило, не осознаются, поскольку переговорная логика всегда является ситуативной и не выходит за пределы данной ситуации (13). Например, рабочий может полностью разделять буржуазные представления о рыночной экономике и соглашаться с тем, что «для того, чтобы уменьшить инфляцию, необходимо уменьшить объем ничем не обеспеченной денежной массы». Однако это отнюдь не означает, что он согласится с навязываемым ему средствами массовой информации негативным отношением к забастовщикам, которые добиваются повышения заработной платы, т.е. роста ничем не обеспеченной денежной массы. В результате интерпретация таким рабочим информационных сюжетов о забастовщиках будет расходиться с той интерпретацией, которая была изначально заложена в сюжет производителями посланий.

Таким образом, хотя кодирование было осуществлено исходя из гегемонистски-доминирующей позиции, декодирование осуществляется на основе «переговорно-корпоративной позиции» (еще одно словообразование С. Холла). Такое декодирование может восприниматься производителями посланий просто как недопонимание (например, недопонимание недостаточно образованными людьми механизмов роста цен), но на самом деле оно является одной из разновидностей семантической герильи против гегемонистского культурного порядка.

Декодирование может носить и радикальный характер, то есть осуществляться с позиций прямо противоположных господствующей идеологии. В этом случае член аудитории деконструирует гегемонистский культурный код и конструирует послание заново в оппозиционном коде. Декодирование с радикально-оппозиционных оснований происходит тогда, когда член аудитории меняет акцентуацию знака, например, превращает «общечеловеческое» в «классовое», «нормальное» в «патриархатное» и т.п. Это означает, что он отказывается испытывать удовольствие от узнавания, то есть производит денатурализацию идеологии, разоблачает ее претензии на общезначимость и перестает воспринимать предписанную ему позицию в социальной структуре как нормальную, естественную и непротиворечивую.

Классический пример радикальной семантической герильи приводит Д. Морли. Наблюдая за обитателями ночлежки, этот исследователь обратил внимание на то, что, развлекаясь просмотром американских боевиков, они неизменно прекращали просмотр в тот момент, когда герой оказывается на волоске от гибели, а злодей вот-вот восторжествует. Оказалось, что в ходе просмотра они идентифицировали себя именно со злодеем и радикально переосмысляли боевик, так что вместо утверждения господствующих ценностей происходило утверждение ценностей прямо им противоположных: то, что обозначалось в боевике как «хаос», получало значение «порядок» и т.п. Очевидно, что, когда события, которые обычно декодировались большинством аудитории с договорно-корпоративной позиции, начинают декодироваться с радикально оппозиционных позиций, у семантической герильи есть все шансы перерасти в полноценный политический и социальный кризис. Собственно, главная задача последователей Бирмингемской школы состоит именно в том, чтобы научить аудиторию занимать радикально-оппозиционную нишу.

Как видим, в «культурных исследованиях» аудитория активным, в высшей степени диверсифицированным субъектом коммуникативного процесса, активно занятым производством дискурса.

В то же время отправители посланий выступают в качестве агентов идеологического аппарата, транслирующих гегемонистский идеологический код массовой аудитории, поскольку профессиональные коды производителей посланий, определяющие форму этих посланий, детерминированы господствующими идеологическими кодами, и их дискурсивные практики принципиально несамостоятельны.

С. Холл и его последователи разделяют постулат М. Бахтина (и Н. Марра) о том, что «область идеологии совпадает с областью знаков»(14) . Процессы кодирования посланий отправителями описываются С. Холлом с помощью следующей формулы: «в определенные моменты... происходит конституирование [темы] посредством символических средств по общим правилам языка»(15). При этом подчеркивается, что язык полностью детерминирован социальными структурами и одновременно являетсяинструментом, с помощью которого эти структуры воспроизводятся и поддерживаются. Поэтому «конструирование темы по общим правилам языка» тождественно ее идеологическому конструированию.

Аналогичная логика характерна и для другого крупного исследователя Бирмингемской школы - Дж. Хартли. С одной стороны, Дж. Хартли определяет процесс массовой коммуникации как процесс автокоммуникации, т.е. коммуникации культуры с самой собой. Но с другой - сама культура является для него синонимом идеологии, поскольку идеологическая гегемония - это процесс трансляции классовых отношений в факты культуры. Язык средств массовой информации находится в отношении метонимии к языку в целом. Иными словами, это часть, которая представляет целое, но представляет его с точки зрения доминантного культурного порядка, так что все альтернативные позиции вытесняются за пределы массовой коммуникации или допускаются в ней лишь постольку, поскольку они совместимы с доминантным порядком. Это означает, что производители посланий, в отличие от их получателей, в принципе неспособны к семантической герилье и занимаются только «воспроизводством идеологического дискурса в сфере своей компетенции» (16).

В то же время сторонники Бирмингемской школы признают наличие у работников средств массовой информации собственной сферы компетенции, то есть того, что, наряду с общеидеологическими, они применяют и профессиональные коды. Однако эти коды используются исключительно для дополнительной кодировки посланий, которые уже были закодированы с помощью гегемонистского культурного кода. На первый взгляд профессиональный код относительно независим от гегемонистского кода, поскольку он оперирует на уровне технических приемов и практических навыков (например, оператор стремится подобрать удачный визуальный ряд, репортер - собрать оперативную информацию и т.п.). Однако на самом деле профессиональный код существует в пределах гегемонистского культурного кода, поскольку он вырабатывается внутри идеологического аппарата агентами этого аппарата.

В целом сторонники Бирмингемской школы исходят из того, что наличие у производителей посланий профессиональных кодов только закрепляет гегемонистский культурный порядок - «профессиональные коды способствуют воспроизводству гегемонистских определений именно потому, что они открыто не смещают свои операции в направлении доминирующей идеологии: в силу этого идеологическое производство осуществляется неумышленно, бессознательно, как бы «за спиной» (17). Получается, что каких бы убеждений на сознательном уровне ни придерживался журналист, сам факт использования им профессиональных дискурсивных практик уже превращает его в буржуазного журналиста.

Подчеркнем, что С. Холл построил свою теорию дискурса, опираясь не столько на эмпирические данные, сколько на внутреннюю логику марксизма в его позднем, грамшианском и фукольтианском варианте. Попытка Д. Морли осуществить верификацию данной теории методами прикладной социологии не увенчалась особым успехом, так как довольно быстро

обнаружилось, что декодирование - это не единый акт чтения текста, а целый набор процессов, включающий в себя концентрацию внимания на послании, определение его значимости, понимание послания, его интерпретацию и реакцию на него и т.п., причем *все* эти процессы могут осуществляться одним и тем же членом аудитории, оказавшимся перед экраном. Главным недостатком модели кодирования-декодирования, с точки зрения ее эмпирической верификации, оказалось то, что в ней «отсутствует четкая грань между пониманием-непониманием знаков и согласием-несогласием с теми значениями, которые генерируются этим знаками» (18) .

Однако появление Интернета и формирование виртуального пространства создали ситуацию, когда сложные теоретические построения основоположника «культурных исследований» обрели непосредственную наглядность, благодаря интерактивному характеру нового средства коммуникации. Интернет дал возможность получателям посланий, которые располагают достаточной культурной компетентностью, чтобы преодолеть все описанные Д. Морли барьеры, осуществлять семантическую герилью в публичном виртуальном пространстве форумов, чатов и блогов. Теперь любой отправитель «закрытого» послания, закодированного в соответствии с гегемонистским культурным кодом, может напрямую столкнуться и с переговорным, и с радикально-оппозиционным декодированием этого послания.

Учитывая, что нормы сетевого этикета только складываются, и далеко не все считают себя обязанными им следовать, не вызывает удивления, что радикально-оппозиционное декодирование зачастую приобретает форму «флуда», когда полное неприятие соответствующей позиции выражается в намеренно оскорбительной и грубой форме. Хотя большинство форумов и чатов вводит особые ограничения для флудеров, и даже исключает их из общения, само существование флуда, с точки зрения культурных иследований, свидетельствует не столько о невоспитанности части сетевой аудитории, сколько о ее нежелании мириться с гегемонистским культурным порядком и принятыми в нем нормами общения.

То, что хамство и грубая брань одобряются как образцы радикально-оппозиционного дискурса, не должно вызывать удивления. В культурных исследованиях в полной мере работает известный марксистский парадокс, согласно которому чем профессиональнее работают средства массовой информации, тем хуже для аудитории, верен и на этом уровне: профессионализм работников средств массовой информации оказывается только еще одним (и самым коварным) способом борьбы за идеологическую гегемонию.

Так, один из наиболее известных последователей С. Холла Дж. Фиск в свое время доказывал, что таблоиды (иначе «желтая» или «бульварная» пресса) оказывают на массы гораздо более позитивное воздействие, чем престижные качественные издания, потому что размещаемые в таблоидах сенсационные сообщения легче поддаются истолкованию с переговорно-корпоративной позиции, чем аналитические статьи и объективные репортажи, которые публикуют элитарные издания. Это происходит потому, что сенсация предполагает оппозицию нормальному порядку вещей и, следовательно, подрыв официального порядка. Такого рода сообщения не претендуют на полную достоверность и, следовательно, интерпеллируют к скептическому субъекту, который колеблется между верой и неверием, потому что «видит всех насквозь» и не желает, чтобы его провели. В то же время, претензия элитарных изданий на правдивость и объективность своих сообщений (и следование профессиональным критериям, гарантирующим эту правдивость и объективность) представляет собой политический акт, направленный на то, чтобы дисциплинировать своих читателей, превратить их в «верующих субъектов» и тем самым заставить их занять подчиненную позицию по отношению к властям предержащим.

Иными словами, «желтая пресса» лучше элитарных изданий, потому что она имеет менее жесткие профессиональные критерии: журналисты таких изданий «не предпринимают никаких усилий для того, чтобы представить свою информацию как объективный набор фактов в неизменной вселенной; для них информация является не эссенциалистской характеристикой познавательной системы, а процессом, который находится в политическом

отношении ко всем другим видам знания» и противостоит всему официальному и нормальному (19).

Естественно, «желтая пресса» не идеальна, поскольку она не позволяет своим читателям занять радикально-оппозиционную нишу и консервирует их на переговорно-корпоративной позиции. В этом смысле популярная пресса заметно уступает радикальным изданиям, напрямую побуждающим свою аудиторию к семантической (и не только семантической) герилье. Однако она имеет перед такими изданиями явное преимущество - большие тиражи.

Учитывая, что аудитория, с точки зрения последователей Бирмингемской школы, активна, в то время как производители посланий просто перекодируют с помощью мнимо независимых профессиональных кодов господствующую идеологию, можно было бы предположить, что в исследованиях сторонников этого направления главное внимание уделяется именно тому, как аудитория трансформирует гегемонистский культурный порядок. Однако на самом деле основное внимание уделяется именно анализу дискурса посланий, и прежде всего - тому, как осуществляется идеологическая гегемония на уровне технических приемов. Именно этой проблеме посвящены основные работы С. Холла, Дж. Хартли, Дж. Фиска, А. Макробби и других менее известных представителей Бирмингемской школы. При этом поле «культурных исследований» постепенно все более расширялось, втягивая в себя не только новости и другие информационные жанры, но и «мыльные оперы», телевизионные шоу, спортивные передачи и прочие популярные жанры, так что от изучения посланий, имеющих явное идеологическое содержание, сторонники Бирмингемской школы перешли к изучению посланий, в которых это содержание становится все более и более скрытым. При этом каждое отдельное послание описывалось и описывается особо (по схеме, предложенной Р. Бартом в «Мифологиях»), что придает работам сторонников Британской школы некоторую хаотичность. Впрочем, разнообразие объектов исследования не влечет за собой разнообразия выводов, поскольку рано или поздно исследователь обнаруживает в своем объекте явные признаки гегемонистского культурного порядка.

Из всего сказанного очевидно, что основной задачей исследователей Бирмингемской школы является, так сказать, «академическая герилья» - разоблачение господствующей идеологии с позиции тех, за счет кого осуществляется доминирование и кто способен противопоставить ему стратегии радикального переосмысления. Это означает, что точка зрения исследователя - не нейтральная, а радикально-оппозиционная. Эпатирующее заявление Дж. Фиска о том, что для понимания подлинной природы американских СМИ надо быть не белым мужчиной, а черной женщиной, желательно нетрадиционной сексуальной ориентации, показывает, как мыслится наиболее эффективное решение исследовательской задачи. Однако как бы легко ни поддавались критике массовая культура и средства массовой информации с радикально-оппозиционной точки зрения, такая критика всегда оказывается замкнутой в рамках текста.

При этом внешние критерии, позволяющие оценить качество этой критики, просто отсутствуют: при всем желании трудно найти достаточное количество черных лесбиянок из низших слоев общества, способных выступить в роли независимых критиков весьма сложных текстов Дж. Фиска и других исследователей Бирмингемской школы, а высказывания других, более благополучных авторов всегда могут быть отвергнуты как буржуазные. В результате С. Холл даже был вынужден критиковать своих последователей за текстоцентризм: увлечение интерпретацией текстов в отрыве от социокультурного контекста, в котором эти тексты производятся, и сведение проблем власти и политики исключительно к вопросам языка.

Таким образом, анализ взаимодействия аудитории и СМИ как «семантической герильи» дискурсивных практик, порождает серию неустранимых парадоксов и противоречий, преодолеть которые «культурным исследованиям» пока не удается.

Примечания:

1. Иначе это научное направление называют Бирмингемской школой, поскольку оно сложилось в Центре по современным культурным исследованиями Бирмингемского университета (BSCS).

2 . On Postmodernism and Articulation. In interview with Stuart Hall. Ed. By L. Grossberg// Critical Dialogues in Cultural Studies. L.; N.Y.: Routledge, 1996. P. 137. Кстати, С. Холл был не в восторге и от проведенного М. Фуко различия между дискурсом и идеологией
3. Грамши А.Тюремные тетради. Ч. 1. М. Политиздат, 1991. С. 332.
4. Грамши А.. Указ. соч. С. 43.
5. См.: Грамши А.. Тюремные тетради. Ч. 1. С. 34 - 35.
6. Приведем определение репрезентации, данное С. Холлом в учебных целях: «В основе производства значений в языке лежит отношение между «вещами», концепциями и знаками. Процесс, который связывает эти три элемента воедино, и есть то, что мы называем репрезентацией» *(Hall S.* The Work of Representation // Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. L., Thousand Oaks, New Dehli: SAGE Publications , 1997. P. 19).
7. Hall S. The Work of Representation. P. 23.
8.Волошинов . Философия и социология гуманитарных наук. СПб.: Аста-Пресс, 1995. С. 236. Весьма показательно, что из всех работ бахтинского круга британские ученые выбрали наиболее ортодоксальную с марксистской точки зрения.
9.Там же. С.236
10. Hall S. Encoding/Decoding // Media and Cultural Studies. Key Works. L., Blackwell Publishers. 2001. P. 173.
11. Fiske J. Television Culture.L.;N.Y.: Methuen &Co Ltd, 1987. P. 51.
12.Hall S. Encoding/ Decoding , . 175.
13. Отметим близость данного утверждения к одному из основных тезисов социальной феноменологии о ситуативности повседневного мышлении..
14. Волошинов В. Философия и социология гуманитарных наук. С. 222.
15.Hall S. Encoding/Decoding in the Television Discourse. Birmingham, 1973. P. 3.
16. Hartley J. Understanding New. L.: Routledge, 1995. P. 62.
17 Hall S. Encoding/Decoding // Media and Cultural Studies, P. 174.
18. Morley D. Television, Audiences and Cultural Studies. L.,N.Y.: Routledge, 1992. P. 121.
19. Fiske J. Popularity and the Politics of Information// Journalism and Popular Culture. L., 1992. P. 54.

О.Ф.Русакова, Е.В.Ишменев

КРИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС-АНАЛИЗ

Под критическим дискурс-анализом (сокращенно КДА) подразумевается весьма популярное и широкое научное течение, фокусирующее внимание главным образом на властно-политической и идеологической природе дискурса и делающее предметом исследования реализуемые в дискурсах отношения подчинения, неравенства, дискриминации.

Ведущими представителями КДА являются *Мишель Пешо* (Michel Pecheux), *Норман Фэркло (Norman Fairclough), Рут* В*одак (Ruth Wodak), Лили Чоулиораки (Lilie Chouliaraki), Тьон А. ван Дейк (Teun A. Van Dijk), Пол Чилтон (Paul Chilton), Кристина Шафнер (Christina* Schäffner*), Гюнтер Кресс (Gunter Kress)*[1].

Представители КДА изначально рассматривают свои дискурс-теории как методологический инструментарий, предназначенный для критического разоблачения закодированных в дискурсивных практиках отношений социального доминирования и дискриминации.

[1] См.: Fairclough N. Language and Power. London: Longman. 1989; Fairclough N. Critical discourse analisis and the marketization of public discourse: the universities// Discourse and Society, 1993, № 4 (2): 133-168; Fairclough N. Media Discourse. London: Edward Arnold. 1995; Fairclough N. Critical Discourse Analisis. London: Longman. 1995; Kress Gunther. Ideological Structures in Discourse // Handbook of Discourse Analysis, Vol. 4. Discourse Analysis in Sociaty. London: Academic Press. 1985. P. 27-42; van Dijk, T. Discourse and Elit Rasism. London: Sage. 1993; van Dijk, T.Principles of critical discourse analysis // Discoursr and Sosiaty, 4 (2) .P. 249-283; Wodak, R. Disorders of Discourse. London: Longman. 1996; Wodak R. and Meyer M. Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage. 2002; Chilton P. and C. Schäffner. Discourse and Politics. //Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction, vol. 2: Discourse as Social Intraction.London: Sage. 1997 и др.

Дискурс в КДА трактуется как коммуникативный ресурс, способствующий формированию и воспроизводству неравного распределения власти между социальными группами.

Дискурсивные практики анализируются с позиции производимых ими идеологических эффектов: они формируют и воспроизводят неравенство в социальных отношениях, создают идентичности путем позиционирования и категориальной классификации групп и людей.

Дискурс в КДА рассматривается как определенный способ доминирования и контроля в обществе. Важной составляющей критического дискурс-анализа является признание изменчивости социальных норм и регуляций, которая выступает следствием трансформации дискурсных практик.

Занимаясь выявлением властных отношений в дискурсе, представители КДА определяют власть как производительную силу, появляющуюся в результате усвоения и признания некоторого типа языка участниками социальных взаимодействий.

Главная особенность КДА, отличающая данное направление от других дискурс-теорий, заключается в том, что его представители сознательно встают на сторону борьбы подавляемых и угнетаемых социальных групп против групп, продуцирующих и воспроизводящих репрессивные дискурсы.

Все возрастающий исследовательский и общественный интерес к КДА в последние годы объясняется рядом факторов. Одним из них является появление в политической жизни новых социальных движений, которые обозначаются такими терминами, как «движения за идентичность», «борьба за признание», «движения за культурные права и мультикультурное гражданство» и др., получивших в США общее название - «политика идентичности».

В политике идентичности формулируются требования социального, политического и правового признания субкультур дискриминируемых общественных групп, требования расового, этнического, гендерного и др. равенства. В данных требованиях содержится идея о необходимости коренного переосмысления и изменения существующих социокультурных и дискурсивных практик распределения власти. «Они, - отмечает Сейла Бенхабиб, - сигнализируют о новых политических представлениях, выдвигающих проблемы культурной идентичности в широком смысле на передний план политического дискурса»[1].

При рассмотрениии причин обращения исследователей к КДА такие видные его представители, как Норман Фэркло и Рут Водак, обращают внимание на ряд факторов, связанных с увеличением роли языка маркетинга и массовых коммуникаций в общественной жизни. Во-первых, отмечается, что с развитием рыночных отношений и распространением потребительских настроений в общественную жизнь активно вторгаются дискурсы рекламы, а также получают широкое распространение дискурсы сферы обслуживания, отличающиеся языковой обезличенностью. По отношению к данным дискурсивным практикам у определенных групп людей складываются критические отношения.

Во-вторых, с развитием сфер услуг и культуры развлечений ключевым фактором при определении качества произведенного «товара» и, следовательно, его прибыльности, является язык, используемый в процессе «доставки» услуг. Этим объясняется пристальное внимание сервисного бизнеса к языковому «дизайну», оформлению речи работников сферы услуг (продавцов-консультантов, стюардесс и т.п.).

Процесс маркетизации, проникая в общественные институты, вызывает все больший интерес к способам позиционирования и самопрезентации в целях привлечения внимания потребителей. Особую популярность в связи с этим получают такие социальные практики, связанные с дискурсным дизайном, как создание имиджа, работа с персоналом и др.

---

[1] Бенхабиб Сейла. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру/Пер. с англ.; под ред. В.И.Иноземцева. М., 2003. С. XXX11.

В-третьих, все чаще в центре общественной жизни оказываются СМИ, в особенности телевидение. Медиа-дискурс в руках политиков выступает мощным ресурсом, используемым для формирования общественного мнения, для завоевания поддержки населения. В то же время, использование языка СМИ увеличивает риск публичной дескредитации. Важным условием достижения политического успеха является продуманность выбора языка общения с массовой аудиторией посредством СМИ[1].

Увеличение роли языка в общественной жизни приводит к повышению уровня сознательного вмешательства в языковые практики с помощью особых технологий. Данный процесс Фэркло обозначил териимином *«технологизация дискурса»*[2].

Технологизация дискурса включает систематическую, институциональную интеграцию следующих видов деятельности: 1) дискурс-анализ; 2) оформление (дизайн) и переоформление (редизайн) языковых практик; 3) тренинг институционального персонала в области овладения новым дискурсным ресурсом.

Технологизация дискурса осуществляется как сверху-вниз, так и снизу-вверх. «Нисходящая» технологизация дискурса носит институциональный характер. «Восходящая» технологизация дискурса связана с критическим подходом к существующим речевым практикам со стороны обычных людей. Критическое осознание людьми повседневных речевых практик и ориентация на трансформацию этих практик выступает одним из элементов общественной борьбы (классовой, феминистской, антирасистской). Рефлексивное строительство новых дискурсов и перестройка себя в соответсвии с этими дискурсами, считают сторонники КДА, представляет собой нормальную каждодневную практику.

КДА возник в качестве лингвистического критического анализа, получившего развитие в рамках «западного марксизма». Западный марксизм больше, чем другие формы марксизма интересовался культурными измерениями общественной жизни, подчеркивая, что капиталистические общественные отношения устанавливаются и воспроизводятся в значительной степени на основе культурного, а, следовательно, и идеологического, базиса, а не только экономического.

Одной из главных отличительных особенностей КДА от других теорий дискурса является *акцентировка на идеологичеких контекстах дискурса социальных коммуникаций.* Под идеологизированностью дискурса понимается признание в языке тех составляющих, которые поддерживают определенный тип социальных отношений.

Идейно-теоретическими источниками КДА являются работы крупных философов и ученых, внесших значительный вклад в изучение и критическое осмысление дискурса. К таким авторитетным авторам относятся, прежде всего, М.Бахтин, А.Грамши, Л.Альтюссер, М.Фуко, Р.Барт, П.Бурдье.

Если в самом сжатом виде обозначить основные идеи классиков, которые были взяты на вооружение представителями КДА, то схематично это будет выглядеть так:

Бахтин: учение о диалогичности, полифоничности любого дискурса, учение об языке как идеологическом материале и арене политической борьбы.

Грамши: учение о гегемонии и властном принуждении, которое содержится в речи; идея о том, что власть капиталистического класса зависит от комбинации «политического общества» и «гражданского общества», что «политическое общество» - это область принуждения, а «гражданское общество» - область «гегемонии», где побеждает молчаливое согласие большинства на сохранение статус кво; мысль о том, что согласие как проявление гегемонии реализуется в структурах и практиках повседневной жизни, упрочая тем самым капиталистические отношения.

---

[1] См.:Fairclough Norman and Wodak Ruth. Critical Discourse Analisis // Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Volume 2. Discourse as Social Interaction. London: Thousand Oaks. 1996. P.259-260.

[2] См.: Fairclough N. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. 1992.

Альтюссер: рассмотрение идеологии не как царства идей, а как способа (в том числе дискурсивного) позиционированию людей в качестве социальных субъектов, анализ коммуникативного обращения как идеологического способа формирования субъектности.

Фуко: отношение к дискурсу как единству знания и власти, рассмотрение различных областей знания и социальных институтов как сфер дисциплинарного контроля со стороны властных инстанций.

Барт: семиотический подход к дискурсу, трактовка дискурса как способа конструирования социальной реальности с помощью значений (означивания).

Бурдье: понимание дискурса как габитуса, генерирующего социальные практики и регулирующего оценочные восприятия, подход к дискурсу как к символическому капиталу, функционирующему в политическом поле.

Критический дух Франкфуртской школы, направенный на рассмотрение культуры не в качестве эпифеномена экономики, а в качестве относительно автономной области, также существенно повлиял на становление идено-теоретической базы КДА. Философы Франкфуртской школы настаивали на том, что в культурных феноменах проявляются социальные противоречия и вызревают критические силы, выступающие проив существующих порядков. Они подчеркивали роль субъективных условий в осуществлении революционных трансформаций. Согласно Ю.Хабермасу, критическая наука должна опираться на саморефлексию (осознание связи с определенными интересами) и считаться с историческим контекстом лингвистических и социальных взаимодействий. Хабермас разработал концепцию «идеальной разговорной ситуации», в которой взаимодействие осуществляется без какого-то властного давления. Рациональный или идеальный дискурс, согласно Хабермасу, преодолевает дисбаланс власти у субъектов коммуникации.

Основными теоретико-методологическими установками и особенностями КДА в области интерпретации и анализа дискурса являются:

1) лингвистически-ориентированный подход к дискурс-анализу;
2) трактовка дискурса как коммуникативной акции, производимой в форме текста и речи;
3) интерпретация письменного и разговорного дискурса как форм социальной практики;
4) диалектический взгляд на взаимосвязь дискурсов и социальных практик, подчеркивание их взаимной обусловленности;
5) понимание дискурса как вербальной репрезентации отношений идеологического доминирования;
6) акцент на критике и разоблачении дискриминационного и репрессивного содержания господствующих социально-политических дискурсов;
7) особое исследовательское внимание к дискурсам расизма, национализма, сексизма;
8) рассмотрение дискурса элит и медиадискурса как основных источников властной ассиметрии.

Этих установок придерживаются практически все представители КДА.

В 1994 г. ученые, занимающиеся критическим дискурс-анализом, объединились в международную сеть CRITICS (Centres for Reserch into Texts, Information and Communication in Society – Центры изучения текстов, информации и коммуникации в обществе).

В рамках КДА можно выделить несколько течений, краткий анализ которых мы предлагаем вниманию читетелей.

Французский дискурс-анализ

Данное направление представлено прежде всего работами *Мишеля Пешо* (Michel Pecheux) «Автоматический анализ дискурса» (1969), «Прописные истины» (1975), «Дискурс – структура или событие?» (1988) и др.

Дискурс, с точки зрения Пешо, - это точка, где встречаются язык и идеология, а дискурсивный анализ – это анализ идеологических аспектов использования языка и реализации в языке идеологии. Смыслы слов меняются в зависимости от классвых позиций в политической борьбе. Дискурсивный процесс рассматривается Пешо как часть идеологических классовых отношений[1]. В лингвистических терминах дискурсивный процесс описывается им как система отношений парафраз, синонимии и метонимии с идеологическими символами[2]. При этом идеологические структуры рассматриваются как связка между индивидуальными и универсальными (социальными) моментами в дискурсе.

Пешо была разработана модель автоматического анализа дискурса, в основу которой легла идея о неустранимом влиянии места, времени и социокультурного контекста на условия производства дискурса. Речь идет о формирующей дискурс социально-исторической ткани, о социокультурной заданности дискурса: не субъект как таковой является автором производимого им дискурса, а некая внесубъектная «матрица смыслов», которая автоматически управляет дискурсом субъекта, определяет способы производства дискурса. Данную матрицу Пеше обозначает термином «идеологическая формация». «Идеологические формации…, - отмечает Пешо, - определяют то, что может и должно быть сказано (в форме наставления, проповеди, памфлета, доклада, программы и т.д.) в соответствии с определенной позицией и при определенных обстоятельствах»[3].

Вторя Альтюссеру, Пешо предполагает, что люди занимают иллюзорную позицию, видя себя источниками дискурса. На самом деле дискурс, да и сами люди как субъекты дискурса, - лишь следствия идеологического позиционирования. Субъект дискурса есть не что иное, как производимый в ходе дискурсивной практики эффект субъектности – «l`effet-subject». Источники дискурса и процессы идеологического позиционирования скрыты от людей. Более того, дискурсивные конструкции, в рамках которых идеологически позиционируются люди, сами формируются под воздействием совокупности дискурсивных формаций, которые Пешо называет «интердискурсом».

Главной целью автоматического анализа дискурса выступает «несубъективный анализ эффектов смысла».

Действие предложенного Пешо метода автоматического анализа дискурса было продемонстрировано в 1973 году в ходе эксперимента, в котором группе студентов предлагалось осмыслить и кратко передать содержание противоречивого и политически двусмысленного текста. Пятидесяти студентам, изучающим менеджмент, был предъявлен короткий отрывок одного политического доклада, в котором давался анализ кризисной ситуации в стране. Текст был прочитан им дважды. Они также имели доступ к печатному виду текста. Стедентов попросили составить полное и объективное резюме из 10-ти строк относительно содержания текста. При этом одной половине студентов намекнули, что текст, по-видимому, был составлен профсоюзными деятелями левого толка из Французской Демократической Конфедерации Труда, а другой половине намекнули, что источником может быть правое крыло в правительсве – голлисты и жискардисты. Студентам также было предложено самим высказать гипотезу относительно того, является ли источник текста политически «левым» или правым. Лишь меньшинство определило источник как «левый». Впоследствии студенты были поделены на две группы в соответствии со своей собственной политической позицией с целью четкого разделения парафраз (пересказов текста) на правые и левые. Эти два выделенных набора левых и

---

[1] Pecheux, M. Les verites de la palice. Paris: Masbero. 1975. P. 82.
[2] Ibid. Pp. 145-146.
[3] Цит. по: Серио П. Анализ дискурса во Французской школе (дискурс и интердискурс) // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. Изд. 2-у, испр. и доп. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. С. 560.

правых парафраз могут быть рассмотрены как два образа одного и того же текста или как материализация идеологических и политических гипотез.

В этом эксперименте исследовались три неопределенности: 1) политическая неопределенность самого доклада; 2) неопределенность политических взглядов левых и правых весной 1973 года во Франции; 3) классовая неопределенность технических менеджеров.

Левые и правые наборы парафраз сравнивались на основе синтаксического анализа комбинаторики следующих сюжетов: 1) причины кризиса, 2) политика экономической реорганицации, 3) политика в сфере потребления, 4) политика культурного развития.

Анализ показал, что в правых парафразах основные причины кризиса сводятся к объективным, естественным процессам, например, к таким, как демографический взрыв, отсутствие сырья. В левых же парафразах в качестве главной причины кризиса называется проводимая правительсвом экономическая политика, которая привела к падению потребления[1].

В целом, творчество Пешо оказало серьезное влияние на современных представителей французской школы дискурс-анализа, среди которых следует назвать П.Серио, Э.П.Орланди, Ж.-Ж.Куртин, Д.Мальдидье.

***Критическая лингвистика* (КЛ)**

КЛ возникла в Великобритании в конце 1970-х гг. (R.Fowler, G.Kress, Hodge[2]). Основной упор КЛ делала на анализе грамматических структур текстов, которые рассматривались как идеологические стратегии. Например, если в документальном фильме про «третий мир» бедняки из стран третьего мира последовательно выступают как объекты активных глаголов и никогда как субъекты этих глаголов, то это указывает на то, что бедняки в данном тексте трактуются как пассивные жертвы, а не участники борьбы. Более того, выбранная в данном случае грамматическая конструкции вносит определенный вклад в воспроизводство отношений доминирования, т.е. грамматика данного текста служит идеологии.

КЛ также привлекала внимание исследователей к идеологической силе системного подхода, к идеологической составляющей систем категоризации, которые встроены в словари. Наиболее часто критический лингвистический анализ применялся к дискурсу прессы, к различным типам обучающих текстов и интервью.

В конце 1980-х - начале 1990-х гг. ряд ведущих представителей КЛ обратились к исследованиям в области социальной семиотики.

Социальная семиотика

Представители данного направления - Гюнтер Кресс, Ван Лиуэн и Лили Чоулиораки - обращают основное вниманиен на мультисемиотические свойства большинства современных текстов. Она также изучает способы анализа визуальных образов (от фотографий в прессе и телевизионных образов до изобразительного искусства эпохи Ренессанса) и отношения между языком и визуальными образами. К примеру, Гюнтер Кресс и Ван Лиуэн исследуют, как системообразующие текстовые категории материализуются в изобразительных структурах. Они также считают, что опыт анализа визуальных образов может привести к переосмыслению теории языка[3].

---

[1] См.: Pecheux, M., Henry, P., Poitou, J-P., and Haroche, C. Une example d`ambiguite ideologique: Le rapport Mansholt // Technologies, Ideologies et Pratiques, 1979, № 1 (2).

[2] См.: Fower, R. and Kress,R. Critical linguistics // Language and Control. London: Routledge. 1979. P. 185-213; Kress G. and Hodge R. Language as Ideology. London: Routledge. 1979.

[3] См.: Kress, G. and van Leeuwen, T. Reeding Imagies. Geelong, Vic.: Deakin University Press. 1990.

Суть социально-семиотической теории КДА изложена в работе Г.Кресса «Идеологические структуры в дискурсе»[1]. Далее приводятся некоторые положения и выводы, содержащиеся в данной работе.

Дискурсы, счтает Кресс, нельзя отождествлять с текстами и их жанрами. Выбор текстового жанра в процессе коммуникации задается определенным дискурсом. Дискурс идеологичен, поскольку выражает позицию и стратегию говорящего. В дискурсе артикулируется значимость, предпочтительность тех или иных ценностей и понятий. Организация содержания в дискурсе определена существующей в обществе идеологической системой координат. Через дискурсы идеологические предпочтения реализуются в жанровых предпочтениях и в синтаксической организации текста. Например, в активных и пассивных формах предложениях изменение акцента, обозначенного первой позицией, от агента к цели непосредственно выражает позицию говорящего в отношении того, что для него является в данный момент значимым. Возьмем два предложения: 1) «председатель сообщил мне что…»; 2) «было сообщено председателем, что…». В первом предложении акцентируется значимость источника информации, во втором – акцент делается на значимости самой информации

Наличие синтаксических форм (активных или пассивных) сигнализирует о присутствии определенного идеологического выбора. Сигналы синтаксических форм сообщают не только об идеологическом выборе, но и о системе значений, содержащихся в выборе.

Таким образом идеологическое содержание выражается в лингвистических формах двумя способами: во-первых, как признак идеологического отбора, произведенного говорящим или пишущим, т.е как индекс идеологической деятельности; во-вторых, как выражение идеологического содержания, переданного в лингвистической форме в контексте других экстралингвистических форм.

Кресс подчеркивает, что выбор лингвистической формы не всегда оказывапется живым творческим процессом для говорящего: «если дискурсы представляют собой организации идеологического материала в дискурсивных формах, и если эти дискурсы существуют уже в установленном репертуаре дискурсов, принятом социальной группой, тогда говорящий индивид не станет создавать дискурс, а скорее просто воспроизведет дискурс, который она или он ранее заучили. Как бы там ни было, поскольку дискурс и текст являются разными категориями, и поскольку дискурс должен быть реализован в специфическом жанре, вполне возможно для говорящего использовать уже установленные дискурсивные правила, но придав им относительно новую текстуальную форму»[2].

Поскольку не существует прямой связи между социально организованным дискурсом и лингвистически организованным текстом, текст может быть местом, где сосуществуют противоречивые и несоизмеримые дискурсы. Именно в тексте, а не в дискурсе пользователи языка могут реализовать свой творческий потенциал. В то время как дискурсы относительно фиксированы, тексты до некоторой степени непостоянны и непредсказуемы.

В своей статье Кресс приводит несколько примеров, в которых демонстрируются журналистские приемы построения вербальных текстов и визуальных образов, а также - способы их соединения в дискурсах телевизионных репортажей и газетных информационных сообщениях.

На основе дискурс-анализа конкретных телевизионных репортажей и газетных публикаций, посвященных одной определенной теме, Кресс вскрывает идеологические структуры в их дискурсах. Например, при анализе новостных телесообщений, повествующих о бурной реакции болельщиков на стадионе, протестующих против

---

[1] См.: Kress , G. Ideological Structures in Discourse // Hahdbook of Discourse Analysis. Vol. 4. Discourse Analysis in Society: Academic Press. London. 1985. Pp. 27 – 42.

[2] Ibid. P. 31.

апартеида во время выступления команды из Южноафриканского Союза Рэгби, показывается, что текст репортажей выстраивается таким образом, чтобы представить перед зрителями противников апартеида (антирасистов и антифашистов) в качестве агрессивных агентов беспорядков, т.е. в образе врага.. В то же время, образ полиции был представлен как образ друга и защитника.

Кресс показывает, что лексическая структура текста, выбор метафор военного столкновения, смысловые акценты телевизионной картинки - все работает на определенную идеологическую заданность дискурса. Ракурсы телекамеры идентифицируют зрителя с полицейскими и репортерами, а не с протестующими против апартеида антирасистами и антифашистами.

Методы выявления идеологической структуры дискурса Кресс рассматривает также на примере проведенного им дискурс-анализа рекламы бюстгальтеров фирмы «Берлей».

Кресс отмечает, что язык, используемый для описания женщин и аспектов их жизни отличается от языка, используемого для описания жизни мужчин. Другими словами, существует *сексистский дискурс*. В рамках сексистского дискурса и через него обоим полам предписываются стереотипные сексуальные роли. Женщины в сексистском дискурсе представлены либо в роли сексуального объекта, либо в роли репродуктивной рабочей силы. Рекламный текст фирмы «Берлей» включает оба стереотипа. Уже в рекламном заголовке – «Говорят, что материнство делает женщину красивой» - дается установка на два стериотипных представления о женщине. В тексте рекламы постоянно идет соединение двух сексистских дискурсов: один эксплуатирует асексуальный образ матери как репродуктивной домашней силы, другой – образ женщины как объекта сексуального желания мужчины. Во всех структурных компонентах рекламного текста утверждается, что асексуальная Мать может содержать в себе сексуальную Женщину.

Семиотический подход к дискурс-анализу демонстрирует Лили Чоулиараки при анализе теледебатов в статье «Медиа Дискурс и публичная сфера»[1].

Методология дискурс-анализа, утверждает Чоулиораки, базируется на конструктивистском подходе к языку как к семиотической практике. Данная практика включает три процесса: 1) конструирование реальности, 2) установка социальных взаимосвязей и идентичностей, 3) конструирование текста. Соответственно можно выделить три функции языка: когнитивная, коммуникативная, текстуальная.

Текстуальная функция подразумевает, что люди связаны с реальностью и между собой семиотическим образом, т.е. через текстуальное знаковое посредничество. Текстовый анализ занимает ключевую позицию в аппарате КДА. Суть его – в установлении связи между смыслообразованием, включающим создание идентичностей, и дискурсивным горизонтом, откуда черпаются смыслы.

Методология КДА, согласно Чоулиораки, трактует лингвистические и визуальные ресурсы текста как взаимосвязанные индикаторы властной борьбы дискурсов за установления режима правды. Если взять для примера теледебаты, то их критический дискурс-анализ включает выявление роли вербальных и визуальных текстов в вытеснении одних дискурсов другими, чьи интерпретации действительности (вербальные и визуальные) претендуют на статус правды.

В своем анализе конкретных теледебатов, посвященных скандальным журнальным статьям, в которых на основе демонстрации фотографий журналисты делали умозаключение о «трещине в браке» датской королевской семьи, Чоулиораки подробно описывает вербальные и визуальные приемы, с помощью которых ведущий теледебатов подводит зрителей к мысли о том, что журналистский дискурс страдает некомпетентностью, а, следовательно, не может претендовать на достоверность собственных интерпретаций супружеских отношений в королевской семье.

---

[1] См.: Chouliaraki, L. Media Discourse and the Public Sphere // Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance: Palgrave Macmillan Ltd 2005. Pp. 275 –296.

Фокусируя внимание на визуальной семиотике, структурирующей вербальный ряд теледебатов (речь идет о демонстрации телеведущим картинок и текстов из конкретных журналов), Чоулиораки отмечает, что через визуальную семиотику существенно усиливается влияние позиции телеведущего на зрителей. Кроме того, вопросы ведущего выстроены таким образом, чтобы не дать оппоненту вписать обсуждаемую проблему в более широкий социальный контекст и тем самым вовлечь телезрителей в орбиту собственного дискурса. В итоге дискурс ведущего оказывается доминирующим, а его позиция начинает восприниматься аудиторией как единственно правдивая и соответствующая действительности. При этом незаметно в сознание аудитории внедряется контекстуальный смысл дискурса ведущего – супружеские взаимоотношения в королевской семье не должны быть предметом публичных обсуждений в прессе.

Социокультурный дискурс-анализ

Ведущие представители – Норман Фэркло и Рут Водак. Основное внимание концентрируется на взаимосвязи изменений, происходящих в структуре языка и в структуре социокультурных отношений. Главная цель – исследование связи между употреблением языка и социокультурной практикой. Например, Норман Фэркло в ходе дискурс-анализа британских университетских объявлений о приеме на работу демонстрирует связь между текстуальными различиями рассматриваемых обращений и изменениями, происходящими в социокультурной практике. Фэркло обращает внимание на то, что изменения в университетском дискурсе связаны с распространением в общественной жизни потребительской культуры[1]. Фэркло исследует, как дискурсы продвижения и маркетинга содействуют распространению потребительской культуры в университетах, в других социальных институтах и сферах, которые раньше были организованы согласно другим принципам.

Социокультурный дискурс-анализ строится на постулате, который гласит, что дискурс и социокультурная реальность взаимообусловливают друг друга: дискурс формирует общество и культуру, так же как и сам формируется ими; их взаимосвязь диалектична. Это означает, что каждый факт применения языка делает свой небольшой взнос в процесс воспроизводства или трансформации общества и культуры, включая властные отношения. Именно в этом, подчеркивают Фэркло и Уодак, и заключается сила дискурса[2].

Фэркло и Водак выделяют три главные области социальной жизни, которые определяются дискурсом: 1) представления о мире (дискурс формирует ментальность), 2) социальные отношения между людьми (дискурс производит социальную идентификацию и социальное позиционирование), 3) личная индивидуальность человека (дискурс наделяет человека отличительными чертами). Данные свойства дискурса демонстрируются на примере дискурс-анализа текста радио-интервью с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, взятом журналистом Майклом Чарльтоном на канале BBC (Radio 3) 17 декабря 1985 г.[3].

Главная идея КДА, конкретно реализованного через дискурс-анализ интервью с премьер-министром М.Тэтчер, сводится к гипотезе о том, что тэтчеризм как политическое течение имеет отчасти лингво-дискурсивный характер. Тэтчеризм описывается как идеологический проект, направленный на построение новой гегемонии или нового доминирующего дискурса согласия. Тэтчеризм рассматривается как попытка трансформации политического дискурса путем комбинации элементов традиционного консервативного дискурса (упор на закон и порядок, семейные ценности), сильное правительство и др.) с элементами либерального политического дискурса (упор на

---

[1] См.: Fairclough, N. Critical Discourse Analisis. London: Longman. 1995. P. 143-144.

[2] См.: Fairclough, N. and Wodak, R. Critical Discourse Analisis // Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Volume 2. Discourse as Social Interaction. London: Thousand Oaks. 1996. P.273.

[3] Полный анализ текста радио-интервью дает Фэркло в своей книге «Language and Power» (London, 1989).

независимость личности, на индивидуального предпринимателя как на двигатель экономики).

В исследовании показывается, что в ответах и выступлении Тэтчер консервативный и либеральный дискурсы перемешиваются с дискурсом повседневной жизни, что придает дискурсу Тэтчер популистский характер. В качестве популистского элемента в дискурсе Тэтчер присутствует обращение «вы» (you), которое распространено в разговорной речи и неявно указывает на то, что премьер-министр - обычный человек. В то же самое время политическая риторика Тэтчер авторитарна. Используя местоимение «мы», она делает упор на то, что выступает от лица народа. Местоимение «мы» часто выполняет одновременно функцию «вовлечения» (вовлекает аудиторию в представление о достижении британским обществом более высокого уровня жизни), и функцию «исключения», например, когда под «мы» подразумеваются только те граждане, которые поддерживают политику Тэтчер, и, следовательно, исключаются все те, кто ее не поддерживает.

Посредством дискурса формируется представление о Тэтчер, как о сильном политике и одновременно как о лидере, который, будучи наделенным политической властью, не перестает быть женщиной. Это демонстрируется на примере присутствия в риторике Тэтчер одновременно облигаторных модальных выражений («должен», вынужден» и др.), которые говорят о сильной политической власти, и осторожных, «вероятностных» суждений («я надеюсь», «я смогу ответить на этот вопрос лучше, рассказав, что» и др.), которые могут восприниматься как проявление «женственности».

Чтобы определить, совершает ли определенное дискурсивное событие (выступление, репортаж, статья и др.) идеологическую работу, не достаточно просто проанализировать тексты, считают Фэркло и Водак. Необходимо также рассмотреть, как эти тексты могут быть интерпретированы и восприняты и какой социальный эффект они производят.

Дискурс, отмечают авторы, не создается вне контекста и не может быть понят вне контекста. Высказывания имеют смысл только тогда, когда мы рассматриваем их в контексте определенной ситуации, если мы понимаем основные условия и правила социальной и языковой игры, если мы соотносим их с определенной культурой и идеологией. И, что самое главное, если мы знаем, с каким событием в прошлом и с какими предшествующими дискурсами соотносится данный дискурс. «Дискурсы всегда связаны с другими дискурсами, которые были произведены ранее, а также с теми, которые производятся с ними одновременно и впоследствии»[1]. Поэтому контекст дискурсивного события включает не только социокультурные параметры, но и интертекстуальность или интердискурс. К примеру, речь Тэтчер содержит отсылки к тому, что она и ее правительство говорили ранее. Она связана с другими речами и заявлениями, с принятыми ранее законами, с репортажами в СМИ, а также с определенными действиями, предпринятыми правительством.

В речи Тэтчер можно обнаружить намеки, которые предполагают наличие у слушателей определенных знаний и интертекстуального опыта. Например, чтобы понять, о чем говорит премьер-министр, необходимо иметь представление о том, какова была ситуация в Великобритании в 1940- гг., на которую ссылается Тэтчер в своем выступлении. Необходимо знать, кто такой Рэб Батлер, какое «видение» было у де Голля и т.д. Задача еще более усложняется, когда Тэтчер ссылается на «традиционный консерватизм», имея в виду, что тэтчеризм от него существенно отличается.

В ходе изучения любого дискурса важно учитывать пласты исторических знаний, составляющих его контекст. Водак в этой связи был разработан *дискурсивно-исторический метод*, суть которого – в раскрытии дискурсной истории каждого структурного компонента дискурса.

---

[1]Ibid. P. 276.

Впервые дискурсивно-исторический метод Водак и ее коллеги по Венской группе (F.Menz, B.Matouscheck и др.) применили при исследовании антисемитизма в Австрии в послевоенное время. Эти материалы сегодня используются учителями школ, которые хотят обсудить в своих классах различные виды антисемитского дискурса. Они используются при организации выставок, посвященных второй Австрийской республике, где широко практиковался антисемитский дискурс. Авторы дискурсивно-исторического метода привлекались в качестве экспертов по антисемитскому дискурсу при анализе одной из колонок в крупнейшем австрийском таблоиде, в котрой отрицался Холокост. С просьбой провести данную экспертизу к ним обратилось еврейское сообщество. Экспертное мнение показало, что статья определенного автора в данной газете не была случайной, а соответствовала обычной ее практике. К сожалению, в суде дело было проиграно из-за финансовой мощи и власти хозяев таблоида.

В ходе дискурсивно-исторического анализа прослеживается процесс образования стереотипного антисемитского образа врага или портрета противника, выявляются предубеждения, входящие в расистский дискурс. Дискурсивно-историческая методология составлена так, чтобы позволить проводить анализ неявно высказываемых предубеждений, выявлять коды и намеки, которые читатели могут расшифровать и понять только тогда, когда ознакомятся с историческими обстоятельствами, составляющими контекст дискурса.

Для обозначения взаимосвязи социкультурных процессов, с одной стороны, и свойств текста, с другой, Фэркло и Уодак вводят понятие *«порядок дискурса»* («orders of discourse»). В вышеприведенном анализе интервью с Тэтчер данный подход ставит своей целью показать, что изменения в британской политике, в отношениях между политиками и СМИ, изменения в британской культуре частично реализуются через изменения в порядке политического дискурса. К примеру, Тэтчер в беседе с журналистом устанавливает такой порядок дискурса, при котором не журналист, а она сама начинает управлять ходом и тематикой разговора.

Социо-когнитивный дискурс-анализ

Представлен, прежде всего, исследованиями Ван Дейка. Большинство критических работ Ван Дейка посвящены теме воспроизводства национальных предубеждений и расизма в дискурсах СМИ, институциональных дискурсах и дискурсах политических элит.

Расизм определяется Ван Дейком как система доминирования и социального неравенства. Доминирование трактуется как злоупотребление властью одной группы над другой, которое проявляется, с одной стороны, в различных формах дискриминации, маргинализации, исключения, становления под сомнение, жесткости по отношению к эмигрантам и меньшинствам, с другой стороны - в предубеждениях и стереотипных верованиях, т.е. в идеологических структурах.

Например, «если «белые» как группа обладают большей экономической, политической, социальной или культурной властью в обществе, и они злоупотребляют этой властью, ограничивая «не-белых» в правах, держа их подальше от страны, города, дома, компании, магазина, университета, работы, газеты или научного журнала, тогда мы имеем дело с проявлением расизма. Обладать властью значит обладать предпочтительным доступом к контролю за невосполнимыми социальными ресурсами»[1] .

Дискурс расизма, по Ван Дейку, это деятельность, которая связывает практику социальной дискриминации с идеологией расизма.

В дискурсе расизма действие осуществляется посредством текстов и устных высказываний. Дискурс расизма - это коммуникативно-когнитивные и социально-институциональные каналы, через которые расистские предубеждения артикулируются и

[1] Van Dijk T.A. Rasism and Discourse in Spain and Latin America // Discourse Approaches to Politics, Society and Culture. Chapter 1// www. Discourse –in-Society.org.

воспроизводятся в обществе. Его проводниками являются учебные учреждения, учебная литература, ежедневные общения в семье, в рабочих коллективах.

Главной и наиболее влиятельной формой институализации практики и дискурса расизма являются СМИ. Выбор заголовков, проблем, источников и цитат сеьезно смещен в сторону доминирования «белой» группы. Повседневная жизнь и проблемы меньшинств («небелых») редко освещаются в СМИ. Наоборот, их негативные поступки (преступления, наркотики) преувеличиваются, а вклад в развитие культуры и жизнь общества, кроме спортивных достижений и развлечений, игнорируется или умалчивается. Исследования, отмечает Ван Дейк, показали, что повседневные представления белых людей об иммигрантах и меньшинствах обычно основаны не на личном опыте, а на информации, почерпнутой из СМИ и из разговоров.

Институциональный расизм осуществляется в школах и университетах (на уроках, в учебных пособиях, в должностных назначениях, в участии в исследовательских проектах и др.). «Суть большинства уроков, учебников и рассказанных детских историй сводится к тому, что Мы (белые европейцы) самые продвинутые, современные, умные и т.д., в отличие от Других, т.е. меньшинств в наших странах, таких же как народы Третьего мира»[1].

Ведущими практиками дискурса расизма, как и всякого другого дискурса, выступают социальные институты и группы, формирующие общественное мнение. К их числу относятся элиты (политические, информационные, научные и др.).

Элиты, которые контролируют наиболее важные формы общественного дискурса (политики, журналисты, профессора), несут за него ответственность, контролируют его вклад в воспроизводство расистских представлений и верований.

Расистские представления и верования в значительной степени приобретены из дискурса, поскольку непосредственным источником расистской дескриминации чаще всего оказываются дискурсивные практики. «Всех нас учат быть расистами (или не-расистами) посредством детской литературы, игр, телевизионных передач, учебников, разговоров с друзьями, новых информационных или аналитических статей и т.д… Дискурс дискриминации сам по себе – это практика расизма»[2].

Детальный анализ дискурсивных практик расизма предполагает изучение того, как формируются их социокогнитивные основания. К социокогнитивным основаниям дискурса расизма Ван Дейк относит индивидуальные и социальные представления в форме верований, предрассудков и идеологий.

Методы дискриминации в верованиях и предрассудках основаны на поляризации между теми, кто входит в группу (Мы), и теми, кто в нее не входит (Другие). На уровне текста и разговора мы находим знакомую поляризацию между Нами и Ими, где наши хорошие черты подчеркиваются, а плохие замалчиваются. Для Других же применяется обратная модель: плохие черты акцентируются, а хорошие игнорируются. Мы можем увидеть это в таких мелочах, как местоимения, активных и пассивных предложениях, в метафорах (например «вторжение» для иммиграции). Мы видим это в преобладающем количестве изображений белых людей (хороших, храбрых) в учебниках, в способах обращения или необращения к меньшинствам на страницах учебников и т.д.

Дискурс расизма может быть амбивалентен, что находит отражение в известных оборотах, типа: «Я не расист, но…». Эта стандартная формула дискурса расизма включает два противоположных по смыслу когнитивных момента: 1) осознание антирасизма как нормы положительного самоопределения; 2) негативное представление о Другом.

Анализ парламенских дебатов и других политических дискурсов, отмечает Ван Дейк, показывает, что в то время, как, с одной стороны, расизм не признан официално, дискурс элит все более и более представляет эмигрантов, меньшинства и беженцев как угрозу государства всеобщего благоденствия, западной культуре и, конечно, экономическому,

[1] Там же.
[2] Там же.

политическому и социальному доминированию тех граждан, которые подпадают под понятие «Мы».

Сосредотачиваясь на незаконной эмиграции, преступлениях, терроризме, отсталости и общих отрицательных свойствах, приписываемых Другим, политический дискурс элит производит и распространяет социальные предубеждения и идеологии, которые, в свою очередь, приводят к ежедневной дискриминации в сфере труда, жилья, образования, культуры, в отношении к эмигрантам и т.д.

Дискурсивный элитный расизм, подчеркивает Ван Дейк, это не только слова или идеи, но и распространяющаяся влиятельная социальная практика, приводящая к конкретным формам этнического неравенства. Основной способ выступления против такого расизма элит заключается в практиковании последовательных и критических антирасистских дискурсов или альтернативных дискурсов мультикультурного типа. Без такого дискурсивного инакомыслия возможно повторение ужасов этнических и расовых конфликтов, истребительных войн XX-го столетия. В современном мире, в Европе и других странах, считает Ван Дейк, нет никакой альтернативы мультикультурному и многоэтническому обществу без расизма[1].

В настоящее время исследователями, идентифицирующими себя с КДА, все больше внимания уделяется изучению политического дискурса и властной силы медиадискурса с учетом все возрастающей роли культурно-информационных ресурсов в установлении режима правды. Свои взгляды на политический дискурс и на методы его исследования представители КДА обобщили в одной из своих коллективных работ, которая называется «Политика как текст и разговор. Аналитические подхожы к политическому дискурсу» («Politics as Text and Tolk. Analitic Approaches to Political Discourse»), опубликованной в 2002 г. в серии «Дискурсивные подходы к политике, обществу и культуре» (Discourse Approaches to Politics, Society and Culture).

В редакционной статье Пол Чилтон и Кристина Шаффнер поддверждают, что для КДА политическими дискурсами являются прежде всего текстуальные, речевые и медийные репрезентации политических идей, политических деятелей, политических элит и политических институтов. В то же время, авторы отмечают, что общая картина исследовательской ситуации в КДА в плане разработки теоретико-методологического инструментария анализа именно политического дискурса выглядит довольно эклектично. Поэтому вопрос об изучении природы политического дискурса весьма остро стоит на повестке дня современных исследований, проводимых с позиций критического дискурс-анализа[2].

Д. А. Максимов

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Тема исследования политического дискурса в отечественной науке актуальна и востребована. Тем не менее, трудности возникают в определении отработанных методик исследования, которые непосредственным образом характеризуются различиями в теоретических подходах к изучению политического дискурса.

---

[1]См.: Van Dijk. Elit discourse and institutional rasism. Universitat Pombeu Fabra, Barcelona, March, 29, 2005 // www. Teun at discourse –in-Society.org.

[2] См.: Chilton and Schäffner. Introduction: Themes and principles in the analysis of political discourse // Politics as Text and Tolk: Analitic Approaches to Political Discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publishing Company. 2000. P. 5.

Говоря об общей характеристике теорий политического дискурса в отечественной школе на современном этапе можно отметить определенное смещение в сторону критической лингвистики. Во многом это оправдано структурными изменениями в политическом процессе, а также в парадигмальном мышлении исследователя. Здесь ключевой проблемой становится использование языка как средства власти и социального контроля [Шейгал 2004]. Безусловно, трансформация в лексической и стилистической системах имеет прямое отношение к оформлению моделей политического дискурса. Например, можно говорить о семантических сдвигах, влиянии официально-деловой речи и одновременно просторечия, диффузии политического языка на разных уровнях коммуникации. С этой точки зрения, абстрактного общения не существует, однако есть сферы человеческой деятельности, в которых общение происходит. Несмотря на очевидную сложность создания адекватной модели «метаполитического» дискурса, можно выявить его специфику и особенности, отличительные от других дискурсивных областей.

Относительное многообразие отечественных теорий политического дискурса удобнее всего показать на примере концептуальных различий в подходах к анализу политической коммуникации. В лингвистических исследованиях как таковых можно выделить три базовых подхода: дескриптивный, критический и когнитивный. Эти подходы играют особую роль в формировании теорий политического дискурса, поскольку именно они составляют семантический аспект политической коммуникации. Дескриптивный подход включает в себя, прежде всего, анализ языкового поведения и контент-анализ. Критический подход рассматривает язык как средство политической власти; когнитивный подход относится к моделированию структуры сознания – формированию когнитивной базы. (Здесь следует отметить то, что когнитивный подход становится все более значимой исследовательской парадигмой, что позволяет выделить его из дескриптивно-содержательного подхода в отдельное направление).

Таким образом, в семантическом аспекте политической коммуникации и в рамках представленных исследовательских подходов появляется возможность выделить ряд теорий политического дискурса отечественной школы.

Теории манипулятивности связаны с изучением языкового поведения, языковых средств, риторических приемов и иных стратегий, используемых политиками в целях убеждения (А.А.Романов, И.Ю.Черепанова). Понятие манипуляции в данном случае объединяет сферы политики и торговых отношений. Соответственно, методология анализа политического дискурса манипуляции эффективно использует, на первый взгляд, «чуждый» категориальный аппарат. С этой точки зрения, лидерство, эффективное управление, деловые переговоры, лобби, бренд-менеджмент, реклама и друн\гие понятия, произошедшие из экономических отношений, часто выступают незаменимыми в сфере политики отношений.

Теории тематического анализа политического дискурса представляют «смысловую направленность дискуссии, которая на языковом уровне отражается в наборе связанных по семантике слов и словосочетаний, в тезисах аргументированных актов…».[1] Акцент на этой компоненте дискурса оправдан тем, что понимание тесно связано с конкретными коммуникативными целями реципиента, условиями коммуникации, знакомством с проблемной областью. В этой связи экспертного знания в анализе дискурса может оказаться не достаточно. Поэтому появляется возможность выделить тематический мониторинг политического дискурса в отдельное перспективное направление, в котором важную роль играют понятия метафоры и стереотипа, лежащего в основе определенных политических предубеждений [Караулов, Баранов 1991; Баранов 2004; Чудинов 2001).

Теории рефлексии подразумевают то, что в рамках политической коммуникации политическая рефлексия происходит по поводу достаточно узкого обязательного круга

[1] Баранов А.Н. Политический дискурс: методы анализа тематических структур и метафорики. – М.: ИНДЕМ, 2004. Стр. 7

проблем. Это означает, что представители различных дискурсных формаций используют одинаковые конструкты, но видоизменяют их в соответствии с присущей данной формации идеологией. С точки зрения когнитивной семантики, специфика политической рефлексии состоит в активации различных «слотов» – ячеек – внутри одних и тех же фреймов. Так, отправитель сообщения по-разному устанавливает между ними связи и отношения. В итоге, подобный дискурс проецирует различные политические концепции на одно и то же используемое понятие [Милевская, Басенко 2004]. В тоже самое время, этот дискурс непосредственно участвует в формировании убеждений, установок и внутренней оценки участников взаимодействий. Теории рефлексии раскрывают динамическую сторону жизни дискурсивных формаций.

Теории аксеологического анализа политического дискурса в большей степени относятся к аксиологическому аспекту политической коммуникации. Здесь учитываются, прежде всего, понятийные, образные и ценностные элементы с доминированием последних [Слышкин 2000; Карасик 2004]. Представители данного направления уделяют особое внимание соотношению персонального и социального дискурсов, доказывая, что именно от их соотношения и зависят формы дискурса.

Теории интент-анализа политического дискурса указывают на ослабление референциального значения слова при одновременном усилении коннотативных компонентов его структуры. Существует и специальное методологическое направление – интент-анализ, ориентированное на исследование психологических характеристик политического дискурса [Ушакова, Павлова 2000]. Плодотворным представляется и использование так называемого поэтологического подхода, который апеллирует к таким ключевым понятиям политической коммуникации, как, например, экспрессия.

Идеологический анализ политического дискурса как разновидность лингво-идеологического анализа имеет дело прежде всего с институциональным дискурсом, который обеспечивает трансляцию актуальных и «фиктивных» ценностей. Некоторые сторонники подобного подхода, в частности В.Н.Базылев, видят в политическом дискурсе один из субдискурсов идеологического метадискурса По их мнению, если ключевым понятием метадискурса является идеологема, то операционально-функциональная единица субдискурса – это политикема [Базылев 1998].

Теории конфликтного политического дискурса – инновационное направление в исследовании дискурса. В рамках этого направления язык политики рассматривается с точки зрения использования в нем выражений, экспрессивный словарь и метафорика которых развились из образов скандала и вооруженной борьбы - революции [Кочкин 2003].

Теории агрессивности и агональности являются достаточно инновационным направлением в исследовании политического дискурса и вполне актуализированы в наши дни. Здесь язык политики является сферой применения выражений с семантикой конфликта, весь экспрессивный словарь и метафорика которых развились из образа вооруженной борьбы [Майданова, Амиров, Федотовских 1997].

В данной статье автор сознательно не конкретизирует отдельные предметные области политического дискурса, поскольку представленные теории предполагают определенную «метаполитичность» дискурс-анализа. Говорим ли мы о либеральном или консервативном дискурсе, о политическом медиа-дискурсе, о внешнеполитическом дискурсе, о дискурсе общественно-политического протеста - так или иначе, нам необходимо занять определенную методологическую позицию для анализа этих дискурсивных областей. В то же время само разнообразие методологических подходов свидетельствует о том, что политический дискурс не может рассматриваться в какой-то одной плоскости, без учета взаимопроникновения отдельных дискурсивных элементов.

Как известно, пионером в области изучения дискурсов выступала лингвистика. В связи с этим представляется вполне естественным, что осознание специфики политического дискурса привело к появлению и автономному развитию *политической*

лингвистики. Следует отметить, что объектом этой новой дисциплины является не только политический дискурс как таковой, но и языковые аспекты отношений власти-подчинения, а также языковая политика [Герасимов, Ильин 2002; Гаврилова 2004].

Задача политического дискурс-анализа заключается в первую очередь в том, чтобы проследить связь между лингвистическим и политическим поведением. Синтаксис и лексика в дискурсе интересны не сами по себе, но в качестве средств выражения говорящим разнообразных сложных значений, которые воспринимаются слушателями. Не случайно при проведении дискурс-анализа предметом исследования выступают прежде всего отдельные слова и выражения, ибо именно в них заключены те значения, которые «расшифровывает» и интерпретирует слушатель, соотнося со своими жизненными ценностями и убеждениями.

Большая часть парадигматических изменений, произошедших в различных языковых дисциплинах, существенно расширила возможности теоретического осмысления политического дискурса. Тем самым были созданы условия для качественного скачка в научном анализе данного феномена.

Базылев В.Н. 1998. К изучению политического дискурса в России и российского политического дискурса. – *Политический дискурс в России*, № 2.

Баранов А.Н. (ред.) 2004. *Политический дискурс: методы анализа тематических структур и метафорики*. М.

Гаврилова М.В. 2004. Политический дискурс как объект лингвистического анализа. – *Полис*, № 2.

Герасимов В.И., Ильин М.В. 2002. Политический дискурс-анализ. – *Политическая наука*, № 3.

Карасик В.И. 2004. *Языковой круг: личность, концепты, дискурс*. М.

Караулов Ю.Н., Баранов А.Н. 1991. *Русская политическая метаформа (материалы к словарю).* М.

Кочкин М.Ю. 2003. *Политический скандал как лингвокультурный феномен. Автореферат*. Волгоград.

Майданова Л.М., Амиров В.М., Федотовских Т.Г. 1997. Агитационные тексты – Речевая агрессия и гуманизация общения в средствах информации. Екатеринбург.

Милевская Т.В., Басенко Н.А. 2004. Политическая свобода: опыт дискурс-анализа. – *Актуальные проблемы теории коммуникации*. СПб.

Романов А.А., Черепанова И.Ю. 1998. *Языковая суггестия в предвыборной коммуникации*. Тверь.

Слышкин Г.Г. 2000. *От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе*. М.

Ушакова Т.Н., Павлова Н.Д. (ред.) 2000. *Слово в действии: Интент-анализ политического дискурса*. СПб.

Чудинов А.П. 2001. *Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991 –2000).* Екатеринбург.

Шейгал Е.И. 2004. *Семиотика политического дискурса*. М.

А.Ю.Зенкова

VISUAL STUDIES КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ДИСКУРС-АНАЛИЗА

Том Митчелл, один из ведущих на сегодняшний день теоретиков Visual Studies отмечает, что примерно в конце семидесятых в гуманитарных науках произошел

«визуальный поворот», который ознаменовался появлением многочисленных работ, посвященных визуальной культуре.

Визуальный поворот, каким бы парадоксальным ни казалось это утверждение, был вызван не в последнюю очередь литературной критической теорией, обозначившей границы вербального в осмыслении нелитературных феноменов. Митчелл (Mitchell, 1995b), настаивает на том, что «визуальная грамотность не может быть объяснена полностью в рамках модели текстуальности» и наблюдатель может быть такой же «глубокой проблемой как читатель».

Внешней побудительной причиной для формирования визуальности в качестве особого предмета исследований в рамках гуманитарных наук, послужило развитие новых видов медиа, осмысление которых неизбежно носило междисциплинарный характер, что непосредственно повлияло на специфику современной постановки вопроса.

Прежде чем непосредственно перейти к проблеме институционального формирования специальных академических курсов, определяющих визуальность в качестве своего интенционального объекта, необходимо сказать несколько слов о позициях, занимаемых различными исследователями, относительно подхода к проблеме визуального сегодня и относительно трактовки современной эпохи как визуальной по преимуществу.

Проблема исследования визуальности не является для социально-гуманитарных наук новой, можно сказать, что ей столько же лет, сколько самым древним письменным источникам. Но сейчас мы не будем уделять большого внимания истории вопроса, и обратимся напрямую к рассмотрению тезиса о том, что современная культура визуально более насыщена, чем предыдущие, что и определяет ее историческую специфику.

Многими исследователями утверждается, что возросший объем визуальной информации делает достаточно непростым процесс ориентирования в ней, требует разработки новых процедур понимания, и именно поэтому тема визуальной грамотности, понимаемой как способность к ситуативно заданной интерпретации визуальной информации, становится актуальной и требует особого изучения, а, значит, и формирования специальных исследовательских и учебных дисциплин. Статистически легко показать, что мы сегодня видим большее количество «картинок» в течение месяца и в течение года и даже ежеминутно чем люди в прошлом, потому как мы смотрим телевидение и ходим в кино, читаем иллюстрированные журналы, играем в игры на компьютере или на видеоприставке. Причем есть явная тенденция постоянного увеличения визуальной информации – визуальная реклама становится все более проникающей и технически совершенной. Следовательно, человек, живущий в столь визуально насыщенном мире с неизбежностью вынужден стать визуально более грамотным, чем человек предшествующей эпохи, развив в себе способность к восприятию большого количества разнородной визуальной информации.

Эта позиция находит поддержку, в частности, в работах Джонатона Крэри (Crary, 1999), посвященных быстротечности и фрагментарности природы современного внимания. Источник этой нашей способности, по его мнению, это необходимость восприятия большого количества картинок одновременно и способность быстро переключаться на новую информацию. Наша неспособность к долгому продолжительному наблюдению одной картины, оставшаяся в 19 веке, утверждает он, изменяет и стиль наблюдения и стиль рисования, и тип популярного отдыха и стиль организации рабочего дня. Этот тип беспорядочного урбанистического наблюдателя (flaneur), описанный впервые Бодлером, был подхвачен Беньямином, в концепциях которого этот типаж стал определяющей фигурой для типа нашей социальности, и впоследствии он был подвергнут гендерной критике Джанет Волльф.

Утверждение о том, что наше время является более визуально грамотным периодом также соотносится с логикой рассуждения Мартина Джея (Jay 1988), его «скопическими

режимами», потому как начало 21 века может быть идентифецировано как гипертрофированное расширение режима, который назван картезианским перспективизмом, способного ассимилировать беспрецедентно большое количество информации. В то же время, пишет Джей, современная способность воспринимать визуальную информацию, может быть рассмотрена как «барочный» тип наблюдения, с его беспорядком и усложненностью. Логически рассуждая, культуры, которые включены в концепцию скопического режима, также являются содержащими больше знаний о визуальности, даже если и вызывает сомнение утверждение о том, что они являются более визуально грамотными.

Другая версия относительно утверждения о вышеупомянутой визуальной грамотности, происходит из дихотомии между визуальным и вербальным. Например, Николас Мирзоефф (Mirzoeff 1999b) пишет: «Западная философия и наука сейчас использует скорее изобразительную, чем текстуальную, модель мира, обозначая значимый вызов утверждению, что мир подобен написанному тексту и может быть изучен как текст». Клаус Закс-Гомбах и Клаус Рехкампер (Sachs-Hombach, Rehkamper, 1998) начинают свою книгу, посвященную философии живописи, с утверждения о том, что «мы живем в визуальный век: в век изображений. Изображения репрезентируют информацию, служат связующим звеном между информацией, делают ее постижимой, явной, понятной». Наиболее систематическая версия данного утверждения принадлежит Дэвиду Чейни (Chaney 2000). Во-первых, он говорит, что новые медиа создают «роль картин в дискурсах повседневной жизни», во-вторых, он утверждает, что произошел «парадигмальный сдвиг» от фигуральному к дискурсивному мышлению, в третьих, усиление туризма расширяет важность «специфического взгляда» стимулирование потребительского интереса и присвоения, в четвертых, произошел поворот в «способах воплощения (изображения) ведущий к «испытанию других чувств посредством активности наблюдения», и в пятых, увеличилось знание конститутивного значения гендерной составляющей». Существует множество текстов, согласных с этими утверждениями. Так Лиза Картрайт и Марита Штуркен (Cartwright, Sturken 2001) начинают свою книгу *Практики наблюдения* с утверждения о том, что «в последние два века, западная культура пришла к доминированию посредством визуального скорее чем оральных или текстуальных медиа». Бодрийяр и Барт высказывали подобные суждения, но в несколько ином контексте.

Однако, высказывается и противоположное мнение, критически относящееся к вышеупомянутым аргументам и, напротив, его сторонники утверждают, что двадцатый век надо считать абсолютно невизуальным, по той причине, что ключевые философские концепции, развивавшиеся в это время либо напрямую не обращались к визуальности, либо, более того, явно противопоставляли себя культуре визуальности. Этот аргумент представлен достаточно убедительно в книге Мартина Джея (Jay 1994), в которой он анализирует структуралистские и постструктуралистские тексты, затрагивающие идеи наблюдения и визуальности. Трудно не согласиться с анализом Джея - Хайдеггер, Лакан, Деррида и даже Мерло-Понти, которые критиковали окулярцентризм западно-европейского мышления, в определенном смысле антивизуальны. Также, в рамках так называемой «постокулярной теории» появились многочисленные попытки произвести сдвиг в сторону от доминирования визуальных метафор. Подобные проекты могут быть представлены критикой метафоры зеркала Ричарда Рорти в западной философии и различными литературными теориями от Людвига Витгенштейна до Михаила Бахтина. От этой широкой перспективы, антиокуляризм мог бы стать в некотором роде необходимым проектом работающим против окулярной метафоры, которая привела к западной метафизике и капитализму.

Следующий тезис, выражающий сомнение в том, что наша эпоха является более визуальной по сравнению с предыдущими, и, тем более, является более «визуально грамотной», может быть обоснован исходя из концепции Бодрийяра, о которой уже

упоминалось в связи с противоположной теорией. Этот тезис выдвигает и обосновывает Барабара Стаффорд (Stafford 1996). Научившись довольно успешно понимать быстро меняющиеся картинки, утверждает она, мы потеряли тип визуальной грамотности, требующей понимания более медленного и более сложных визуальных образов, которые для нас становятся как бы не-визуальными. Наша новоприобретенная способность «чтения» и декодирования таких образов не компенсирует разрушение нашей способности понимания более индивидуализированных (авторских) и иногда более неподатливых творений прошлых веков. Как отмечает Барбара Стаффорд, для домодерной графики вполне естественно не быть доступной для быстрого прочтения, восприятие было рассчитано на некоторое время: достаточно для того, чтобы инкрустировать невербальными остатками, которые не могли быть разложены на простые сообщения или значения. В качестве примера Барбара Стаффорд приводит работы Генриха Кунрата, изображающие мистические действа в алхимическом театре - лаборатории 17 века. На них представлена идея того, как можно «вчитываться» или «декодировать» изображения, возвращаясь к ним вновь помногу раз, медленно обдумывая отдельные детали, выстраивая смыслы без надежды когда-нибудь понять все, что изображено на картине до конца. Это действительно представление лаборатории по своей сущности: в традиционном толковании, место для работы, производства смысла и место для служения, образ христианства, герменевтически представленного художником, требует изучения картины месяцы и годы, извлечения идей и ассоциаций из нее, производя тем самым нечто похожее на алхимическую работу. Позицию Барбары Стаффорд не следует понимать в смысле того, что наша современная визуальная культура менее визуальна, по отношению к предыдущим. Возможно, ее позиция есть нечто среднее между утверждением, которое мы рассматривали вначале, о погружении современности в мир визуальной информации, и вторым, утверждавшим о ее принципиально невизуальном характере.

В завершении обзора позиций критикующих идею визуальности нашей культуры, обратимся к позиции Лауры Маркс (см. Elkins 2003, с.136), которая утверждает, что эра визуальности уже закончилась, и удивительно то, что именно ее завершение ознаменовалось появлением столь большого интереса к ней и появление Visual Studies. Так как в настоящее время информация, говорит она, все чаще является невидимой – это форма становится преобладающим типом информации, причем той, которая на сегодняшний день наиболее важна в нашей жизни, определяющей, конституирующей для современного социума – информации о банковских счетах компаний и ваших личных банковских счетов, ваш идентификационный номер, финансовый статус и т.д..

Все вышеперечисленные позиции являются весьма убедительными, и если даже не соглашаться с ними относительно их отношения к визуальности, то их аргументацию их авторов необходимо учитывать при ее исследовании. Более того, возможно, критика визуального характера современной культуры может дать не меньше для ее исследования, чем признание ее таковой, так как открывает новые способы для ее интерпретации и методологические подходы.

Чтобы более четко определить границы визуальных исследований необходимо перечислить те дисциплины, связь с которыми наиболее значима. Существует определенная национальная специфика в формировании визуальных исследований в качестве университетской дисциплины. Институционально в США отделения и факультеты визуальных исследований, как правило, вырастают из факультетов истории искусств, в Англии и Южной Азии Visual Studies наиболее тесно связаны с направлением Cultural Studies, в континентальной Европе Visual Studies находятся в тесной связи с семиотическими и коммуникативными теориями. (Elkins 2003)

Более подробно необходимо сказать об отношении трех исследовательских направлений, потому как существует важное, но не всегда четко определяемое различие между ними - это исследования культуры (Cultural Studies), визуальная культура (Visual Culture) и визуальные исследования (Visual Studies).

Исследования культуры (Cultural Studies) получили начало в Англии и конце 1950-х. Это событие часто ассоциируется с небольшим числом текстов Ричарда Хоггарта (Hoggart 1957), Раймонда Вильямса (Williams 1958), и Стюарта Холла (Hall 1980). Первая волна текстов открывающих совокупность исторических фактов и социального отношения продолжилась – часто через ослабленную и политически инертную форму – до нашего времени. В 70-х исследования культуры (Cultural Studies) прошли через «red-brick universities» в Англии (политехнические ВУЗы, переквалифицированные правительством Маргарет Тетчер в университеты свободных искусств), накапливаясь и заимствуясь из порядка соседствующих дисциплин, включая историю искусств, антропологию, социологию, художественную критику, киноисследования, гендер и феминистические исследования, и общекультурную критика, включая журналистику. В 80-х британские исследования культуры (Cultural Studies) перешли в Америку, Австралию, Канаду и Индию, сейчас существуют различные начинания и кафедры культурных исследований в некоторых их этих стран этих стран.

Визуальная культура (Visual culture), как самостоятоятельная дисциплина, является преимущественно американским начинанием, появившимся спустя несколько десятилетий после Cultural Studies. Термин был использован, наверное, впервые, в историко-художественном тексте Майкла Бэксенделла, посвященного итальянской живописи 15 в. (Baxandall 1972), но visual culture появилась как дисциплина только в 1990–х годах. Во время прохождения через западную систему образования, возникало все больше местных повседневных споров о мнимых дисциплинарных связях и формулировках. В целом, можно сказать, что visual culture больше был обязан своему происхождению Роланду Барту и Вальтеру Беньямину, чем первоначальному английскому cultural studies. Он был ближе к социологии в европейском понимании – а именно, качественным методам, ориентированным на социологию культуры.

В середине 1990-х появилось большое количество работ по визуальной культуре, предлагающих разнообразные определения визуальной культуры *(Visual Culture* 1994, Victor Burgm 1996, Malcolm Barnard,1998). Это послужило аргументом для выпуска учебников по новой дисциплине (*Visual Culture,* 1995, Mirzoeff 1999b, Sturken and Cartwnght, 2001). В 2001 году появляется первая диссертационная работа, посвященная визуальной культуре, автором которой стала Маргарита Диковицкая, что явилось явным знаком принятия новой области знания академическим сообществом.

Визуальные исследования (Visual Studies) - самая молодая из трех вышеперечисленных дисциплин, которая, возможно, была инспирирована программой Visual and Cultural Studies, разработанной в Университете Рочестера. В 1995 Том Митчелл использовал термин «визуальные исследования» как название для слияния художественной истории, культурных исследований и литературной теории. Когда Калифорнийский Университет в Ирвине представлял его программу Visual Studies в 1998, члены его комитета решили, что понятие «визуальная культура» было запятнано общественным форумом в журнале October в 1996 и чтобы избежать ненужных ассоциаций, они выбрали термин «визуальные исследования».

В настоящее время название «визуальные исследования», что, в частности, описано в диссертационной работе Диковицкой, применяется достаточно широко, что в определенном смысле может быть понято как размывание предмета данной дисциплины. Так, например, он употребляется для того, чтобы обозначить новые теоретические подходы к художественной истории (Майкл Энн, Холлай Пауль Деро). Некоторые авторы трактуют визуальные исследования как расширение профессиональной территории художественных исследований за счет включение а ее поле материальных экспонатов, принадлежащих различным историческим периодам и культурам (Джеймс Герберт). Другие, как Том Митчелл, предметной областью визуальных исследований считают в первую очередь сам процесс наблюдения. Никлас Мирзоефф под маркой визуальных исследований подразумевает прежде всего исследование новых СМИ в сопоставлении с

теми, которые уже приобрели статус традиционных. Лиза Картрайт полагает, что визуальные исследования позволяют включить в область своих интересов, помимо всех вышеперечисленных предметов, также образы, использующиеся в науке, медицине и юриспруденции. Джим Элкинс считает, что визуальные исследования необходимо выделить как самостоятельную область исследования для того, чтобы обозначить точки роста и преодоления границ уже сложившейся дисциплины «визуальная культура».

Развивая эту мысль, Элкинс посвящает одну из глав своей работы «*Визуальные исследования: скептическое введение»* (Elkins, 2003) возможным путям развития новой дисциплины. Я остановлюсь на некоторых моментах его рассуждений.

Элкинс говорит о том, что марксистское разоблачение идеологической составляющей визуальных образов, которое столь популярно, (он приводит пример социальной подоплеки выбора определенного стиля одежды) было бы небезынтересно продолжить анализом отчуждения определенного «разоблаченного» стиля, перейдя к логике движения или смены стилей как способе самоидентификации и самовыражения. Визуальная культура, замечает он, содержит в себе способы перехода от одной стадии к другой, возможно, более сложной и требовательной. Далее, он переходит к другому варианту применения марксистской методологии – вскрытии скрытых, непроговариваемых, и в то же время, «самоочевидных» значений визуальных продуктов попкультуры (он рассматривает пример с мыльными операми). Этот вариант анализа представляется явно неполным. Элкинс предлагает дополнить его анализом так называемых «ошибок» в понимании «самоочевидных» значений. Здесь же поднимается вопрос о концепте «визуальной грамотности», описании и анализе определенных «наборов» возможных пониманий визуальной информации в зависимости от сфер ее применения.

Элкинс задает вопрос: в какой мере необходимо знакомить студентов, специализирующихся в области визуальной культуры, с техническими принципами обработки визуальных объектов, например, обработкой фотографий посредством различных компьютерных программ, которой обычно пренебрегают гуманитарии?

Он приходит к выводу, что для сегодняшнего специалиста эти навыки являются необходимыми, так как «техника обработки» не является лишь «внешним» инструментом, или «вторичным», «неважным» элементом для производства значений. Пренебрежительное отношение специалистов-гуманитариев к визуальным компьютерным спецэффектам, столь востребованным сегодня в массовой культуре, лишает их возможности отнестись к данному типу визуальных образов с аналитической серьезностью.

Далее, Элкинс обращается к необходимости обозначения границ анализа собственно «визуального» в отношении понимания какого-либо события, как своего рода предостережению специалистов в области визуальных исследований от нового вида редукционизма. Так сопоставление одних изображений с другими, то есть сосредоточение непосредственно на визуальном, зачастую малоинформативно и мало что может добавить к пониманию явления или события, о котором свидетельствуют или которое даже создают визуальные образы. Эту проблематику он затрагивает, опираясь на собственный опыт анализа телевизионных репортажей 11 сентября 2001 года, заказанных ему редакцией одного из журналов.

Далее, Элкинс переходит к проблеме принципиальной междисциплинарности визуальных исследований: «Visual Studies, - говорит он, - по сравнению с дисциплинами истории искусств, изучающими конкретные направления, очень вольно обходится с границами. Эта видимая свобода есть часть смыслового оформления исследовательского поля Visual Studies. Но при этом, это поле весьма определенно ограничено». Вместе с исследованием образов в искусстве, в повседневной культуре визуальные исследования занимаются образами научной практики (график, диаграмма, схема, таблица, чертеж, номограммы (логорифмическая линейка, транспортир) и кладограммы (генеалогическое

древо) – образами, где познавательный момент прагматически выражен. Также, визуальные исследования занимаются изучением практик «вскрытия» объектов и изображения того, что при естественном наблюдении не видно, но может быть видимо при определенных манипуляциях (вскрытие тела, например) или при применении определенных «оптических» устройств (микроскоп, рентген).

Элкинс ставит вопрос: насколько результаты подобных визуальных исследований могут быть интересны или востребованы специалистами смежных областей или что может информативно добавить Visual Studies к простому собиранию образцов данных визуальных практик? Сам он делает попытку связать практики наблюдений и изображений в различных, казалось бы, не связанных областях знания и установить определенные закономерности в когнитивных практиках.

В своей книге *Доминирование образов* (Elkins 2001), он показывает, как изображали кристаллы в разные исторические эпохи, проводит связь этих изображений с идеей Просвещения и далее показывает, как изображение кристалла предвосхитило кубизм. Далее он обращает внимание на то, что среди специалистов, изучающих визуальную культуру, обозначилась тенденция превалирования интереса к повседневным визуальным объектам по той причине, что этот интерес может явиться проводником в иные области, например, - в гендерные или политические исследования. Но при этом предостерегает, что нельзя терять из поля зрения сложные визуальные формы.

Завершая краткий обзор проблематики визуальных исследований, можно отметить, что теоретики позиционируют ее как принципиально открытую, как в предметном, так и в методологическом плане дисциплину. Это ставит перед ними сложную задачу – преодолевая ограничения предшествующих ей дисциплин, удерживать предметное поле в определенных границах.

1. Baxandall *Painting and Experience in Fifteens-century Italy: A Primer in the History of Pictoral Style* (Oxford: Clarendon Press,1972).
2. Burgm *In/Different Spaces Place and Memory m Visual Culture* (Berkeley, CA: University of California Press,1996).
3. Chaney "Contemporary Socioscapes: Books on Visual Culture", Theory, Culture and Society 17:6 (2000) pp 112-113.
4. Crary *Susrensions of Perception: Attention, Spectacle and Modern Culture* (Cambridge, MA: MIT Press, 1999).
5. Elkins *Domain of Images* (Cornell University Press, 2001).
6. Elkins *Visual Studies: a Skeptical Introduction* (London, NY: Routledge 2003).
7. Hall "Cultural Studies: Two Paradigms", *Media, Culture and Society 2,* (1980).
8. Hoggart *The Uses of Literacy*, (London: Chatto and Windus, 1957).
9. Jay "Scopic Regimes of Modernity" in *Vision and Visuality* , ed Hal Foster (Seattle, WA: Bay Press 1988) pp 3-28.
10. Jay *Downcast Eyes* (University of California Press, 1994).
11. Malcolm Barnard *Art, Design, and Visual Culture* (New York: St. Martin's 1998).
12. Mirzoeff *Introduction to Visual Culture* (London, NY: Routledge 1999a).
13. Mirzoeff *Visual Culture Reader* (London: Routledge 1999b).
14. Mitchell "Interdisciplinarity and Visual Culture" The Art Bulletin 77:4 (1995) pp 540-544.
15. Mitchell "What is Visual Culture" in Meaning in Visual Arts: Views from the Outside под ред. Irving Lavin (Princeton, NJ : Institute for Advanced Study 1995) pp 207-217.
16. Sachs-Hombach, Rehkamper "Einleitung" in *Bild – Bildwahrnebeitung* (Wiesbaden: Deutscher Universitats-Verlag, (1998) pp 9-11.
17. Stafford Good Looking: Essays on the Virtue of Images (Cambridge, MA: MIT Press, 1996).
18. Sturken, Cartwnght *Practices of Looking An Introduction to Visual Culture* (Oxford: Oxford University Press 2001).
19. *Visual Culture* под редакцией Michael Ann Holly, Keith Moxey, и Norman Bryson (Middletown. CT: Wesleyan Univercity Press,1994).
20. *Visual Culture*, под редакцией Chris Jenks (London: Routledge, 1995).
21. Williams *Culture and Society,* (London: Chatto and Windus 1958).

А.Д. Трахтенберг

ВОЗМОЖЕН ЛИ «ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС»? (К ВОПРОСУ О ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ). ПРЕДИСЛОВИЕ К СТАТЬЕ Н. КАРПЕНТЬЕ, Р.ЛИ, Я.СЕРВЭ.

Предлагаемая вашему вниманию статья «Медиа в малых сообществах: заглушенный демократический дискурс?»[1] трех известных специалистов по теории коммуникации – Н. Карпентье, Р. Ли и А. Сэрвэ – заслуживает особого внимания. Это верно и в отношении ее предмета – авторы анализируют не традиционные средства массовой коммуникации, а СМИ в малых сообществах, которым в отечественной литературе практически не уделяется внимание, – и в отношении методологии, примененной для данного анализа. И дело не только в том, что в статье применяется не один, а сразу четыре теоретических подхода, с помощью которых авторы стремятся «описать коммунальные медиа [медиа в малых сообществах] во всем их разнообразии и специфичности и продемонстрировать их важное значение».

Все четыре теоретических подхода имеют прямое отношение к теории дискурса. Их объединяет представление о том, что коммунальные медиа есть «итоговый результат попыток создать альтернативу широкому спектру гегемонистских дискурсов, доминирующих в сферах коммуникации, массовой информации, экономики, организационных структур, политики и демократии»[2]. Собственно, вся статья посвящена как раз этой проблеме – возможен ли в современном обществе альтернативный демократический дискурс, и если возможен, то какие формы он должен принимать.

Данная проблема является ключевой для всех направлений современной коммуникативистики, которые работают в левой, марксистской парадигме. К этой парадигме относится и теория дискурса, марксистские корни которой самоочевидны. Любая работа, принадлежащая к данному направлению, обязательно содержит ссылки на «Марксизм и философию языкознания» В.Волошинова (М. Бахтина?), а также на «Тюремные тетради» А. Грамши и работы Л. Альтюссера. Напомним, что идея идеологического «закрытия» мультиакцентного знака позаимствована теорией дискурса у В. Волошинова («область идеологии совпадает с областью знаков»[3]), концепции «идеологической гегемонии» и «позиционной войны» за эту гегемонию, ведущейся на всех уровнях общества – у А. Грамши. Л. Альтюссеру данная теория обязана представлением о «сверхдетерминации» дискурса и о механизме идеологической интерпелляции.

Все четыре подхода, примененных авторами для анализа коммунальных СМИ (а конкретно – радиостанций в малых сообществах, которые в разных частях света называют «народными радиостанциями», «образовательными радиостанциями», «свободным радио», «публичным радио», «радио для развития» и т.п.), находятся в пределах, заданных этими теоретиками, и все четыре подхода направлены на решение проблемы альтернативного демократического дискурса.

Во-первых, медиа в малых сообществах рассматриваются авторами с позиций обслуживания интересов сообщества и конструирования групповой идентичности, причем определяющим фактором становится возможность доступа и участия в деятельности СМИ

---

[1] Опубликована впервые в: Carpentier N., Servaes J., Lie R. Community Media: Muting the Democratic Media Discourse // Continuum. 2003. Vol 17. № 1. Pp. 51-68. Сайт журнала: http://www.tandf.co.uk.

[2] Все ссылки на статью «Медиа в малых сообществах: заглушенный демократический дискурс?» даются без указания страниц.

[3] *Волошинов В.* Философия и социология гуманитарных наук. С. 222.

всех членов сообщества, чем преодолевается традиционная односторонняя направленность массовой коммуникации (от отправителей посланий к аудитории). Авторы подчеркивают, что с позиций интересов сообщества «коммунальные медиа не только допускают, но и способствуют участию членов сообщества как в производстве посланий, так и деятельности организаций, которые заняты этим производством».

Во-вторых, коммунальные медиа рассматриваются как альтернатива доминантным медиа как на организационном уровне (горизонтальные, не-иерархические структуры), так и на уровне содержания («репрезентации и дискурсы, сильно отличающиеся от тех, которые производятся доминантными медиа»). Отметим, что авторы не уточняют, чем именно репрезентации и дискурсы, производимые на уровне малых сообществ, отличаются от доминантных репризентаций и дискурсов. Указывается только на разнообразие форматов и жанров, по определению недоступное мейнстриму. Подробно развивать эту тему не было особой необходимости, так как в теории дискурса само собой разумеется, что горизонтальные, не-иерархические и не ориентированные на извлечение прибыли организации в буквальном смысле говорят другим языком, чем доминантные бюрократические структуры, занятые поддержанием идеологического доминирования. Если использовать понятие, введенное основоположником культурных исследований С. Холлом, они ведут «семантическую герилью», давая альтернативные истолкования существующих проблем и тем самым осуществляя денатурализацию идеологии[1].

В-третьих, коммунальные медиа рассматриваются как часть гражданского общества в той трактовке этого понятия, которая была предложена Ю. Хабермасом в известной работе «Структурная трансформация публичной сферы» (1961). Напомним, что Хабермас ввел понятие публичной сферы как сферы, в которой осуществляются рациональные критические дискуссии об общественных проблемах между частными лицами, причем исход дискуссии определяется исключительно силой аргументации, а не статусом участников. Он связывал возникновение публичной сферы с конституированием гражданского общества и становлением рыночной экономики, которые привели к появлению гражданина, с одной стороны, и «частного индивида», с другой. Именно публичная сфера являлась носительницей коммуникативно не-искаженного, подлинно свободного дискурса. Соответственно, ее структурная трансформация, связанная с исчезновением просвещенной буржуазной публики и «вторжением масс», привела к вытеснению рационального критического дискурса разного рода манипулятивными технологиями, необходимыми для того, чтобы добиться формального согласия масс с решениями, принятыми на уровне государства и больших корпораций. Ю. Хабермас напрямую связывал успех проекта модерна с возрождением способности к рациональному дискурсу и публичной сферы, и считал, что государство должно создавать институциональные структуры, способствующие критическим дискуссиям.

С этих позиций коммунальные медиа являются не просто частью гражданского общества, но инструментом для возрождения и поддержания столь необходимого для нормального функционирования демократии рационального дискурса. С их помощью, как указывают Н. Карпентье, Р. Ли и А. Сэрвэ, микроучастие на уровне местного сообщества может превратиться в макроучастие на уровне общества в целом.

Наибольший интерес и по мнению самих авторов, и по нашему мнению, представляет четвертый подход, в рамках которого авторы постарались совместить теорию дискурса с введенной Ж. Делёзом и Ф. Гваттари метафорой «ризомы». Как известно, метафора ризомы построена на противопоставлении ризомного и «корневого» («арболического») мышления. Согласно Делёзу и Гваттари, «корневое» («арболического») мышление отличают следующие характеристики: линейность, иерархичность, унитарность и одновременно тенденция создавать бинарные оппозиции и делить на страты, «оседлость», гомогенность. Его типичными носителеми является государство с

[1] Подробнее концепция «семантической герильи» рассмотрена в настоящем сборнике в статье Е.Г. Дьяковой.

его фаллоцентризмом. В противоположность корневому, ризомное мышление нелинейно, анархично, основано на множественности подходов и «скользящем» переходе от одной темы к другой; ризомное мышление «номадично» и гетерогенно.

Нетрудно догадаться, что доминантные (=большие) государственные и частные СМИ являются типичными носителями «корневого» мышления, в то время как коммунальные СМИ однозначно характеризируются «ризомностью», т.е. гибкостью, текучестью и отсутствем жесткой идентичности. В силу этого они могут выполнять важнейшую функцию детерриториализации и дестабилизации доминантного дискурса, деконструкции его сложившихся форм и децентрирования возникших в его рамках идентичностей. Выступая в качестве «дискурсивного перекрестка», на котором могут встречаться и сотрудничать представители самых разных недопредставленных или стигматизированных групп (женщины, студенты, представители этнических сообществ и т.п.), малые коммунальные СМИ способствуют изменению идентичности этих движений и формированию общего фронта демократической борьбы, т.е. гегемонизации радикального демократического дискурса.

Авторы явно отдают предпочтение ризомному подходу, считая его наиболее продуктивным, т.к. в его рамках общеизвестные недостатки коммунальных медиа (крайняя неустойчивость и нестабильность, которые они элегантно называют «неуловимостью») превращаются в достоинства. Более того – он позволяет ответить на вопрос, как возможен радикально демократический дискурс в обществе, подчиненном доминантным дискурсам. Такой дискурс возможен как результат детерриториализации и дестабилизации доминантного дискурса через сеть «неуловимых» коммунальных медиа. Он не исключает, а даже предполагает сотрудничество с государственными и/или рыночными структурами (см. ниже).

В целом примененный авторами мультитеоретический подход следует считать важным шагом вперед в современной теории дискурса, поскольку он до определенной степени позволяет преодолеть ключевой недостаток данной теории – текстоцентризм и сведение анализа к набору примеров, показывающих каким образом в рамках транслируемого доминантными средствами массовой информации дискурса происходит натурализация идеологии и конструирование ложной идентичности членов аудитории (в чем состоит суть идеологической интерпелляции в ее классическом, альтюссерианском понимании).

Текстоцентризм приводит к тому, что анализ массовой коммуникации сводится к анализу посланий, производимых средствами массовой информации. При этом до сих пор доминирует аналитическая схема, некогда с успехом использованная Р. Бартом в «Мифологиях»: когда каждое отдельно послание рассматривается как особый, частный, «анекдотический» случай, подтверждающий общий тезис о том, что в процессе массовой коммуникации осуществляется деполитизация и натурализация идеологии, так что в результате «все в нашем повседневном быту обусловлено тем представлением об отношении человека и мира, который создает *себе и нам* буржуазия»[1]. Переход от семиологии Барта к археологии дискурсивных практик Фуко, возникновение теории политического дискурса Фэрклоу не повлияли принципиально на эту ситуацию. Даже знаменитый тезис Бодрийяра о «смерти значения» привел только к тому, что эту смерть стали искать там, где ранее обнаруживался паразитирующий на реальности «миф».

В результате в теории дискурса господствует предметный анархизм при полном методологическом консенсусе (который служит в этой теории главным критерием правильности отдельно взятой аналитической процедуры и истинности получившегося результата). Дискурсивный анализ СМИ означает обращение к анализу самых разнообразных посланий, объединенных только способом трансляции и общей функцией – воспроизводством идеологии и поддержанием гегемонии властного блока.

---

[1] *Барт Р.* Мифологии. М., 1996. С. 267.

Несколько упрощая, можно сказать, что в теории дискурса анализу подлежит любой текст и любой аспект этого текста, при условии, что он был транслирован с помощью технических средств, которые принято относить к сфере массовой коммуникации при описании коммуникативного акта по схеме Г. Ласуэлла (ответ на вопрос «Посредством чего?»). При этом для теории дискурса не существует высоких и низких коммуникативных жанров и/или высоких и низких дискурсивных практик. Но точно также для нее не существует идеологически стерильных или идеологически не отягощенных текстов. Она строится на «презумпции виновности» любого текста и любого высказывания. Остается только подобрать эффектный и убедительный иллюстративный материал для доказательства этого тезиса. В сущности, исследователи, действующие в данной парадигме, сильно напоминают средневековых проповедников, подбиравших наиболее доступные аудитории «примеры» («exempla») для иллюстрации заданных положений.

Вполне объяснимо, что сведение дискурсивного анализа массовой коммуникации к анализу «примеров» (именно в исходном, средневековом значении термина «exempla») порождает множество противоречий. Так, концентрируясь на анализе посланий, сторонники теории дискурса практически игнорируют реальный процесс их производства и не интересуются деятельностью журналистов. Они исходят из того, что производители посланий, в отличие от их получателей, совершенно пассивны и подконтрольны властному блоку и занимаются только «воспроизводством идеологического дискурса в сфере своей компетенции»[1].

Точно также, рассуждая о необходимости «семантической герильи» и денатурализации идеологии, и постулируя активность аудитории, исследователи проявляют удивительно слабый интерес к тому, как реальные члены аудитории воспринимают предназначенные для них деполитизированные послания, и в какой мере это восприятие зависит от социальной позиции, а в какой – от степени культурной компетентности и овладения имеющеся в обществе набором дискурсивных практик.

В результате возникает тот же самый парадокс, который отмечают историки, работающие со средневековыми exempla: «те детали, которые для средневекового проповедника были средствами, для современного историка превращаются в конечную цель исследования, а именно – в правду о прошлом»[2]. Заменив средневекового проповедника на журналиста, а историка – на теоритика массовой коммуникации, мы получим тот же самый результат: что для журналиста является средством, в рамках теории дискурса превращается в «правду о настоящем».

Нельзя сказать, что исследователи массовой коммуникации (и других видов коммуникативных практик) не сознают ловушки текстоцентризма, в которую они попали. Как доказать, что субъективное толкование исследователем того или иного послания и представляет собой «правду о нем»? Исследователям приходится либо ссылаться на то, что если предложенная интерпретация соответствует принятому в данной научной дисциплине парадигме и не нарушает сложившегося консенсуса, она является истинной, либо заявлять, что им каким-то мистическим образом удалось мысленно перейти на позицию угнетенных и недопредставленных групп и начать видеть тексты их глазами. Последнее также порождает проблемы: как доказать, что исследователь действительно выражает позицию недопредставленных групп? (впрочем, данная проблема существует в марксизме с момента его возникновения).

---

[1] *Hartley J.* Understanding News. L.: Routledge, 1995. P. 62. Этот тезис, в свою очередь, также порождает парадоксы. Например, Дж. Фиск уверенно рассуждает о том, что «плохая» («желтая») пресса намного лучше качественной, так как последняя создает у членов аудитории иллюзию объективности и беспристрастности, в то время как первая изначально предполагает скептическое отношение к собственным утверждениям, тем самым провоцируя семантическую герилью (см. *Fiske J.* Popularity and the Politics of Information // Journalism and Popular Culture. L., 1992).

[2] *Jonston M.D.* Do exempla illustrate everyday life? // Presented on M/MLA 1994 Convention, Medieval Studies Section, Chicago, 13 Nov 1994, http://www.georgetown.edu/labyrinth/e-center/johnston.html

В результате приходится честно признать, как это сделала Гаятри Спивак: «утверждение, что только угнетенный может понять угнетенного, только женщина может понять женщину… не может использоваться в качестве теоретического основания… так как препятствует возможности познать идентичность. Несмотря на политическую необходимость, связанную с поддержкой данной позиции, и несмотря на целесообразность попыток идентифицироваться с другим, чтобы понять его, знание становится возможным и поддерживается только несводимыми друг к другу различиями, а не идентичностью. То, что известно – это всегда избыток знания»[1].

Ключевым в данном высказывании является именно указание на «политическую необходимость, связанную с поддержкой данной позиции». Ярко выраженный левый, марксистский уклон теории дискурса означает, что критика реальных средств массовой информации и производимых ими посланий ведется в ней с позиций теории отчуждения, которая противопоставляет реальное положение вещей как неправильное (а выражающую его идеологию – как «ложное сознание») правильному, но реально существующему только в некотором будущем «царстве свободы» (и в голове самого критика).

Собственно, эту же позицию разделяют и Н. Карпентье, Р. Ли и А. Сэрвэ. Именно поэтому они пытаются выйти за пределы критики доминантного медиа-дискурса и доказать возможность и необходимость альтернативного демократического дискурса. Очередной парадокс состоит в том, что, всесторонне проанализировав коммунальные СМИ, они вынуждены честно признать, что эти альтернативные СМИ, как бы мы их не рассматривали – как выразителей интересов сообщества и механизм конструирования групповой идентичности, как носителей альтернативного дискурса, как инструмент рационального дискурса в рамках гражданского общества или как детерриториализующую медийную ризому – не в силах конкурировать с доминантными СМИ. Блистательный теоретический анализ сочетается в их статье с весьма неутешительным эмпирическим выводом о том, что попытка сделать коммунальные медиа голосом гражданского общества и гегемонизировать радикальный демократический дискурс регулярно оборачивается провалом. Они приводят весьма удручающую статистику, показывающую, что коммунальные радиостанции составляют весьма незначительную долю от общего числа радиостанций, с трудом борются за свое существование и постоянно закрываются.

Впрочем, противоречие между теоретическими конструкциями и эмпирической реальностью весьма типично для теории дискурса. Так, организация коммунальных радиостанции была весьма популярным начинанием в 60-70-е годы, в «период бури и натиска» левых студенческих движений. Например, итальянское левое «Движение 77», с которым напрямую был связан Ф. Гваттари, концентрировалось как раз вокруг не имеющих лицензий, «пиратских» любительских радиостанций, таких, как «Радио Аличе» в Болонье.

Как видно из описания современницы событий, вещание этой радиостанции полностью соответствовало всем требованиям альтернативного демократического дискурса. Оно представляло собой смесь музыки (рок, джаз, немного классики, народные песни и песни политического протеста) с новостями (сообщения о борьбе левых и рабочего класса с властями в Италии и за ее пределами, рассказы о местных студенческих выступлениях, зачитывание фрагментов из радикально-левых газет, подробнейшее, буквально поминутное освещение деятельности феминистских, гомосексуалистских и правозащитных организаций) и комментариями по самому широкому спектру тем, которые имел право сделать любой, кто был готов позвонить в студию или посетить ее редакцию[2]. Гваттари лично написал хвалебное предисловие к книге, описывающей

[1] *Spivak G.C.* In Other World: Essays on Cultural Politics. N.Y., 1987. P. 254.

[2] См. *Cowan S*. The Unhappy Adventures of “Alice” in Blunderland: Counter-Culture, Revolt and Repression in the Heart of Italy “Red Belt” // Radical America. №№ 11, 1977 и 12, 1978. Pp. 67 – 77.

бурную историю «Радио Аличе»[1], в которой он охарактеризовал эту радиостанцию как «ассембляж теории – жизни – праксиса – группы – секса – одиночества – машины – привязанности – ласки»[2]. Для Гваттари «Радио Аличе» явилось примером спонтанно возникшей территории свободы, собранной из альтернативных тематических и аффективных конструкций и вписанной в контекст широкого политического движения.

Итог был несколько иным, чем описано у Н. Карпентье, Р. Ли и А. Сэрвэ. В сентябре 1977 года итальянские власти закрыли «Радио Аличе» за «пропаганду непристойности», тем самым продемонстрировав, как воспринимается радикально альтернативный дискурс («не говорить о желании, а желать: мы – машины желания, машины войны») с позиций доминантного дискурса.

Впрочем, последовавшее завершение «эпохи бури и натиска» и наступившая политическая стабилизация заставляют заподозрить, что власти оказали «Радио Аличе» большую услугу, превратив это коммунальное медиа в жертву правящего властного блока, и тем самым избавив от мучительной агонии, связанной с постепенным развалом левого движения. Это не говоря уже о том, что даже в период своего расцвета осуществляемая «Радио Аличе» «подрывная коммуникация» имела успех в основном у левых европейских интеллектуалов (и студентов Болонского университета), но никак не у массовой аудитории. Эта радиостанция носила все черты маргинального СМИ, не пользующегося ни реальной популярностью, ни реальным влиянием.

Неуклонный провал всех попыток создать альтернативные средства массовой коммуникации, конечно, можно интерпретировать примерно также, как в свое время теоретики Франкфуртской школы объясняли неуклонный провал попыток совершить на Западе пролетарскую революцию. С позиций ортодоксальных теоретиков дискурса этот провал свидетельствует только о том, что властный блок успешно ведет против альтернативных медиа позиционную войну, препятствуя подрыву своей идеологической гегемонии. Вопрос о реальной востребованности и практической осуществимости «попыток создать альтернативу широкому спектру гегемонистских дискурсов, доминирующих в сферах коммуникации, массовой информации, экономики, организационных структур, политики и демократии», в этом случае даже не ставится. Само собой разумеется, что такая альтернатива необходима массам и что ее реализация принесет только самые позитивные результаты.

Однако Н. Карпентье, Р. Ли и А. Сэрвэ не разделяют этой ортодоксальной позиции. Они четко понимают, что «небольшие, независимые, горизонтально структурированные организации, транслирующие не-доминантный дискурс и репрезентации, тем самым переосмысляя представления об объективности и нейтральности медиа, имеют мало шансов достичь финансовой и организационной стабильности». Резко отрицательное отношение создателей таких организаций к любым проявлением доминантного дискурса (включая либеральный медиа-дискурс) замыкает их в границах местных сообществ и создает возможность в рамках доминантного дискурса репрезентировать их как непрофессиональные, неэффективные, неспособные заинтересовать большую аудиторию, и такие же маргинальные, как те социальные группы, которым она пытаются дать слово (что, собственно, только что и было проделано нами в отношении «Радио Аличе»).

Авторы убеждены, что для выхода из ловушки маргинальности альтернативным коммунальным медиа необходимо прекратить «позиционную войну против всех» и пойти на сотрудничество с государственными и рыночными структурами: «различные типы партнерства и стратегические союзы могут дать коммунальным медиа (большие) шансы на выживание, при условии, что их независимость от других гражданских (не медийных)

[1] См.: *Collective A/Traverso.* Alice y il diavolo: sulla strade di Majakovskii: testi per una pratica di communicazione sovversiva. Milan, 1977. Название книги говорит само за себя («Аличе и дьявол: дорогой Маяковского: практической опыт подрывной коммуникации»).

[2] Цит. по: *Murphy T.S., Smith D.W.* What I Hear is Thinking Too: Deleuze and Guattari Go Pop // ECHO: a music-centered journal. 2001. V. 3/1. P. 18.

организаций, а также от государственных и рыночных структур будет в достаточной мере гарантирована».

Однако этот вывод, сильно напоминающий «измену идеалам», было необходимо обосновать не только эмпирически (практическая целесообразность предложенного решения самоочевидна), но и теоретически. Для этого в статье используется не только метафора ризомы, в рамках которой вполне реалистичной выглядит идея детерреториализации доминантного дискурса «изнутри», но и теория дискурса Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф. Эти авторы, широко известные на Западе, но, к сожалению, пока мало популярные в нашей стране, попытались найти выход из текстоцентрического тупика, в котором с неизбежностью оказывается теория дискурса, путем отрицания у объектов сверхдискурсивного значения и создания новой социальной онтологии: «дискурсы не сводятся к внутреннему миру ментальных явлений, но является общедоступными и всегда незавершенными рамками значений, которые создают возможность для осуществления социальной жизни»[1].

Ключевым тут является понятие «незавершенности». Э. Лакло и Ш. Муфф исходят из того, что всякий дискурс только частично фиксирует социальное значение, так что любое дискурсивное поле характеризуется «избытком значения», которое ни один отдельно взятый дискурс не в состоянии полностью истощить. Поскольку идентичность каждого дискурса определяется через его соотношение с остальными дискурсами, существующими в данном поле, он всегда зависит от тех значений, которые были из него исключены и отличается повышенной уязвимостью по отношению к этим значениям.

А это означает, что дискурсивное пространство нельзя целиком контролировать, и альтернативные элементы существуют всегда. Это означает также, что ни отдельный дискурс, ни общество в целом никогда нельзя полностью «закрыть» (в бахтинском смысле этого понятия). Не существует и «закрытых» идентичностей.

Поэтому в теории дискурса Лакло и Муфф социальные антагонизмы понимаются не как результат существования социальных агентов с четко очерченными и непримиримыми позициями, а как следствие того, что эти агенты не в состоянии сконструировать свою идентичность (и тем самым определить свою позицию) и поэтому вынуждены конструировать «врага», который ответственен за этот провал. Антагонизм, таким образом, демонстрирует, где проходят границы дискурсивного поля, и где оно уже не в состоянии создать стабильную систему различий. Соответственно, цель дискурс-анализа – обнаружить, каким образом было осуществлено блокирование идентичности и выявить, каким образом эта блокада порождает антагонизм.

Блокирование идентичностей и порождение антагонизма осуществляются по «логике эквивалентности». В логике эквавалентности, носители идентичностей a, b и c рассматривают себе как тождественные по отношению к идентичности d, так что d превprашается в тотальное отрицание a, b и c (=врага). В этой логике всякая идентичность оказывается двойственной: с одной стороны, сохраняются не-антагонические различия между a, b и c, порожденные существующей доминантной системой дискурсов, с другой – все они антагонически противостоят d, которое определяется как «дискурсивное внешнее». Общий враг позволяет строить дискурсивное единство между группами с самыми различными идентичностями и преодолевать блокирование.

Нетрудно заметить, что коммунальные медиа, описанные Н. Карпентье, Р. Ли и А. Сэрвэ, действуют как раз в логике эквивалентности, стремясь создать союз групп со стигматизированной и блокированной идентичностью против всех проявлений доминантного дискурса. Однако логика эквивалентности является далеко не единственно возможным способом конструирования идентичности. Э. Лакло и Ш. Муфф вводят и другую логику – «логику дифференциации».

---

[1] *Howarth D.* Discourse. Buckingham, Philadelphia, 2000. P. 104.

Если в логике эквивалентности социальное пространство делится на два противостоящих друг другу антагонистических блока, то в логике дифференциации осуществляется противоположная процедура: подчеркиваются различия и разрывы, с целью разрушить антагонизм и оттеснить его в маргинальную область. Хотя Лакло и Муфф считают «логику дифференциации» весьма нежелательным и даже реакционным по своим последствиям инструментом конструирования идентичностей, нетрудно заметить, что отстаиваемый авторами анализируемой статьи тезис о необходимости для коммунальных медиа проявлять гибкость и «активно устанавливать связи различных типов с (сегментами) государства и рынка, не утрачивая своей идентичности и не подвергаясь ассимиляции и поглощению» находится как раз в русле логике дифференциации. Авторы подчеркивают, что следуя логике эквивалентности, коммунальные медиа оказываются обреченными на «дискурсивную изоляцию» и остаются маргинальными, в то время как логике дифференциации, перейдя от антагонистических отношений с доминантными СМИ к агонистическим, они эту изоляцию могут преодолеть.

Таким образом, и практические рекомендации авторов и их теоретические выводы основаны на преодолении того противопоставления реального общества и идеального «великого сообщества» (в котором взаимодействуют между собой абсолютно равные субъекты коммуникации, а дискурсивные практики избавлены от рокового слияния с властными практиками), которое пронизывает существующий дискурсивный анализ деятельности средств массовой информации.

Насколько актуальным является такой подход, свидетельствует опыт дискурсивного анализа еще одного «ризомного» объекта, а именно Интернета. Как известно, с начала 90-х годов у исследователей, занимающихся дискурсивным анализом массовой коммуникации, появился привилегированный объект исследования – Интернет, который, казалось бы, можно считать воплощением в реальности всех их желаний и ожиданий. Тезис о том, что Интернет в силу своей «ризомной», нелинейной, неиерархической структуры, со скользящим переходом от одной темы к другой, и принципиальной гетегорогенностью является носителем альтернативных дискурсивных практик и в силу этого позволяет пользователем успешно вести «позиционную войну» с линейными, иерархическими доминантными дискурсами, успел превратиться в общее место. Именно поэтому идеалом стало «маленькое незарегистрированное персональное средство массовой информации в формате личной веб-страницы, имеющее структуру дневника»[1]. Соответственно, с этих позиций традиционная (=доминантная) журналистика обречена на растворение в стихии Интернета, где ей впервые приходится конкурировать с альтернативным дискурсом на равных, без привлечения административных и экономических ресурсов.

Таким образом, сетевое сообщество превратилось в очередное воплощение мечты о «великом сообществе», которое способно вытеснить «великое общество» и заменить холодные и бездушные отношения господства и подчинения общением равных в виртуальном пространстве.

Впрочем, следует особо подчеркнуть, что такого рода ожидания сопровождали внедрение всех новых средств коммуникации с середины XIX века, когда появился электрический телеграф, который Дж. Цитром не без оснований назвал «исторической синекдохой для всех последующих электронных медиа»[2]. Уже в 1838 году, пытаясь

---

[1] *Костинский А.* «Живой журнал» Интернета // Радио Свобода, 17.05.2004, http://www.svoboda.org/programs/sc/2004/sc.051704.asp

[2] *Czitrom D.J.* Media & the American mind: from Morse to McLuhan. Chapel Hill, 1982. P.189. О мифопорождающей среде, в которой изначально функционировали СМИ, см. подробнее: *Трахтенберг А.Д.* СМИ как мифопорождающая система: «миф о величии электричества» в американской культурной традиции // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН. Вып. 4. Екатеринбург: ИФиП УрО РАН, 2003.

убедить конгресс выделить средства на свою работу, С.Морзе сформулировал классическую метафору «электронного соседского сообщества», которую вслед за ним повторило множество пророков коммуникативной революции, включая МакЛюэна, Тоффлера и Кастельса: «настанет пора, когда вся поверхность этой страны будет покрыта *нервами*, которые будут, со скоростью мысли распространять известия о том, что случилось по всей стране; все жители на деле будут превращены в *соседей»*[1].

Данная риторика оказалась необычайно устойчивой, чем еще раз подчеркивается ее для базовый современной культуры характер. Она с неизбежностью сопровождала всякое новое изобретение в сфере электронных средств коммуникации. Естественно, по мере того, как эти средства усваивались повседневностью и растворялись в ней, они выпадали из фокуса общественного внимания, а потом вообще переставали тематизироваться (иными словами, ими начинали пользоваться автоматически, не замечая). Однако это не означает, что надежды с помощью электронных средств коммуникации превратить основанное на неравенстве общество в «сообщество равных» также отмирали – миф просто находил себе новый объект.

При этом он каждый раз определенным образом видоизменялся. Дж. Скоунс, проанализировав развитие этого мифа с момента изобретения телеграфа, показал, что каждое новое средство коммуникации порождало свою версию этого мифа[2]. Телеграф, радио и телевидение имели собственных электронных призраков и несли свои угрозы, однако общая «мета-политика речи» об этих средствах коммуникации оказывается весьма схожей.

С этих позиций рассуждения об Интернете как о пространстве альтернативного дискурса представляет собой очередную версию этого мифа. А это означает, что дискурсивный анализ является не только интерпретирующим, но и мифологизирующим инструментом. Даже тогда, когда использующие его исследователи занимаются демифологизацией массовой коммуникации, они мыслят в логике мифа о «великом сообществе», в котором будут сняты все существующие ограничения и преодолено неравенство субъектов коммуникации. Ценность предлагаемой вашему вниманию статьи связаны с тем, что в ней делается попытка выйти за пределы этого мифа и использовать дискурсивный анализ для решения прикладных, эмпирических задач.

Н. Карпентье
Свободный университет Брюсселя
Бельгия
Р. Ли
Университет Вагиненгена
Нидерланды

Я. Сервэ
Католический университет Брюсселя
Бельгия[3]

МЕДИА В МАЛЫХ СООБЩЕСТВАХ: ЗАГЛУШЕННЫЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС?

Введение

---

[1] Цит. по *Czitrom D.J.* Op. cit. P.12.
[2] См.: *Sconce J.* Haunted Media: Electronic Presence from Telegraphy to Television. Durham, L., 2000.

[3] Опубликовано впервые в: Carpentier N., Servaes J., Lie R. Community Media: Muting the Democratic Media Discourse // Continuum. 2003. Vol 17. № 1. Pp. 51-68. Сайт журнала: http://www.tandf.co.uk. Перевод с английского А.Д. Трахтенберг. Переводчик выражает благодарность Нико Карпентье за поддержку и ценные советы.

Концепция «коммунальных медиа», или средств массовой информации, принадлежащих малым местным сообществам, несмотря на длительную традицию теоретического и эмпирического изучения[1], остается достаточно неопределенной. Многообразие подходящих под данное название медийных организаций вынуждает исследователей, придерживающихся строго определенного теоретического подхода, сосредоточиваться только на определенных характеристиках коммунальных медиа, в то же время игнорируя другие аспекты их идентичности. Главная цель данной статьи – на основе сочетания четырех теоретических подходов описать коммунальные медиа во всем их разнообразии и специфичности и продемонстрировать их важное значение.

В данной статье доказывается, что решающую роль в формировании идентичности коммунальных медиа играет антагонизм, понимаемый в духе теории дискурса Лакло и Муфф (Laclau & Mouffe, 1985). С позиций теории дискурса коммунальные медиа можно определить как итоговый результат попыток создать альтернативу широкому спектру гегемонистских дискурсов, доминирующих в сферах коммуникации, массовой информации, экономики, организационных структур, политики и демократии. Четыре подхода будут использованы также для анализа всего этого спектра альтернативных и гегемонистских дискурсов. Нами делается вывод, что антагонизм по отношению к государству и рынку и сопротивление всему многообразию гегемонистских дискурсов приводит движение за развитие коммунальных медиа к позиции дискурсивной изоляции. Нехватка стратегических союзников создает условия, в которых имеются все возможности для того, чтобы заглушить демократический медиа-дикурс, распространяемый посредством коммунальных медиа. Организационные тела (в фукольтианском смысле), посредством которых этот дискурс только и мог бы реализоваться, уже исчезли.

Однако, опираясь в первую очередь на четвертый, ризоматический подход, мы смогли переосмыслить антогонистическую позицию и превратить ее в агонистическую (Mouffe, 1999a, p. 755), что дало возможность на основе идеи плюрализма учесть как многообразие всего медийного пейзажа, так и особенности отдельных медийных организаций. Подобное переосмысление, основанное на более гибком представлении об идентичности коммунальных медиа, позволяет им, используя вновь появившийся (политический) интерес к институтам гражданского общества и возрождению публичной сферы, активно устанавливать связи различных типов с (сегментами) государства и рынка, не утрачивая своей идентичности и не подвергаясь ассимиляции и поглощению. Несмотря на свою важность, четвертый подход должен быть обязательно включен в существующую мультитеоретическую комбинацию. Только это позволит выявить специфику и учесть многообразие коммунальных медиа.

Что такое идентичность коммунальных медиа?

Эта мультитеоретическая комбинация подходов, на которой основана теория политической идентичности Лакло и Муфф ((Laclau & Mouffe, 1985) выступает как общая теоретическая рамка, включащая как эссенциалистские, так и релятивистские подходы. Только вместе они позволяют описать все элементы, посредством которых конструируется идентичность коммунальных медиа.

Несмотря на использование эссенциалистских подходов, идентичность вслед за Лакло и Муфф рассматривается нами в основном релятивистски, как результат

[1] См., напр., работу Яновица о местной прессе, впервые опубликованную в 1952 году (Janowits, 1967). Более поздние важнейшие работы о местных сообществах: Berrigan (1977; 1979), O’Sullivan-Rayn & Kaplun (1979), Reyes Mana (1986), Iankowski, Prehn & Stappers (1991), Girard (1992), Lewis (1993), Nostbakken & Morrow (1993), Sjőberg (1994), Husband (1994), Fraser & Restrepo (2000), Downing (2000), Rodriguez (2001) и Gumicio (2001).

реализации артикуляционных практик в рамках определенного дискурса. Особое внимание уделяется концепции антагонизма, который Лакло и Муфф понимают как «границу любой объективности» и «невозможность полного конституирования общества» (Laclau & Mouffe, 1985, p. 125). В то время как традиционно социальный антагонизм рассматривается как столкновение акторов с полностью сформированными идентичностями, Лакло и Муфф утверждают, что антагонизм одновременно угрожает разрушить идентичности и конструирует их. В ситуации антагонизма «присутствие «другого» препятствует мне полностью быть собой». Это означает, что в такой ситуации «я не могу быть для самого себя полным присутствием» (Laclau & Mouffe, 1985, p. 125). В то же время антагонизм выполняет в отношении идентичности (и общества в целом) конституирующую роль, так как «другой» становится чисто негативной опорой для идентификации, т.е. внешней конституирующей основой. Ховарт (Howarth, 2000, p. 106), в частности, отмечает, что таким образом антогонизмы «играют решающую роль в конституировании социальной объективности, так как структура общества зависит от конструирования антагонистических отношений между социальными агентами, находящимися «внутри» и «за пределами» данного общества».

Мы утверждаем, что антагонизмы играют важнейшую роль в определении идентичности коммунальных медиа, даже если речь идет о традиционных медиацентристских моделях. Хотя наш первый подход является скорее эссенциалистским, и основан на подчеркивании значения того местного сообщества, интересы которого обслуживаются медиа, второй обращает основное внимание на взаимоотношения между альтернативными и доминантными медиа, делая акцент на дискурсивной взаимозависимости, которая существует между двумя антогонистическими типами идентичностей.

Традиционные медиацентристские подходы осмысления идентичности коммунальных медиа дополнены двумя социоцентристскими подходами[1]. Третий подход рассматривает коммунальные медиа как часть гражданского общества. Несмотря на то, что он исходит из фундаментальных различий между институтами гражданского общества, рынком и государством, в нем большое внимание уделяется взаимозависимости их идентичностей. В рамках этого подхода сохраняется теоретическая установка на наличие у институтов гражданского общества собственной идентичности. Для того, чтобы использовать более релятивистские подходы к анализу гражданского общества (напр., Walzer, 1998), они были совмещены с той критикой альтернативных медиа, которую осуществили Даунинг (Downing, 2000) и Родригес (Rodriguez, 2001), радикализированы и обобщены, что и позволило, основываясь на предложенной Делёзом метафоре «ризомы», сформулировать наш четвертый подход. Этот подход в наибольшей мере позволяет учесть при анализ коммунальных медиа такие их особенности, как случайность, текучесть и отсутствие определенных границ. Все четыре подхода представлены на Схеме 1.

Схема 1. Распределение четырех теоретических подходов

Коммунальные медиа	Медиацентризм	Социоцентризм
Наличие собственной идентичности (эссенциализм)	*Подход 1:* Служат интересам местного сообщества	

[1] То, что объект данной статьи – коммунальные медиа, конечно, сильно затрудняет применение чисто социоцентристских подходов. Правильнее было бы назвать применяемый тип подхода социетальной контекстуализацией (коммунальных) медиа.

		Подход 3: Являются частью гражданского общества
Идентичность возникает во взаимодействии с другими идентичностями (релятивизм)	*Подход 2:* Являются альтернативной доминантным медиа	*Подход 4:* Ризома

Комбинация теоретических подходов

Весьма перспективной исходной точкой для анализа нам представляется «рабочее определение» коммунального радио, принятое в «ВАКР-Европа» - европейской части Всемирной Ассоциации Коммунальных Радиовещателей[1]. Эта организация включает широкий спектр радиостанций со всех континентов. В Латинской Америке представителей ВАКР называют народными радиостанциями, образовательными радиостанциями, шахтерским или крестьянским радио. В Африке их принято называть местным деревенским радио, в то время как в Европе о них часто упоминают как об ассоциированных радиостанциях, свободном радио, соседском радио или коммунальном радио. В Азии говорят о радио для развития и о коммунальном радио, в Океании – о радио аборигенов, публичном радио и коммунальном радио (Servaes, 1999, p. 259). Для того, чтобы избежать навязывания обязательного определения «ВАКР-Европа» (AMARC-Europe, p. 4) называет коммунальные радиостанции «некоммерческими вещательными организациями, которые обслуживают интересы сообщества, в котором расположены, или на которое они вещают, одновременно способствуя участию членов сообщества в работе радио».

Первый подход: Обслуживание интересов сообщества.

Принятое ВАКР рабочее определение делает сильный акцент на концепции сообщества. Оно понимается прежде всего в географическом аспекте («в котором [они] расположены»), хотя упоминается и другой тип связи между средством информации и сообществом («на которое они вещают»).

Концепция сообщества имеет длительную традицию использования в социологии и антропологию. В прошлом веке Тонньe (Tőnnies, 1963) провел четкую разделительную линию между сообществом и обществом: для сообщества характерны тесные и конкретные связи между людьми и коллективная идентичность, в то время как главной характеристиской общества является отсутствие идентифицирующих групповых отношений (Martin-Barbero, 1993, p.29). Моррис и Мортэн (Morris & Morten, 1998, p. 12 – 13) проиллюстрировали различие, введенное Тонньe, с помощью концепции союза и ассоциации: сообщество, по их мнению, отсылает «к представлению о большой семье», в то время как общество «представляет собой более холодный, сдержанный и фрагментированный образ жизни, лишенный сотрудничества и крепких социальных связей. Люди изолированы и у них отсутствует чувство соседства».

[1] Обычно используется сокращение AMARC, от французского «Association Mondiale des Radio diffuseurs Communitaires». Адрес сайта – www.amarc.org.

Как доказывает Лейниссен (Leunissen, 1986), концептуализация сообщества базируется в первую очередь на географии и этничности как категориях, структурирующих коллективную идентичность и внутригрупповые отношения. Структурная концептуализация сообщества впервые была осуществлена путем введения представления об общности интересов, которая подчеркивает важность других факторов в структурировании сообщества. Хотя предполагать заранее, что у некоей группы людей всегда есть общие интересы, нельзя (ср.: Clark, 1973, p. 411f)[1], общность интересов создает возможные условия для появления или существования сообщества. В частности, анализ влияния информационно-компьютерных технологий на повседневную жизнь показал, что сообщества может формироваться не только на географически определенной территории, но и в киберпространстве, объединяя группы пользователей. Джонс (Jones, 1995) показал, что такие виртуальные или он-лайновые сообщества обладают теми же характеристиками, что и локальные территориальные общности. «Новые сообщества» сильно повлияли на привычные представления о пространстве и месте (Casey, 1997), убедительно продемонстрировав, что территориальная близость далеко не во всех случаях является необходимым условием и необходимой характеристикой сообщества. Как замечает Льюис (Lewis, 1993, p. 13) общность интересов может преодолевать «границы конурбаций, наций и континентов». В то же время усиливающееся влияние (глобального) пространства, угрожающее дискурсивным уничтожением локальных пространств, вынудило некоторых исследователей выступить в защиту «мест», хотя и без их романтизации (см., напр., Escobar, 2000). Олландер (Hollander, 2000, p. 372), например, доказывает, что локальные террриториальные сообщества также используют информационно-компьютерные технологии. Иными словами, киберпространство дополняется «киберместом». Тем не менее определяющей характеристикой собщества остается частый непосредственный контакт между членами и чувство принадлежности и общности.

Второй тип переосмысления идеи сообщества основан на подчеркивании субъективных аспектов его конструирования, как это происходит у Линдлофа в концепции «интерпретативного сообщества» (Lindlof, 1988) и у Коэна в концепции «сообщества значений» (Cohen, 1989). Хотя построения Линдлофа напрямую направлены на то, чтобы определить аудиторию как сообщество, обе теории основаны на подходе к сообществу «изнутри». В соответствии с этим, Коэн доказывает необходимость «перехода от анализа структуры сообщества к анализу его символического конструирования; а чтобы сделать это, за исходный пункт анализа следует принять не структуру, а культуру» (Cohen, 1989, p. 70). Сообщество – это не то, что навязывается людям извне, и, подобно машине, компостирует структуры на больших металлических листах. Сообщество активно конструируется его членами, и их идентичность формируется именно в процессе конструирования. Люди «извлекают» групповую идентичность из сконструированной ими самими коммуникативной структуры. Различия подходов к анализу сообществ представлены на Таблице 1.

Таблица 1. Определения сообщества

Сообщество как тесные и конкретные связи между людьми, как «союз», как коллективная идентичность, с идентифицируемыми групповыми отношениями		
Традиционный подход	Переосмысление 1 Дополнение территориальных	Переосмысление 2 Дополнение структурных/материальных

[1] В социологии группу людей, которую объединяют общие интересы, обычно называют «коллективностью» (Merton, 1968, p. 35). Между ними может отсутствовать непосредственное взаимодействие: достаточно общей цели или интереса. Люди, принадлежащие к «коллективности», могут не знать друг друга, и зафиксировать непосредственное взаимодействие между ними не всегда возможно.

	характеристик экстерриториальными	характеристик культурными
• География • Этничность	• Общность интересов • Виртуальное или онлайновое сообщество	• Интерпретативное сообщество • Сообщество значений

Вне зависимости от того, как понимается сообщество (территориально/пространственно или другим способом), коммунальные медиа ориентированны именно на него. Отношения между коммунальными медиа и реальным сообществом преодолевают традиционную однонаправленность массовой коммуникации, в которой «темы избираются профессиональными коммуникаторами с учетом явно выраженных потребностей и интересов аудитории» (Berrigan, 1979, p. 7). Как демонстрирует принятое ВАКР рабочее определение (особенно та его часть, где утверждается, что коммунальные медиа должны «способствовать участию членов сообщества»), отношения между вещателем и сообществом являются двусторонним коммуникативным процессом. Наличие возможностей доступа и участия для членов сообществ становится главным определяющим фактором.

Как красноречиво формулирует Берриган (Berrigan, 1979, p. 8), «[коммунальные медиа] – это медиа, с помощью которых члены сообщества имеют возможность получать информацию, учиться, и развлекаться всегда, когда они в этом нуждаются. Это медиа, в деятельности которых члены сообщества принимают участие как организаторы, постановщики и исполнители. Они являются средством самовыражения сообщества, а не существуют *для* сообщества» (Berrigan, 1979, p. 18). Ссылаясь на состоявшееся в 1977 г. белградское совещание, Берриган (Berrigan, 1979, p. 18) (частично) связывает доступность средств информации с восприятием информационных, образовательных и развлекательных программ, которые имеют значение именно для данного сообщества. «[Доступность] может быть определена в терминах возможности для аудитории выбирать различные значимые программы, и иметь средства воздействия для того, чтобы транслировать свои реакции и требования производящим организациям». Другие исследователи связывают доступность исключительно со средствами массовой информации и определяют ее как «процесс, который позволяет пользователям осуществлять открытое и не подвергающееся цензуре воздействие на средства массовой информации» (Lewis, 1993, p. 12). Оба подхода – и с позиций производства посланий, и с позиций их восприятия – исходят из того, что доступность является для коммунальных медиа значимой характеристикой (см. Схему 2).

Вслед за Пэйтменом (Pateman, 1972, p. 71), участие рассматривается нами как процесс, в котором индивидуальные члены сообщества располагают определенной долей власти для того, чтобы влиять на этот процесс и определять его результаты. Коммунальные медиа не только допускают, но и способствуют участию членов сообщества как в производстве посланий, так и деятельности организаций, которые заняты этим производством. Прен поясняет эту мысль следующим образом: «участие подразумевает широкой набор видов деятельности, направленных на непосредственное вовлечение людей в программирование, управление и политическую активность радиостанции» (Prehn, 1991, p. 259).

В рамках первого подхода на передний план выходят отношения вещателя и сообщества. Когда конкретное сообщество выбирается в качестве целевой аудитории, тем самым происходит закрепление и усиление (концепции) этого сообщества. Аудитория определяется не как совокупность индивидов, которых объединяют только социально-демографические или экономические характеристики, но как коллектив, в котором существуют идентифицирующие групповые отношения. Таким образом

подчеркивается ситуативность аудитории, выступающей в качестве производной от целого набора социальных структур, что позволяет преодолеть традиционные дихотомии между государством и гражданами и средствами информации и аудиторией, в рамках которых гражданское общество и аудитория рассматриваются как простая совокупность индивидов.

Схема 2. Доступность и участие в сообществе

Производство значений	**Восприятие значений**
Доступ в организации, производящие содержание посланий → Способность производить послания и транслировать их на аудиторию	*Доступ к содержанию, рассматриваемому как значимое* → Способность получать и интерпретировать послания
Участие в производстве посланий → Влияние на решения о содержании посланий	
Участие в организациях, производящих содержание посланий	
→ Влияние на политику принятия решений	→ Оценка содержания посланий

Более того, в первом подходе служение интересам сообщества как цель коммунальных медиа часто понимается как доступ к ним, который создает и усиливает возможности для участия для рядовых членов сообщества. «Простые люди»[1] получают возможность сделать так, чтобы их голос услышали. Темы, которые считаются значимыми для сообщества, могут обсуждаться членами этого сообщества. Тем самым они приобретают некоторую власть, поскольку трансляция их высказываний с помощью электронных СМИ означает, что эти высказывания считаются достаточно важными. Социальные группы, которые недопредставлены, лишены преимуществ, являются носителями стигмы, или даже подавляются, могут получить особую пользу от использования каналов коммуникации, открытых благодаря существованию коммунальных медиа. Такое использование будет усиливать их внутреннюю идентичность и демонстрировать ее внешнему миру, тем самым создавая возможности для социальных перемен и/или развития.

Второй подход: Коммунальные медиа как альтернатива доминантным медиа.

Второй подход к анализу коммунальных медиа основан на концепции альтернативных медиа. В рамках этого концепции вводится различие между «мейнстримом» и альтернативными средствами массовой информации, которые рассматриваются как дополнение к «мейнстриму». Так как альтернативные медиа в то же время определяются через их негативное отношение к доминантным медиа, концепция не отличается достаточной четкостью: одни и те же средства информации в одно время могут рассматриваться как альтернативные, а в другое – как доминантные. Социальный контекст, в котором функционируют альтернативные медиа, является неотъемлемой частью представления о том, что такое «медиа-альтернатива» и может выступать в качестве исходного пункта при их определении. Основными характеристиками современных доминантных средств массовой информации («мейнстрима») обычно считаются:

[1] Другими словами, это люди, которые не входят в элиту общества (включает политиков, представителей академического сообщества, руководителей производства и журналистов) и не могут считаться знаменитостями.

- Широкий охват и ориентация на большие и гомогенные (сегменты) аудитории;
- Принадлежность государству или частным компаниям;
- Вертикальная иерархическая структура, включающая только профессиональных работников;
- Трансляция доминантного дискурса и соответствующих форм репрезентации.

Характеристики альтернативных медиа отличаются по одной или нескольким позициям:

- Малый охват и ориентация на особые сообщества, зачастую лишенные преимуществ; уважение к разнообразию;
- Независимость от государства и рынка;
- Горизонтальная структура, позволяющая обеспечить доступ членов аудитории и их участие в деятельности медиа с позиций демократичности и многообразия;
- Трансляция не-доминантного (и даже контргегемонистского) дискурса и форм репрезентации, акцент на важности саморепрезентации.

Более подробное описание этих различий дано Льюисом (Lewis, 1993, p. 12) – см. Таблицу 2.

Второй подход к коммунальным медиа определяет эти медиа как альтернативные доминантным, и дополняющие доминантные медиа как на организационном уровне, так и на уровне содержания. На организационном уровне существование коммунальных медиа показывает, что средства информации могут существовать независимо от государства и рынка. В то время как на доминантные медиа оказывается значительное давление с целью сделать их более ориентированными на рынок, коммунальные медиа демонстрируют, что медийные организации все-таки имеют возможность существовать в качестве «третьего сектора». Тот же самый аргумент может быть применен и к внутренней структуре медийных организаций. В то время как в доминантных медиа все сильнее проявляется тенденция к созданию вертикальных иерархий, более горизонтально организованные коммунальные медиа доказывают, что альтернативный метод организации и более сбалансированные и/или горизонтальные структуры являются вполне реальной возможностью.

Таблица 2. Определения альтернативных медиа[1]

Характеристика	Особенности альтернативных медиа
Цель или мотив	• Отрицание коммерческих мотивов; • Утверждение гуманистических, культурных, образовательных и этнических целей; • Оппозиция властным структурам и их деятельности; • Конструирование поддержки, солидарности и сетей общения
Источники финансирования	• Отказ от государственных или муниципиальных грантов; • Отказ от размещения рекламы
Способы регулирования	• Наблюдение со стороны различных институтов; • Независимые / «свободные» • Постоянное нарушение правил, хотя все правила

[1] Таблица 2 является частичным воспроизведением схемы, которую рассматривает Льюис (Lewis, 1993, p. 12). Некоторые пункты были добавлены нами, другие основаны на описанной Даунингом (Downing, 2000, pp. v – xi) дискуссии о «характеристиках радикальных альтернативных медиа».

	сразу нарушаются редко
Организационная структура	• Горизонтальная организация; • Поощрение «полного» участия членов аудитории; • Демократизация коммуникации
Критика профессиональных практик	• Поощрение волонтерской работы; • Открытый доступ и участие не-профессионалов; • Иные критерии отбора новостей
Содержание посланий	• Дополняют или противоречат доминантному дискурсу и формам репрезентации; • Выражают альтернативное видение гегемонистских практик, предпочтений и перспектив
Взаимоотношения с аудиторией и/или потребителями	• Высокая степень контроля со стороны аудитории/потребителей; • Допускают, чтобы нужды и потребности высказывались самими членами аудитории/потребителями • Демократизация коммуникации
Структура аудитории	• Молодежь, женщины, сельское население; • Многообразие и мультикультурализм
Уровень охвата	• Локальный, а не региональный или национальный
Методология исследований аудитории	• Качественные, этнографические и долгосрочные исследования

На уровне содержания коммунальные медиа предлагают репрезентации и дискурсы, сильно отличающиеся от тех, которые производятся доминантными медиа. Главная причина такого различия связана с более высоким уровнем участие различных социальных групп и сообществ, и со стремлением «предоставить эфир локальным культурным манифестациям, этническим меньшинствам, и острым политическим проблемам сообщества или территории» (Jankowski, 1994, p. 3). Доминантные медиа обычно ориентированы на различные типы элит: так, в случае доминантного информационного вещания они оказывают явное предпочтение официальным источникам, что часто порождает так называемое структурное смещение (см.: McNair, 1998, p. 75f). Ориентация коммунальных медиа на то, чтобы дать слово различным (старым и новым) общественым движениям, меньшинствам и представителям суб- и контр-культуры, и акцент на саморепрезентации может порождать более разнообразное содержание, свидетельствующее о многообразии социальных голосов.

В то же самое время критическое отношение к профессиональным ценностям работников «мейнстрима» порождает разнообразие форматов и жанров и создает пространство для экспериментов с формой и содержанием. В этом смысле коммунальные медиа с полным правом могут быть признаны инкубаторами инноваций, которые впоследствии зачастую подхватываются доминантными медиа.

Третий подход: Связь между коммунальными медиа и гражданским обществом.

Открытое позиционирование коммунальных медиа в качестве независимых от государства и рынка поддерживает определение этих медиа как части гражданского общества. Причины, по которым гражданское общество считается важным, были обобщены Кином (Keane, 1998, p. xviii) следующим образом:

- Гражданское общество обращает особое внимание на свободу индивида от насилия в повседневной жизни;
- Подчеркивается право самодеятельных групп и индивидов в рамках закона определять и выражать самые различные социальные идентичности;
- В эпоху компьютеризированных коммуникационных сетей «свобода слова» немыслима без разнообразных негосударственных средств информации;
- Регулируемые политики и ограниченные социально рынки являются наилучшим способом ликвидировать те производственные факторы, которые не соответствуют существующим представлениям об эффективности;
- Особое значение… имеет демократия, или, точнее, интеллектуальная и политическая потребность в возрождении демократического воображаемого.

Определив коммунальные медиа как часть гражданского общества, мы получаем возможность рассматривать их как «третий голос» (Servaes, 1999, p. 260), наряду с государственными и коммерческими средствами массовой информации. Одним из наиболее показательных примеров существования «третьего голоса» может быть найден в предисловии к книге Б. Жирара «Страстная любовь к радио», где он дает следующий ответ на вопрос о «страстной любви к коммунальному радио? Ответ на этот вопрос может быть найдет в третьем типе радио, выступающим альтернативой коммерческому и государственному. Наиболее характерная черта этого радио, часто называемого коммунальным, - его преданность идее гражданского участия на всех уровнях. Слушатели коммерческого радио могут участвовать в программировании только ограниченным образом (напр., дозвонившись во время ток-шоу или заказав любимую песню), в то время как слушатели коммунального радио выступают как продюсеры, руководители, режиссеры и даже владельцы станции» (Girard, 1992, p. 2).

За исходный пункт для определения коммунального радио как (части) гражданского общества можно принять модель Томпсона (Thompson, 1995), описывающую публичную и частную сферы современного западного общества. По Томпсону, государственные организации образуют публичную сферу, в то время как экономические организации, ориентированные на получение прибыли, а также личные и семейные связи[1] формируют частную сферу. Тогда гражданское общество можно определить как группу промежуточных организаций, отделенных как от находящихся в частной собственности экономических организаций, оперирующих на рынке, так и от личных и семейных отношений, а также от государственных и квазигосударственных организаций. На Схеме 3 показано место гражданского общества между публичной и частной сферой.

Схема 3. Публичная и частная сфера в современном западном обществе[2]

Частная сфера		**Публичная сфера**
Находящиеся в частной собственности		Находящиеся в государственной

[1] Определяя гражданское общество Коэн и Арано (Cohen & Arano, 1992, p. ix) прямо включают в него то, что они называют «интимной сферой». Точная природа гражданского общества и вопрос о том, какие сферы в него входят, выходят за пределы настоящей статьи.

[2] Схема 3 является точной копией модели Томпсона (Thompson, 1995, p. 122). Схема 4 основана на схеме 3, которая была подвергнута значительной переработке.

экономические организации, оперирующие в рыночной экономике и ориентированные на извлечение прибыли Личные и семейные отношения		собственности экономические организации (т.е. национализированные отрасли и принадлежащие государству публичные службы) Государственные и квазигосударственные организации (включая органы социальной защиты)

↑
Промежуточные организации
(благотворительные фонды, политические партии, группы влияние, кооперативные предприятия и т.п.)

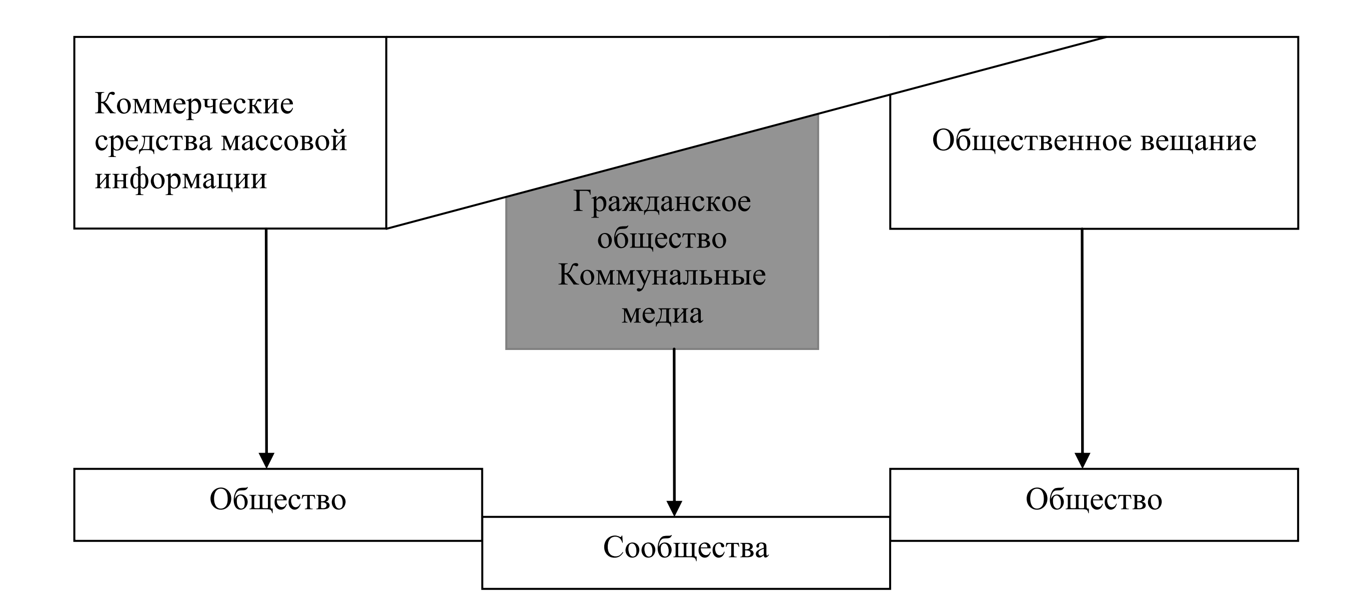
Хотя природы и структура гражданского общества различаются по регионам и континентам, это возникшая на Западе модель показала свою применимость на большинстве континентов, точто также как неолиберальная рыночная экономика превратилась в преобладающую форму организации общества. Даже в тех обществах, где, как считается, публичная сфера склонна подавлять гражданское общество, возникают различные формы того, что Льюис (Lewis, 1993, p. 127) назвал «зонами сопротивления», что можно проиллюстрировать существованием «самиздата» в бывшем Советском Союзе.

При переосмыслении модели Томпсона с учетом специфики медийных организаций, необходимо внести в нее серию изменений. Дерегулирование средств массовой информации, а точнее, влияние нео-либерального дискурса на политику в сфере средств массовой информации, побудило вещательные организации (на некоторых континентах) перейти к более рыночному и эффективному подходу. Этот подход предполагает особое внимание к увеличению объема аудитории (см., напр., Ang, 1991), что ориентирует вешательные компании прежде всего на общество в целом, а не на сообщества. На Схеме 4 показано, как эта переориентация позволила рыночным подходами проникнуть в общественную сферу.

Схема 4. СМИ, рынок и государство[1]

Частная сфера **Рынок**	**Публичная сфера** **Государство**

[1] Основана на модели Томпсона (Thompson, 1995, p. 122).



В рамках третьего подхода коммунальные медиа определяются как часть гражданского общества, тот его сегмент, который считается критически важным для того, чтобы демократия оставалась жизнеспособной. Хотя природа гражданского общества сильно варьируется в зависимости от нации и континента, мы, вслед за Коэном и Арато (Cohen & Arato, 1992, p. vii-viii), можем с уверенностью утверждать, что эта концепция сохраняет значимость для большинства типов современного общества, а само гражданское общество является важным источником распространения и углубления демократии благодаря повышению уровня участия.

Во-первых, коммунальные медиа можно рассматривать как «рядовую» часть гражданского общества. Они – только одни из многих организаций, которые активно действуют в пространстве гражданского общества. Демократизация медиа (Wasko & Mosko, 1992, p. 7), позволяет гражданам проявлять активность во многих (микро-) сферах, имеющих значение для повседневной жизни, и использовать свое право на коммуникацию. Во-вторых, как указывали самые разные политические мыслители (начиная с Руссо, Джона Стюарта Милля и Мэри Уолстонкрафт), такие формы микроучастия важны прежде всего потому, что позволяют людям изучить и освоить демократические и гражданские ценности, тем самым усиливая (возможное) макроучастие. Верба и Ни (Verba & Nie, 1987, p.3) сформулировали это следующим образом: «политические участие основано на общественном участии». Хельд (Held, 1987, p. 280) использовал другую удачную формулировку: «мы учимся участвовать, участвуя».

Когда в расчет принимается специфика вещания и роль средств массовой информации как (одного из) основных элементов публичной сферы, коммунальные медиа определяются не как «рядовая» часть гражданского общества, а как важнейший его элемент, поскольку они способствуют тому, что Васко и Моско (Wasko & Mosko, 1992, p. 13) называют демократизацией *посредством* медиа. С помощью коммунальных медиа мы выходим за пределы абсолютистской модели нейтральных и объективных медиа. У различных социальных групп и сообществ появляется возможность принимать обширное участие в общественных дискуссиях и представлять себя в публичной сфере, тем самым оказываясь в пространстве, которое открывает перспективы для макроучастия и способствует ему.

Четвертый подход: Коммунальные медиа как ризома.

Обсуждая проблемы альтернативных медиа, Даунинг (Downing, 2000, p. ix) критикует это понятие как оксюморон: «любое явление всегда чему-нибудь

альтернативно». Тем самым он придает законность своему решению рассматривать исключительно «радильно альтернативные медиа», исключая из анализа узкоспециализированные торговые каталоги и корпоративные бюллетени. В то же время он подчеркивает, что радикально альтернативные медиа отличаются крайним многообразием и могут существовать «в колоссальном разнообразии форматов» (Downing, 2000, p. xi). Тем не менее все они решают две основные задачи: транслировать оппозиционные взгляды вверх по вертикали и строить вокруг себя сети. Родригес (Rodrigues, 2001, p. 20) высказывает похожее мнение, когда предлагает отказаться от словосочетания «альтернативные медиа», и вместо этого говорить о «гражданских медиа», так как «в понятии «альтернативные медиа» заложено предположение, что они, как средства информации, чему-то альтернативны. Это определение легко приводит в ловушку бинарного мышления: есть доминантные медиа и их альтернатива, т.е. альтернативные медиа. Ярлык «альтернативные медиа», кроме того, предопределяет, какой тип мышления считается оппозиционным, что суждает потенциал этих медиа до их способности сопротивляться отчуждаещей власти доминантных медиа».

Коулдри (Couldry, 2000, p. 181), хотя и с других позиций, также деконструирует дихотомию между альтернативными и доминантными медиа, когда описывает, как люди проявляют активность в рамках (доминантного) медийного формата и пытаются внедрить в него «альтернативные формы медиации» и активности, которые бросают вызов существующим медийным институтам.

В дискуссии о теории гражданского общества множество исследователей анализировали взаимосвязь между гражданским обществом, государством и рынокм. Хотя предложенная Гегелем в девятнадцатом веке дихотомическая модель в настоящее время считается редукционистской, она «все еще используется некоторыми марксистами, а также неолибералами, неоконсерваторами и современными последователями утопического социализма) (Cohen & Arato, 1992, p. 423). Тезис о слиянии государства и гражданского общества (среди прочих, выдвигавшийся Шмиттом[1] и Хабермасом) позволяет многими способами описывать тотализующий или колонизующий эффект государственного интервентионизма. Например, Шмитт (Schmitt, 1980, p. 96), утверждал, что «плюралистическое государство становится «тотальным» не от силы, а от слабости; оно вторгается во все сферы жизни, потому что должно удовлетворить все заинтересованные стороны». Менее радикальный релятивистский подход можно обнаружить у Вальцера (Walzer, 1980, p. 138). Он исходит из тезиса о парадоксальной природе гражданского общества: «Государство не похоже на другие организации. Оно одновременно задает гражданскому обществу границы и оккупирует пространство внутри него. Оно задает граничные условия и базовые правила для любой общественной деятельности (включая политическую деятельность)». Далее следует его самое цитируемое и оспариваемое утверждение: «Только демократическое государство может создать демократическое гражданское общество; только демократическое общество может быть опорой демократического государство» ((Walzer, 1980, p. 140).

Релятивистский аспект теории гражданского общества и (критика) концепции альтернативных медиа радикализированы и объединены в четвертом подходе, основанном на теории ризомы Делёза и Гваттари (Deleuze & Guatarri, 1987). Метафора ризомы построена на противопоставлении ризомного и «корневого» («арболического»)

[1] Хотя Шмитт (как и Хайдегерр) поддержал нацистов, его теорические работы сохраняют свое значение. Как пишет Муфф (Mouffe, 1999b), «Шмитт – это противник, у которого мы учимся, опираясь на его теоретические находки. Оборачивая их против него, мы можем использовать их для лучшего понимания либеральной демократии».

подхода[1]. Корневое линейно, иерархично и малоподвижно. Его можно изобразить как «древоподобную генеалогическую структуру, веквти которой продолжают делиться на все более и более дробные отростки» (Wray, 1998, p. 3). Согласно Делёзу и Гваттари, именно такая философия характерна для государства. Ризомное, напротив, нелинейно, анархично и носит кочевой характер. «В отличие от деревьев с их корнями, ризома связывает любой пункт с любым другим пунктом» (Делёз и Гваттари, р. 19).

Эта метафора не только позволяет прояснить роль коммунальных медиа как точки пересечения для организаций и движений, входящих в гражданское общество, она также позволяет учесть ту высокую степень случайности, которая характеризует эти медиа. Из-за укоренности в постоянно изменяющемся гражданском обществе (частью которого они являются) и антагоничестических отношений с государством и рынком (в качестве альтернативы доминантным медиа и коммерческим медиа) идентичность коммунальных медиа становится трудно уловимой. В рамках данного подхода можно утверждать, что неуловимость и случайность, как это и есть в случае с ризомой, являются их определяющей характеристикой.

Как ризомы, коммунальные медиа могут пересекать границы и выстраивать мосты поверх существовавших до этого разрывов: «ризома непрерывно устанаваливает связи между семиотическими цепями, властными организациями и обстоятельствами, имеющими отношение к искусству, науке и социальной борьбе» ((Deleuze & Guatarri, 1987, p. 7). В случае с коммунальными медиа, это относится не только к решающей роли, которую коммунальные медиа (могут) играть в гражданском обществе, но также к тем связям, которые коммунальные медиа (и другие общественные организации) могут установить с (сегментами) государства и рынка, не потеряв при этом своей идентичности и не подвергнувшись инкорпорации / ассимиляции. В этом смысле коммунальные медиа включаются в рынок и/или государство, тем самым смягчая антогонизм между альтернативой мейнстриму и государством и рынком. Коммунальные медиа устанавливают с государством и рынком отношения разных типов, зачастую из потребности в выживании, поэтому они все-таки могут считаться потенциально дестабилизирующими и «детерриториализирующими» (если использовать термин Делёза и Гваттари) по отношению к ригидным и чересчур четко определенным государственным и коммерческим медиа.

На Схеме 5 осуществлена визуализация как неуловимости ризомной сети, так и ее детерриториализирующего потенциала в отношении более ригидных медийных организаций как в частной, так и в публичной сфере. Конечно, следует учитывать, что вертикально структурированные рыночные и государственные организации также могут демонстрировать высокую степень изменчивости, однако по сравнению с организациями гражданского общества они являются значительно более жесткими. Детерриториализующий эффект коммунальных медиа может (хотя бы отчасти) преодолеть эту жесткость и позволить проявиться более изменчивым аспектам рыночных и государственных структур.

Четвертый подход основан на и исходит из необходимости расширения того значения, которое имеет гражданское общество (в отношении демократии). В противоположность третьему подходу, здесь при описании коммунальных медиа основной упор делается не на их роль как элемента публичной сферы, а на их роль как катализатора. Они играют эту роль, функционируя как «дискурсивный перекресток»,

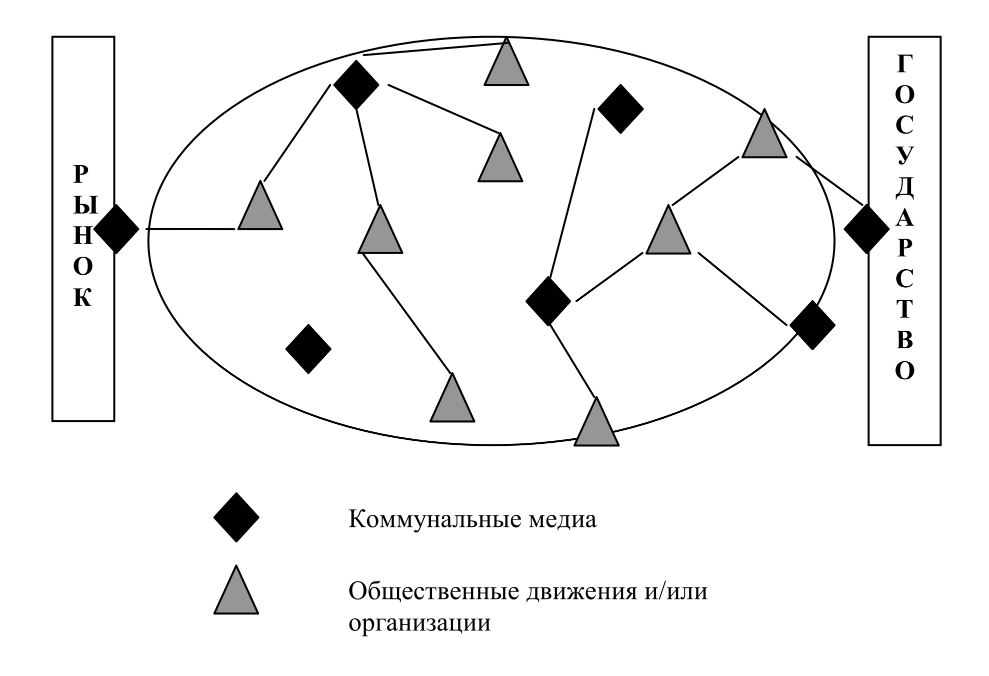
[1] Согласно Делёзу и Гваттари, «корневое» («арболическое») мышление отличают следующие хаарактеристики: линейность, иерархичность, унитарность и одновременно тенденция создавать бинарные оппозиции и делить на страты, «оседлость», гомогенность. Его типичными носителями являются «большие науки» и государство с его фаллоцентризмом. В противоположность корневому, ризомное мышление нелинейно, анархично, основано на множественности подходов и «скользящем» переходе от одной темы к другой; ризомное мышление «номадично» и гетерогенно. Оно характерно для «малых наук» (примечание переводчика – А.Т.).

на котором могут встретиться и начать сотрудничать представители самых разных движений, например, представители женских, крестьянских, студенческих и/или антирасистских организаций. Таким образом, коммунальные медиа являются не только инструментом, посредством которого группы людей могут публично озвучить свое отношение к определенным темам, но и катализатором, заново формулирующим, что такое беспристрастие и нейтральность, и объединяющим людей и организации, уже занятые борьбой за равенство (и другие права).

Это особенно важно для теории радикальной демократии, где упор делается на необходимость объединить разные формы демократической борьбы, для того, чтобы, как сформулировала одна из сторонниц этой теории, стала возможной «общая артикуляция антирасизма, антисексизма и антикапитализма» (Mouffe, 1997, p. 18). Далее Муфф развила эту мысль, подчеркнув необходимость установить отношения эквивалентности между различными типами борьбы, поскольку «простой союз» является явно недостаточным (Mouffe, 1997, p. 19). Она считает необходимым изменить «саму идентичность этих движений… для того, чтобы зашита интересов рабочих не достигалась в ущерб правам женщин, иммигрантов или потребителей» (Mouffe, 1997, p. 19). Родригес, изучая каким образом «разыгрывается власть и выражается позиция гражданина» (Rodrigues, 2001, p. 19) пришел к схожим выводам. С позиций радикально демократической теории субъект политики может испытать и выразить субъективную позицию гражданина через множество форм, включая политическое действие в повседневности, основанное на гендерных или этнических отношениях.

Схема 5. Гражданское обществе и коммунальные медиа как ризома

Гражданское общество



Ризомный подход к коммунальным медиа также дает возможность подчеркнуть изменчивость и случайный характер (коммунальных) медийных организаций в противоположность тем более ригидным способам, каким (часто) функционируют доминантные государственные и коммерческие организации. Из-за трудно опредилимой идентичности коммунальных медиа они самим фактом своего существования и функационирования могут оспаривать и подрывать ригидные и четко очерченные структуры государственных и коммерческих медийных организаций. В то же самое время, изменчивость коммунальных медиа сильно затрудняет контроль за ними и их инкапсулирование в законодательстве, выступая тем самым гарантом их независимости.

Провал попытки гегемонизировать демократический медиа-дискурс

Несмотря на все то значение, которое придается коммунальным медиа во всех четырех теоретических подходах, положения многих из этих организаций в большинстве европейских стран может быть описано как весьма проблематичное. Существование некоторых организаций, объединяющих коммунальные медиа (в том числе ВАКР – Европа) находится под серьезной угрозой. Если в качестве примера обратиться к бельгийским коммунальным радиостанциям, окажется, что из четырех организаций, первоначально состоявших в ОРТА[1] только две по-прежнему вещают в Северной Бельгии, хотя недавно возникли две новые коммунальные радиостанции («Fmbssl» в Брюсселе и «Urgent» в Генте). По примерным оценкам, в настоящее время в Северной Бельгии существует около 300 коммерческих местных радиостанций (как независимых, так и аффилиированных с крупными компаниями) и пять общественных радиостанций, финансируемых государством. На этом фоне число коммунальных радиостанций выглядит весьма небольшим. В южной Бельгии положение валлонских коммунальных радиостанцией является менее мрачным: например, одна из ассоциаций («АОЭ»)[2] имеет десять членов, включая «OSR», «Radio Panic» и «Radio Air Libre». Однако и в южной Бельгии коммунальные радиостанции значительно уступают по количество коммерческим и общественным радиостанциям.

При объясненении причин современного тяжелого положения (бельгийских) коммунальных медиа и провала их попыток стать голосом «третьего сектора» - неотъемлемой части гражданского общества, независимой ни от государства, ни от рынка, основной упор делается на идентичность этих средств информации и их антагонистическое отношения к идентичностям государства и коммерческих медиа. В данной части статьи мы попытаемся доказать, что причины, по которым заглушается демократический медиадискурс, артикулирующий активность аудитории (как при производстве, так и при восприятии посланий), связаны с множеством гегемонистских дискурсов, которым коммунальные медиа пытаются противостоять. Эта «позиционная война» (если использовать грамшианский термин), ведущаяся сразу на несколько фронтов, позволяет по справедливости присвоить им наименование «радикальные медиа» (см. Downing, 2000). Коммунальные медиа имеют на редкость малое количество «точек пересечения» с доминантными медиа и другими организациями, использующими доминантный дискурс.

Мы вновь возвращаемся к четырем теоретическим подходам, которые не только дают возможность проанализировать коммунальные медиа, но и позволяют очертить другие доминантные дискурсы, существующие в сфере коммуникации, массовой информации, экономики, организационных структур, политики и демократии.

Первый подход делает упор на обслуживании интересов сообщества путем предоставления его членам горизонтальных каналов коммуникации. Но поскольку доминантный *дискурс* средств информации основан на *однонаправленной* коммуникации, предоставление членам сообщества возможности выйти за пределы этой ограниченной формы коммуникации на дает непосредственного эффекта, так как им не хватает того, что можно было бы назвать навыками двухсторонней коммуникации и интересом к данной форме коммуникации. Проблемы только усугубляется из-за воздействия доминантного дискурса на технологическое развитие. Это воздействие породило изобилие сложных технологий, ориентированных на

[1] «Организация Радиостанций для более Творческого использования Акустики». В нее входили «Radio Central», «Radio Katanga», «Radio Progress» и «Radio Scorpio». Первые две радиостанции с момента своего возникновения продолжают вещать без перерыва; «Radio Scorpio» недавно превкратило вещание после длительного периода (эфирного) молчания.

[2] «Ассоциация за Освобождение Эфира» («Association pour la Liberation des Ondes» - ALO). Веб-сайт - http://users.skynet.be/infomam/ALO.HTM).

однонаправленную коммуникацию при явном недостатке технологий, поддерживающих двухстороннюю коммуникацию.

Более того, концепция сообщества, которая лежит в основе идентичности коммунальных медиа, часто сводиться исключительно к географическому измерению. Когда в 70-е – 80-е годы появились первые коммунальные медиа, они были ориентированы на небольшие сообщества и местные проблемы, частично потому, что выступили в качестве альтернативы скорее *патерналистскому государственному медиа-дискурсу, направленному на конструирование национального (политического) единства.* Государственные средтсва массовой информации того периода могут быть описаны как «авторитарная система, наделенная сознанием» (Williams, 1976, p. 117), ориентированная на аудиторию как целостность. Как формулирует Уильямс, «патерналистская система транслирует ценности, привычки и вкусы, которые являются единственным оправданием существования правящего меньшинства, и которые оно желает распространить на все общество». В то время как государственные средства массовой информации обращались к нации как целому, коммунальные медиа защищали разнообразие и местные интересы. Из-за этого дискурса местных интересов и разнообразия коммунальные медиа были пойманы в ловушку и оказались в позиции местных средств массовой информации, рассчитанных на небольшую аудиторию, что постепенно привело к отказу от обслуживания интересов сообщества. В попытке выжить они поддались на соблазн копирования форматов коммерческих медиа.

Дальнейшее развитие второго подхода, представляющего коммунальные медиа как альтернативу доминантным медиа, привело к тому, что антогонистические отношения с доминантными медиа не только породили критическое отношение к обслуживанию гомогенной большой аудитории. Идентичность коммунальных медиа поставила их в антагоническое отношение к *либеральному медиа-дискурсу*, который набирал силу по мере того как дерегуляция и приватизация покончила с государственной монополией на вещание в странах Западной Европы. Само собой разумеется, что дерегуляция повлияла на общую политику в отношении средств массовой информации. Государственные и общественные вещательные корпорации стали стремиться к максимальному увеличению аудитории и принимать в расчет факторы, необходимые, чтобы выдержать рыночную конкуренцию и «лучше обслуживать аудиторию в условиях, когда их авторитет, долгое время считавшийся само собой разумеющимся, был подорван соперничеством с частными компаниями» (Ang, 1991, p. 31). Дальнейшее усиление либерального медиа-дискурса поставило коммунальные медиа в еще более невыгодную позицию. Небольшие, независимые, горизонтально структурированные организации, транслирующие не-доминантный дискурс и репрезентации, тем самым переосмысляя представления об объективности и нейтральности медиа, имеют мало шансов достичь финансовой и организационной стабильности. Отказ от рекламы как главного источника доходов делает их финансовое положение очень рискованным, так что временами они с трудом перебираются от одного финансового кризиса к другому.

Данное замечание представляется особенно уместным, если поместить антогонистические взаимотношения коммунальных медиа с государственными и коммерческими средствами массовой информации в контекст конкуренции: эти средства массовой информации пытаются превратить свои идентичности в гегемонистские за счет коммунальных медиа; а последним приходится платить за это. В таких случаях коммунальные медиа репрезентируются как непрофессиональные, неэффективные, неспособные заинтересовать большую аудиторию, и такие же маргинальные, как те социальные группы, которым она пытаются дать слово. Тем самым отрицается необходимость в альтернативе – предполагается, что доминантные медиа в состоянии выполнять все необходимые обществу функции.

Одним из главных следствий маргинализации альтернативы (или ее негативной репрезентации как наивной, малозначимой или поверхностной) является малое

политическое значение, которое придается всему, что считается «маргинальным», что еще более ухудшает положение коммунальных медиа. Подход к коммунальным медиа как к ризоме позволяет обнаружить связанную с этим угрозу, ставящую под вопрос само их существование. Эти медиа могут демонстрировать текучесть и случайность медийных организаций в противоположности ригидности и определенности государственных и коммерческих организаций. Но сама их «неуловимость» зачастую приводит к исчезновению «общей основы», на которой могла бы строиться политика. Недостаток очевидной «общей основы», объдиняющей и структурирующей коммунальные медиа как таковые, заметно усложняет деятельность организаций, представляющей эти медиа (напр., ВАКР) и в прошлом воспрепятствовал появлению общественного движения за создание коммунальных медиа.

Третий подход добавляет еще одну проблему к сложным отношениям между коммунальными медиа как частью гражданского общества, государством и рынком (как организациями). Коммунальные медиа не только стремятся максимально дистанцироваться от ориентации на (экономическую) эффективность, которая характера и для государства, и для рынка, они также сопротивляются текущему *политическому и демократическому дискурсам, все еще исходящим из репрезентативной функции политической элиты и (других) вертикальных типов организаций.* При обращении к внутренним проблемам коммунальных медиа, сразу же бросается в глаза, что они используют организационные дискурсы, которые делают упор на горизонтальной организации вместо вертикальной или иерархической. Иное понимание авторитета и лидерства поддерживает более диалогический и/или основанный на учете всех мнений способ принятия решений и большее демократическое участие. В результате коммунальные медиа опираются на концепцию демократии, которая признает политическое, почти не признавая политики. В то время как полика понимается как «образующая особую систему – политическую систему; ожидается, что она будет оставаться в рамках этой системы» (Stavrakakis, 1999, p. 73), «политическое не может быть ограничено определенным типов институтов, или представлено как образующее особую сферу или уровень общества. Оно должно быть понято как измерение, присущее любому человеческому обществу и определяющему онтологические условия нашего существования» ((Mouffe , 1973, p. 3).

В то же время следует подчеркнуть, что «заставить демократию участия работать» (если переосмыслить название одной из главных книг Патнэма – Putnam, 1993) – это очень сложная задача, требующая постоянного внимания. Горизонтально структурированные и ориентированные на участие членов сообщества организации вынуждены мириться с определенной степенью неэффективности, что временами делает их функционирование и достижение поставленных целей невозможными или приводит к извращению этих целей. Как отмечает Хельд, «вопрос о том, может ли участие само по себе привести к устойчивым и желаемым политическим результатом, является по меньшей мере спорным» (Held, 1987, p. 281).

Заключение

Исследование коммунальных медиа имеет давнюю теоретическую и эмпирическую традицию, которая пытается схватить их специфику. Из-за сложности и текучести их идентичности это оказалось очень сложной задачей. По этой причине мы предпочли мультитеорический подход, в котором эссенциалистские и релятивистские концепции сочетаются в рамках общей теории (политической) идентичности Лакло и Муфф. Ни один из четырех рассмотренных выше подходов, примененный по отдельности, не в состоянии дать удовлетворительное описание, поэтому мы утверждаем, что единственным способом учесть разнообразие, типичное для коммунальных медиа, является одновременное применение их всех.

Тем не менее особое внимание следует обратить на четвертый подход, в рамках которого метафора ризомы используется для того, чтобы радикализовать и унифицировать релятивистский аспект подходов с позиций с гражданского общества и с позиции альтернативных медиа, и сделать это с учетом критики, направленной против последнего. Использование ризомного подхода к коммунальным медиа имеет ряд несомненных преимуществ. Во-первых, этот подход (вместе с подходом с позиций гражданского общества) ориентирован на социоцентристский анализ медиа. Исследования средств массовой информации и коммуникативистика в целом изначально было ориентированы на медиацентризм, который, хотя и является до определенной степени оправданным, в то же время страдает редукционизмом, так как ведет к искусственному разделению средств массовой информации и общества.

Во-вторых, ризомный подход позволяет углубить анализ с позиций гражданского общества. Сложность и текучесть коммунальных медиа становятся их определяющим свойством, в противоположность более ригидным государству и рынку. Четвертый подход также выдвигает на передний план роль коммунальных медиа как точки пересечения общественных организаций и движений, которая связывает людей между собой.

И, наконец, ризомный подход позволяет преодолеть жесткое разделение, связанное с антогонистической позицией по отношению к доминантным медиа (второй подход) и к государству и рынку (третий подход). Коммунальные медиа до сих пор пытаются противостоять большому количеству доминантных дискурсов на коммуникативном, организационном и политическом уровнях. Ведя позиционную войну сразу на несколько фронтов, они оказались в очень тяжелом, уязвимом и изолированном положении. Выдвижение ризомного подхода на передний план расширяет возможности как для детерриториализации доминантных идентичностей, так и для сотрудничества с государственными и/или рыночными структурами. Детерриториализация может создать (дискурсивные) пространства для более гибких проявлений идентичности доминантных медиа. Различные типы партнерства и стратегические союзы могут дать коммунальным медиа (большие) шансы на выживание, при условии, что их независимость от других гражданских (не медийных) организаций, а также от государственных и рыночных структур будет в достаточной мере гарантирована.

Ризомный подход может помочь переходу к агонистическим отношения с доминантными медиа, рынком и государством путем отказа от антогонизмов, которые годами преследовали коммунальные медиа. Дальнейшее увеличение веса ризомы будет способствовать тому, чтобы коммунальные медиа смогли сочетать критическую позицию по отношению к доминантным коммуникативным, организационным и политическим дискурсам со стратегическими альянсами с представителями доминантного порядка, и тем самым обеспечивать продолжение своего существования и тех демократических дискурсов, которые ими транслируются.

Литература:

1. AMARC-Europe (1994) One Europe-Many Voices. Democracy and Access to Communication. Conference report, AMARC-Europe Pan-European conference of community radio broadcasters, Ljubljana, Slovenia, 15-18 September 1994. Sheffield: AMARC.
2. Ang, I. (1991) Desperately Seeking the Audience. London and New York: Routledge.
3. Berrigan, F. J. (1977) Access: Some Western Models of Community Media. Paris: Unesco.
4. Berrigan, F. J. (1979) Community Communications. The Role of Community Media in Development. Paris: Unesco.
5. Casey, E. (1997) The Fate of Place. Berkeley: University of California Press.
6. Clark, D. B. (1973) The concept of community: a reexamination, Sociological Review 21, pp. 397-417.
7. Cohen, A. P. (1989) The Symbolic Construction of Community. London: Routledge.
8. Cohen, J. and A. Arato (1992) Civil Society and Political Theory. London: MIT Press.

9. Couldry, N. (2000) The Place of Media Power. Pilgrims and Witnesses of the Media Age. London: Routledge.
10. Deleuze, G. and F. Guattari (1987) A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia. Minneapolis: University of Minnesota Press.
11. Downing, J. with T. V. Ford, G. Gil and L. Stein (2000) Radical Media. Rebellious Communication and Social Movements. London: Sage.
12. Escobar, A. (2000) Place, power, and networks in globalisation and postdevelopment, in K. G. Wilkins (ed.), Redeveloping Communication for Social Change. Theory, Practice and Power. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
13. Fraser, C. and E. S. Restrepo (2000) Community Radio Handbook. Paris: Unesco.
14. Girard, B. (ed.) (1992) A Passion for Radio. Montréal: Black Rose Books.
15. Gumucio, D. A. (2001) Making Waves. New York: Rockefeller Foundation.
16. Held, D. (1987) Models of Democracy. Cambridge: Polity Press.
17. Hollander, E. (2000) Online communities as community media. A theoretical and analytical framework for the study of digital community networks, Communications: The European Journal of Communication Research 25 (4), pp. 371-386.
18. Howarth, David (2000) Discourse. Buckingham and Philadelphia: Open University Press.
19. Husband, C. (1994) A Richer Vision. The Development of Ethnic Minority Media in Western Democracies. Paris: Unesco.
20. Jankowski, N. (1994) International perspectives on community radio, in AMARC-Europe, One Europe-Many Voices. Democracy and Access to Communication. Conference report, AMARC-Europe Pan-European conference of community radio broadcasters, Ljubljana, Slovenia, 15-18 September 1994. Sheffield: AMARC, pp. 2-3.
21. Janowitz, M. (1967) The Community Press in an Urban Setting. The Social Elements of Urbanism. Chicago and London: University of Chicago Press.
22. Jones, S. G. (1995) Understanding community in the information age, in S. G. Jones (ed.), CyberSociety; Computer-mediated Communication and Community. London: Sage, pp. 10-35.
23. Keane, J. (1998) Democracy and Civil Society. London: University of Westminster Press.
24. Laclau, E. and C. Mouffe (1985) Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.
25. Leunissen, J. (1986) ‘Community’ en ‘Community Development’ bij de Australische Aborigines, in M. Van Bakel, A. Borsboom and H. Dagmar (eds), Traditie in Verandering; Nederlandse Bijdragen aan Antropologisch onderzoek in Oceanie¨. Leiden: DSWO Press, pp. 57-82.
26. Lewis, P. (1993) Alternative media in a contemporary social and theoretical context, in P. Lewis (ed.), Alternative Media: Linking Global and Local. Paris: Unesco, pp. 15-25.
27. Lindlof, T. R. (1988) Media audiences as interpretative communities, Communication Yearbook 11, pp. 81-107.
28. Martin-Barbero, J. (1993) Communication, Culture and Hegemony. From the Media to Mediations. Newbury Park, CA: Sage.
29. McClure, K. (1992) On the subject of rights: pluralism, plurality and political identity, in C. Mouffe (ed.), Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community. London: Verso, pp. 108-125.
30. McNair, B. (1998) The Sociology of Journalism. London: Arnold.
31. Merton, R. K. (1968) Social Theory and Social Structure, enlarged edn. New York: The Free Press.
32. Morris, A. and G. Morton (1998) Locality, Community and Nation. London: Hodder & Stoughton.
33. Mouffe, C. (1997) The Return of the Political. London: Verso.
34. Mouffe, C. (1999a) Deliberative democracy or agonistic pluralism?, Social research 66 (3), pp. 745-758.
35. Mouffe, C. (1999b) Carl Schmitt and the paradox of liberal democracy, in C. Mouffe (ed.), The Challenge of Carl Schmitt. London: Verso, pp. 38-53.
36. Nostbakken, D. and C. Morrow (eds) (1993) Cultural Expression in the Global Village. Penang: Southbound.
37. O’Sullivan-Ryan, J. and M. Kaplun (1979) Communication Methods to Promote Grass-roots Participation. Paris: Unesco.
38. Pateman, C. (1972) Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
39. Prehn, O. (1991) From small scale utopism to large scale pragmatism, in N. Jankowski, Ole Prehn and Jan
40. Stappers (eds), The People’s Voice. Local Radio and Television in Europe. London, Paris and Rome: John Libbey, pp. 247-268.
41. Putnam, R. D. (1993) Making Democracy Work. Princeton: Princeton University Press.
42. Reyes Matta, F. (1986) Alternative communication: solidarity and development in the face of transnational expansion, in R. Atwoord and E. McAnany (eds), Communication and Latin American Society. Trends in
43. Critical Research 1960-1985. Madison: University of Wisconsin Press, pp. 190-214.
44. Rodriguez, C. (2001) Fissures in the Mediascape. An International Study of Citizens’ Media. Cresskill, NJ: Hampton Press.

45. Savio, R. (ed.) (1990) Communication, participation and democracy development, Journal of the Society for International Development 2, pp. 7-123.
46. Schmitt, C. (1980) Legalität und Legitimität, 3rd edn. Berlin: Duncker & Humblot.
47. Servaes, J. (1999) Communication for Development. One World, Multiple Cultures. Cresskill, NJ: Hampton Press.
48. Sjöberg, M. (ed.) (1994) Community Radio in Western Europe. Sheffield: AMARC-Europe.
49. Stavrakakis, Y. (1999) Lacan and the Political. London and New York: Routledge.
50. Thompson, J. B. (1995) The Media and Modernity. A Social Theory of the Media. Cambridge: Polity Press.
51. Tönnies, F. (1963) Community and Society. London: Harper & Row.
52. Verba, S. and N. Nie (1987) Participation in America. Political Democracy & Social Equality. Chicago: University of Chicago Press.
53. Walzer, M. (1998) The idea of civil society. A path to social reconstruction, in E. J. Doinne Jr (ed.), Community Works: the Revival of Civil Society in America. Washington, DC: Brookings Institution Press, pp. 124-143.
54. Wasko, J. and V. Mosco (eds) (1992) Democratic Communications in the Information Age. Toronto and Norwood, NJ: Garamond Press & Ablex.
55. Williams, R. (1976) Communications. Harmondsworth: Penguin.
56. Wray, S. (1998) Rhizomes, Nomads, and Resistant Internet Use. Retrieved January 2, 2002, from http://www.nyu.edu/projects/wray/RhizNom.html

Л.Г.Фишман

ДИСКУРС ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОСТМОДЕРНА

Что такое политический дискурс Постмодерна?

Можно ли представить его как нечто единое или, точнее, объединяющееся вокруг какой-то центральной идеи, аналогично идеологиям и утопиям Модерна или средневековым или даже античным политическим учениям?

Такая постановка вопроса подразумевает, что у каждой эпохи существует свой политический дискурс. Почему приходится ставить вопрос именно таким образом – о политическом дискурсе?

В эпоху Модерна такой проблемы не возникало. Исследователь эпохи Модерна, в котором господствовали идеологии и утопии, находил такие же идеологии и утопии в прошлом, либо же находил их аналогов и предшественников (протоидеологии). Идеологии Модерна привязывались к определенным социальным группам и их интересам.

Однако по мере заката Модерна понятия идеологии и утопии «испортились». Под утопией стали подразумевать вообще любое политическое учение, в котором присутствует радикальный разрыв между сущим и должным. Идеология же превратилась в преимущественно функциональное понятие: под ней стали подразумевать некую символическую структуру, предназначенную для осуществления социальной интеграции и воспроизводства социальных институтов. В этом значении под понятием идеологии могло скрываться вообще все что угодно вплоть до религии и мифологии. Показательно, что в то же самое время стало приобретать популярность понятие «политического мифа»: использовавшееся ранее почти только для анализа идеологий «тоталитарных режимов», оно со временем стало применяться и ко всем остальным политическим учениям. Причиной такой популярности стала та же функционализация и онтологизация понятия политического мифа, которая ранее произошла с понятием идеологии.

Таким образом, за рамками идеологического и мифологического подходов к изучению политической мысли остался очень широкий спектр явлений, которые закономерно приобретают маргинальный характер. Если идеология и миф понимаются исключительно как символические структуры, ориентированные на воспроизводство общества, то как, например, оценивать такие образцы политической мысли, которые стремятся к его изменению? Ведь слово «утопия» в силу своей нынешней бессодержательности ничего не объясняет. Можно использовать понятие «контрмифа», как это делает А.И.Кольев, но это исключительно негативное понятие, означающее

символическую структуру, которая препятствует воспроизводству социальных институтов в пользу торжества неких антинациональных сил.

Особенно болезненно такая понятийная брешь отражается на российской политической науке. По инерции используя слово «идеология» для квалификации образцов современной политической мысли (а чаще – партийных программ), мы теперь практически всегда оказываемся в щекотливой ситуации. Если мы понимаем идеологию в модерновом смысле (т.е. как политическое учение с отчетливо выраженной классовой основой и т.д.), то в современных российский политических «идеологиях» мы не можем обнаружить ни этой самой основы, ни характерного для модерновых идеологий рационализма и апелляции к авторитету науки, ни «историцистской» веры в прогресс и т.д. В том же случае, когда под идеологией подразумевается символическая структура, способствующая социальной интеграции, то дело обстоит еще плачевнее. Очевидно, что ни одна из российских «идеологий» такой функции не выполняет и не способна выполнить в принципе. Из этого достойного сожаления факта нередко делается следующий вывод: надо создать некую «общенациональную идеологию», которая и будет добросовестно выполнять свою интегративную функцию. Так считают и те, кому направление пореформенных преобразований в целом нравится и те, кто придерживается противоположной точки зрения. В соответствии современными (онтологизированными) представлениями об идеологии, «общенациональная идеология» должна склеить воедино наше расколотое общество. В соответствии же с пережитками модерновых представлений об идеологии, от общенациональной идеологии хотят еще и достаточно высокой степени мировоззренческого рационализма. В итоге, требуемой «идеологии» приписываются характеристики, скорее достойные религии, мифа, научной концепции и, вдобавок, великого этического учения. То, что никто до сих пор не смог решить таким образом поставленную задачу, свидетельствует о неадекватности современному положению дел как самого понятия идеология, так и понятия «общенациональная идеология в частности».

Поэтому назрела необходимость отказаться от понятия идеологии, которое совсем не помогает ни выяснить чего же мы все-таки хотим от наших политиков и политических мыслителей, ни вообще адекватно описать с чем мы имеем дело в современной нам реальности. Требуется понятие с более скромными, чем у «идеологии» амбициями, более нейтральное, менее онтологизированное и менее ассоциирующееся с эпохой, которая уже миновала – с Модерном.

Таким требованиям удовлетворяет понятие политического дискурса, если под дискурсом понимать целостную совокупность функционально организованных единиц языка. «Политический дискурс» - это гораздо менее амбициозное понятие, нежели «идеология», поскольку не претендует на выявление некоей онтологической сущности всех типов политической мысли сразу. Когда мы говорим о политическом дискурсе, мы не подразумеваем, что любой политический дискурс непременно обладает определенными функциями (вроде социальной интеграции), которые роднят его с другими политическими дискурсами. Политический дискурс мыслим только во множественном числе и различные типы политических дискурсов, обнаруживаемые как в рамках одной, так и в различных эпохах, исполняют различные функции. Единственное, что можно сказать о политическом дискурсе вообще, это то, что он представляет собой специфический образ мышления и ориентирован на достижение характерных для него целей.

Как это следует понимать?

Под «образом мышления», характерным для того или иного дискурса, мы подразумеваем отношение к истории, сущности общества, социальным группам, способам решения социальных проблем, природе человека и т.д. – т.е. спектр тех интеллектуальных стратегий, в которых выражается определенный тип рациональности. Этот тип рациональности может быть общим для многих или даже большинства политических дискурсов данной эпохи и общества или же быть маргинальным. Нередко он обладает и

жанровой спецификой – склонностью прибегать к языку трагедии или комедии, сатиры или романа использовать метафору или иронию и т.д.

Ориентация на достижение характерных для данного политического дискурса целей означает, что политические дискурсы могут склоняться либо к критике и изменению существующего порядка вещей, либо преимущественно к объяснению общества, либо к его сохранению и т.д. Используя аналогию с идеологиями Модерна, цели могут радикальными, анархическими, консервативными, либеральными и т.д.

Применив описанное таким образом понятие политического дискурса к истории политической мысли, мы получим гораздо более дифференцированную картину, чем «идеологическая» или «политико-мифологическая». Мы обнаружим, например, что политические учения античности лишь с огромной натяжкой можно анализировать как аналоги идеологий 19 или 20 века, что политическая мысль Просвещения отнюдь не является всего лишь предварительной ранней стадией политической мысли Модерна, или что Ренессанс в области политической и исторической мысли во многом является скорее аналогом Постмодерна с его разочарованием в метарассказах.

Так же, как и предшествующие ему эпохи, Постмодерн не имеет какого-то единого, выражающего его лицо политического дискурса. Речь может идти скорее о констелляции политических дискурсов Постмодерна вокруг некоего ядра.

Что подразумевается под таким ядром?

Здесь придется вновь прибегнуть к аналогии с идеологиями Модерна. Несмотря на все многообразие, основные из них имели ряд сходных характеристик.

Во-первых, все «большие» идеологии изначально претендовали не просто на рациональность, а на *научную рациональность.* Подразумевалось, что те или иные политические программы являются не просто выражением частного или группового интереса, а результатом адекватного постижения социальной реальности, законов истории и общества.

Во-вторых, появление идеологий было немыслимо без оформившегося к началу XIX века совершенно нового ощущения тотальности исторического процесса, в котором история вновь, - после крушения христианской концепции истории, а затем и выявления «иронической» беспомощности позднего Просвещения в данном вопросе – получала цель и смысл. Иными словами, идеологиям был присущ историцизм.

В-третьих, идеологии появились на свет с конкретной целью. Они были предназначены для осуществления двусторонней связи между властью и массами не в любом обществе и государстве, а в тех из них, в которых наличествовали институты представительного правления (демократии) и, таким образом, сформировалась сфера публичной политики. Политические деятели были должны формулировать свои предложения на рациональном языке той или иной идеологической доктрины. Таким образом, массы получали возможность непрерывно «тестировать» своих избранников на соответствие канонам той или иной идеологии, разговаривать с ними на общем языке, уличать их в «неверности» или, напротив подтверждать их преданность классу или партии.

Четвертым критерием идеологии следует, по-видимому, назвать ее денотативность. Под денотативностью мы понимаем отнесенность понятий той или иной доктрины к неким реально существующим социальным феноменам, начиная классами и их интересами, нациями и заканчивая какими-либо объективными процессами, происходящими в сфере экономики, науки, культуры, техники и т.д. Строго говоря, денотативность не является специфической принадлежностью только идеологий как феноменов Модерна; ею обладают все политические учения, черпающие свой материал из более или менее устоявшейся социальной реальности. Но в эпоху Модерна денотативность имеет одну специфическую черту, которую необходимо отметить особо: она является выражением не просто реалистичности, а *научной реалистичности;* отсылка к реальности приобретает характер поиска подтвержденной эмпирикой закономерности.

Таково констеллятивное ядро Модерна, которое мы описали достаточно подробно потому, что аналогичное ядро Постмодерна лучше всего выявляется в сравнении с именно ним (В конечном счете, Постмодерн это ведь эпоха, наследующая Модерну). Данная подобным образом характеристика констеллятивного ядра помогает составить общее представление о том, как выглядят доминирующие политические дискурсы той или иной эпохи.

Естественно, что для выявления констеллятивного ядра Постмодерна требуется перечислить и кратко охарактеризовать явно доминирующие в эту эпоху политические дискурсы. С нашей точки зрения можно выделить следующие разновидности политических дискурсов Постмодерна:

Прежде всего, это неолиберальный и оппонирующие ему дискурсы глобализма.

Определяющим в дискурсе глобализации следует считать, вероятно, понятие рынка. Это дискурс, в котором отчетливо выражено стремление вытеснить категории политического экономическими. «Законы истории» в нем если не вытесняются «законами рынка», то сводятся к ним. Главным критерием успешной экономической, технологической, социальной политики объявляется эффективность. Из этого вытекает представление, что в скором будущем мировой рынок подчинит себе все сферы человеческой жизни, что национальные государства утратят свое влияние и что человек, если он только будет удовлетворять законам рынка, превратится в не имеющего родины «номада», а судьба всех прочих будет довольно плачевной.

Наиболее часто встречающейся реакцией на триумфальное шествие глобалистского дискурса является, как удачно выразился У.Бек, распространение трех видов протекционизма: черного, красного и зеленого. Они в такой же мере являются частью доминирующего глобалистсткого дискурса, в какой, например, консерватизм являлся частью доминирующего либерально-социалистического дискурса Модерна.

«Странность здесь в том, - пишет У.Бек, - что таким образом понимаемый глобализм подчиняет своему влиянию и собственных оппонентов. Существует не только *утверждающий*, но и *отрицающий* глобализм, который, будучи уверенным в неотвратимом господстве мирового рынка, спасается в различных формах протекционизма:

черные протекционисты оплакивают распад ценностей и ослабление национального начала, но, противореча самими себе, занимаются неолиберальным разрушением социального государства;

зеленые протекционисты видят в национальном государстве отмирающий политический биотоп, защищающий экологические стандарты от вторжения мирового рынка и поэтому, в свою очередь, нуждающийся в защите;

красные протекционисты уже на всякий случай стряхивают со своих одежд пыль классовой борьбы; глобализация для них – всего лишь подтверждение их «правоты». Они радостно отмечают праздник возрождения марксизма. Но это утопическая, слепая правота»[1].

Характерно, что все три этих вида протекционизма У.Бек считает «ловушками глобализма».

Надо отметить, что расстановка политических дискурсов Постмодерна, нарисованная Беком в ракурсе понятия глобализма, не может претендовать на всеохватность, хотя и точно описывает наиболее важные постмодернистские политические дискурсы. Но это – политический Постмодерн в европейско-американском исполнении. Не трудно заметить, что, например, для России, эта картина будет верна только частично. Тем не менее, влиятельные аналоги описанных Беком протекционизмов можно обнаружить и у нас. Красная и черная разновидности протекционизма представлены в российском политическом спектре с той лишь разницей, что возникли они

---

[1] У.Бек. Национальное государство утрачивает суверенитет // Настольная книга антиглобалиста. – М.,2004. – с.49.

у нас на несколько иной идейной основе, чем их западные собратья. В России эпоха Постмодерна и глобализации так же, как и на Западе пробудила к жизни домодернистские политические дискурсы, склонные апеллировать к традиции. У нас среди таковых самыми влиятельными являются дискурсы западничества и славянофильства (почвенничества), возникшие тогда, когда Россия еще только готовилась встать на широкую дорогу Модерна. И они отнюдь не являлись идеологиями модернового типа.

Западничество и почвенничество с самого своего зарождения представляли собой идейные феномены существенно иного рода. В сравнении с классическими идеологиями Модерна они представляются *бессубъектными*. Это не значит, что в философско-политических построениях западников и славянофилов вообще не было субъекта или чего-либо, призванного выполнять его функции. Но в сравнении с социальными субъектами западных идеологий они были гораздо менее денотативными.

Денотативными субъектами идеологий Модерна являются классы и нации. Они осязаемы, они перекраивают общество и творят историю. К ним обращаются ученые и политики. У русских же славянофилов вместо наций были культуры, «культурно-исторические типы». Наши почвенники предпочитали писать о России и Европе, о византизме и славянстве, а не о нациях и классах. Если считать славянофилов (почвенников) аналогом западных правых, то им всегда не было к кому обратиться. «Культурно-исторические типы» не выходят на улицы, не совершают революций и не имеют интересов, кроме тех, которые им приписывают философы.

У русских же западников единственным более или менее реальным субъектом социальных процессов, к которому можно было обратиться, являлась образованная часть общества (позже – интеллигенция). Это было нечто более осязаемое, чем «культурно-исторический тип», но недостаточно влиятельное, чтобы стать определяющим субъектом исторического процесса. Западникам оставалось апеллировать к законам истории, которые были призваны работать в их пользу, к власти, ожидая от нее реформ, или, в радикальном варианте - к народу.

В западничестве и почвенничестве общество как целое в последнюю очередь представляет интерес как система, совокупность групп и институтов, «руководимая» тем или иным классом. Оно является, прежде всего, неким культурным и цивилизационным феноменом, обладающим своей идентичностью. Вопрос об идентичности, о приобретении Россией «своего лица» был центральным уже в работах человека, стоявшего у истоков западнического-почвеннического противостояния – Чаадаева[1]. «Идентичность» является основным предметом многолетнего спора между западнической и почвеннической традициями. Что есть Россия – Запад, Восток, Европа, Азия или нечто третье? Каковы наши специфические особенности, отличающие нас от всех прочих народов в области ценностей и норм? Эти и другие им подобные вопросы являются основными в споре между западничеством и почвенничеством.

Речь в таком споре чаще всего идет о неких качествах и сущностях, которые нередко исключают друг друга, будучи взяты в чистом, категориальном виде. Спор между западниками и почвенниками поэтому как нельзя больше является столкновением двух «истин». Истолкование истории, как отечественной, так и мировой, является основным полем, на котором состязаются западничество и почвенничество. Но такой интерес к истории имеет мало общего с историцизмом ряда классических идеологий Модерна: история рассматривается преимущественно как процесс, в котором наиболее рельефно проявляется торжество «истины вещей», т.е. развертываются российская и западная идентичности. В событиях и в институтах обнаруживается прежде всего проявление (или отсутствие) российской идентичности. Соответственно, любая претендующая на последовательность западническая или почвенническая концепция так или иначе подстраивает под свое понимание идентичности истолкование исторических и

[1] см. об этом подробнее: Дегтярева М.И. «Особый русский путь» глазами «западников»: де Местр и Чаадаев // Вопросы философии № 8, 2004 – с.97-106.

социологических фактов. Но в глазах оппонента такое целостное истолкование выглядит как «миф», требующий разоблачения. Поэтому главным оружием в борьбе между западниками и почвенниками изначально являлась стратегия демифологизации, характерная скорее для мысли Просвещения, а не Модерна.

Вот на этой, западническо-почвеннической основе и выросли в современной России аналоги дискурса глобализма, а также его противников - красного и черного видов протекционизма. Естественно, борьба между ними сразу приобрела характер столкновения мифов. Старому западническо-либеральному мифу о возвращении России на магистральный путь исторического развития (в данном случае – путь рынка и демократии) были противопоставлены столь же старые славянофильские мифы о сохранении историко-культурной преемственности. Наследственность оказала свое влияние: наш красный протекционизм отнюдь не чужд риторике национально-культурной идентичности, а наш черный протекционизм нередко готов видеть в наследии советского периода проявление ее же (идентичности) характерных черт.

Несмотря на то, что противоборствующие мифы западничества и почвенничества, казалось бы, принципиально исключают друг друга, в политической жизни они в действительности друг друга дополняют. Это обусловлено тем, что оба в своей нынешней ипостаси исключают социальный эксперимент, предпочитая ориентироваться либо на «мировые стандарты», либо на уже опробованные в отечественной истории политические и экономические практики. Западный дискурс Постмодерна еще со времен «культурной революции» 60-х вступил на путь метафизического отказа от экспериментирования – прежде всего от экспериментирования человека над собой. Такого рода эксперименты стали восприниматься как дурное наследие репрессивной культуры прошлого: теперь от человека стало достаточным лишь следовать своей природе, «быть самим собой». Из этого метафизического переворота произошел длиннейший ряд следствий: в частности, «быть самим собой» в культурном и цивилизационном плане в конечном счете стало и лозунгом разного рода протекционистов. И наши черно-красные протекционисты здесь не оказываются исключением, тем более что всегда могут формально сослаться на своих славянофильских предшественников. И у нас «таким образом понимаемый глобализм подчиняет своему влиянию и собственных оппонентов».

Сходство между российскими и западными протекционизмами, таким образом, не исчерпывается только тем, что обе разновидности подчинены влиянию доминирующего неолиберального дискурса глобализма. Центральная в западничестве и почвенничестве проблематика культурно-цивилизационной и национальной идентичности имеет для других стран не меньшее значение. С.Хантингтон, называя в числе таких стран Японию и Иран, Сирию и Бразилию, Германию и Англию, Мексику и Турцию, Китай и США, утверждает, что «кризис национальной идентичности наблюдается повсеместно, то есть носит глобальный характер»[1], хотя в каждом отдельном случае он порожден специфическими факторами. Риторику национально-культурной идентичности с успехом применяют не только протекционисты правого толка, но и сторонники общеевропейской идентичности, и разного рода религиозные фундаменталисты, которые видят в сохранении веры предков важнейшее условие сохранения милых их сердцу национально-культурных общностей. Различные этнические меньшинства используют утверждение своей групповой идентичности для разрушения национально-культурной идентичности страны, где они проживают (как, например, мексиканцы в США или исламские фундаменталисты в Турции). Их оппоненты отвечают на это призывами возродить разрушаемую идентичность путем культивации утрачиваемых моральных и религиозных ценностей. Разрушение привычной европейской (американской, русской и т.д.) идентичности видится как следствие какого-то всемирного заговора национальных

[1] С.Хантингтон. Кто мы? – М.,2004. – с. 35-36.

меньшинств, левых радикалов, космополитичных транснациональных корпораций (и т.д., добавить по вкусу).

Что объединяет доминирующий неолиберальный дискурс Постмодерна и его оппонентов? Или, возвращаясь к первоначальной формулировке вопроса, какие черты отличают констеллятивное ядро политических дискурсов Постмодерна?

Доминирующий неолиберальный дискурс, в сущности, не имеет своего метарассказа, подобного тому, который имел его либеральный предшественник. В основе старого либерального метарассказа находилось понятие прогресса. Это был прогресс и в науке, и в искусствах, и в нравах, и в политических и социальных институтах. Это был прогресс человека, его самосовершенствование. Итогом виделась грандиозная цивилизация будущего, в которой человек овладеет природой и невиданно расширит свои возможности. Современный неолиберализм, в силу своего вульгарного экономизма» озабочен другим – прибыльностью и эффективностью. Обращенный в историю, такой взгляд находит там только приобретения одних и убытки других. Отсюда – уплощенность исторического сознания неолиберализма, навязанная им и своим оппонентам. Историческое мышление Постмодерна отказывается от «метанарративов», придающих истории и смысл, и разумность, и ему не остается ничего, кроме как объяснять исторические события заговорами, злым или добрым умыслом, ошибками политических деятелей и т.д. Мышление Постмодерна не верит в прогрессистские, эволюционистские, классовые и прочие подобные версии истории, считая их символическим оформлением господства правящих кругов, или элиты отмирающей миросистемы капитализма, или Запада, или глобалистов, или жидомасонов, или всемирного заговора левых против традиционной культуры Европы, или заговора мужчин против женщин и т.д. ***История теперь представляется как, с одной стороны, нечто всегда написанное в чьих-то интересах, а с другой – как символическое оформление господства (или, иначе говоря, миф, вдалбливаемый в голову массе манипуляторами-политтехнологами). Рикошетом это представление бьет и по авторитету наук об обществе, которые не могут строить своих объяснительных схем без обращения к историческому материалу. В итоге, на месте утраченного метарассказа (мифа), торжествует плоский рационализм и примитивный психологизм.***

Не трудно заметить, что антитеза прибыли и убытка со всеми вытекающими из нее следствиями является обратной стороной проблематики идентичности, поднятой на щит как неолибералами, так и протекционистами. ***История и современность видятся как борьба культурных идентичностей***, как торжество одних идентичностей и ущемление других. Это понимание накладывает свой отпечаток на отношение к религиозной вере. Несмотря на то, что в последние десятилетия наблюдается явный подъем религиозности как на Востоке, так и на Западе, религиозное содержание в нем подчинено все той же центральной теме культурной идентичности. Религия – прежде всего основа чьей-то культуры: из этого понимания вытекает современный мусульманский или христианский религиозный фундаментализм.

Далее, история, понимаемая как борьба культурных идентичностей, подразумевает постоянное соперничество воль, некоторые из которых представляются однозначно злыми. Отсюда проистекает ***постоянный поиск заговорщика***, которым может быть «номад», «вненациональный субъект», «транснациональные корпорации», «международный терроризм» и т.д. Заговорщик – аналог «классового врага» в марксизме, «реакционных сил» в понимании идеологов эпохи Модерна и в целом, занимает место субъекта социальных трансформаций. Однако, у заговорщика за душой нет никакой исторической миссии, пусть даже и неверно понимаемой, он ***субъект не исторического процесса, а проводник личных и узко-групповых интересов***. Заговорщиков ищут, когда утрачивают веру в то, что у истории есть цель и что история человечества, в общем, представляет собой прогресс его разумности. Без этой веры история обществ является картиной торжествующего своекорыстия и цинизма, глупости и пошлости, где сильные и

хитрые, спекулируя на невежестве и слабости прочих, навязывают им свою волю. Рациональность, конечно, не уходит полностью из общества и истории, но имеет только инструментальное значение.

Наконец, для политических дискурсов Постмодерна характерна ***симулякровость мышления***. Политические публицисты и политтехнологи нередко в своих целях обращаются к идеологическому наследию эпохи Модерна. Так поступают и неолибералы, и все разновидности протекционистов. Но в условиях, когда реальные денотаты этих идеологий – классы и нации – утрачивают свое влияние, такое обращение к идейному наследию Модерна может быть только символическим. Идеологии, вроде фашизма и коммунизма, потеряв свое социальное основание (вроде «пролетариата» или «мелкой буржуазии») теперь соотносятся только друг с другом. В этом своем отношении они теперь представляют собой элементы красочных политических мифов, которые рассказываются для того, чтобы пробудить в аудитории определенные эмоции. Былого авторитета объективного научного разума, к которому апеллировали классические идеологии, уже недостаточно, чтобы овладеть сознанием миллионов, но нарратив, опирающийся на известные и близкие массам исторические события может производить большое впечатление. Следует заметить, что, идеология выступает не столько в качестве основы, вокруг которой складывается политический миф, сколько в качестве элемента социальной реальности, равноправного по значению любому историческому событию. Она сама есть один из тех эмоционально и символически насыщенных исторических фактов, к которым неравнодушно сознание современного человека. Имеющая значение уже только в историческом контексте и не располагающая непосредственной связью с современной реальностью, идеология в эпоху Постмодерна приобретает статус одного из символов, входящих в конструкцию политического мифа.

Таково, в первом приближении, констеллятивное ядро политического Постмодерна. Его без труда можно обнаружить в основании практически любого влиятельного политического дискурса нашего времени. Суждена ли этому ядру долгая жизнь – отдельный вопрос, который выходит за рамки нашего исследования.

И.Б. Фан

МНОГООБРАЗИЕ ДИСКУРСОВ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА СМЫСЛА

Гражданственность на первый взгляд представляется неким самоочевидным явлением, вызывающим у множества постсоветских людей что-то вроде идиосинкразии. Но за кажущейся ясностью скрывается неопределенность, разноликость и отсутствие рефлексии над представлениями о данном явлении. Многообразие проявлений гражданственности обусловлено спецификой социокультурного контекста и исторической ситуации, институциональным статусом, ментальностью и идеологией социальных субъектов, носителей данного качества, этническим, религиозным и другими факторами. Идеологически мимикрируя, современный дискурс гражданственности предстает целым спектром исторически меняющихся версий.

Либеральный дискурс гражданственности в контексте представлений об универсальности западной цивилизации (Ф. Фукуяма) длительное время выступал в качестве нормативного образца для модернизирующихся стран. Совокупность принципов классического либерализма представляет собой раннюю версию данного дискурса. «Гражданская добродетель» считалась свойством индивидов, вовлеченных в деятельность неполитического гражданского общества, дистанцированного от государства. Её публичный характер был детерминирован политическим влиянием общественного мнения, создаваемого «образованной публикой» как цивилизованной

частью общества, отождествляемой с «гражданским обществом». Публика XVIII – начала XIX в. продуцировала и транслировала особый тип гражданской культуры (гражданственности), необходимый для формирования и функционирования системы представительной демократии. Гражданская культура характеризовала и индивида как члена образованной публики, и саму публику («либеральное сообщество») посредством понятия «цивилизованности» (civility). Это состояние представлялось комплексом социальных качеств личности и сообщества. Социальный вектор цивилизованности включал практически ориентированную рациональность – здравый смысл, социальную (и, прежде всего, религиозную) толерантность, приверженность принципам равноправного сотрудничества в принятии общезначимых решений, готовность к практической реализации данных принципов, способность к компромиссам и социальному согласию в разрешении конфликтов между частными интересами. Индивидуальный вектор цивилизованности складывался на основе комплекса личной свободы, или автономии личности (моральной, экономической, политической, правовой), подразумевающей стремление к творческому самовыражению личности в индивидуализированных формах. Воплощение этого типа гражданственности требовало автономной институциональной среды – различного рода самодеятельных организаций, опосредующих взаимодействия индивида и государства.

В современном либерализме дискурс гражданственности, сохраняясь лишь на периферии обсуждаемой проблематики, в целом поддерживает идеи либеральной классики. К концу XX в. либерализм утратил свою инновационную силу, центральной для него стала проблема совершенствования либерально-демократических институтов и конституционных условий обеспечения «духа свободы». Э. Геллнер, развивая идею «модульного человека», фактически утверждает его производность от специализированных инструментальных связей, формируемых гражданским обществом. Характеристиками «модульного человека» являются мобильность, способность «входить во временные союзы со временными целями», соединение индивидуализма и эгалитаризма, обладание «частной собственностью как институциализированным эгоизмом», личным мнением, ответственностью, гибким стилем мышления, культурной однородностью с согражданами, способностями к всеобщей коммуникации и «освященному обычаем компромиссу между благоразумной верой и благонамеренным скепсисом», набором стандартных способов выражения и восприятия действительности, инструментальным взглядом на власть, «функционально прагматическим равноверием», самоиронией и самокритикой, признанием законов, верностью определенным ценностям и обязательствам, идеалам труда и бережливости[1]. Фактически это образ современной функциональной гражданственности, умеренной, релятивистской, способной обеспечить условную легитимность власти.

Теоретики современного либерализма отказываются от нормативности концепции гражданской культуры и анализируют преимущественно эмпирические аспекты поддержания институциональных условий, без которых невозможна свободная практическая реализация человеком своих способностей (Т.Х. Грин). О некотором ценностном выхолащивании исходного дискурса гражданственности свидетельствуют позиции Дж. Роулза и Б. Анкермана, согласно которым либерализм должен стать «ценностно нейтральным», техническим способом защиты индивидуальной свободы. По мнению их оппонентов У. Галстона и М. Уолцера, именно нормативное содержание либерализма (ценности гуманности, терпимости, солидарности, справедливости и т.д.) составляет культурную основу практического функционирования либеральных институтов и предохраняет общество от падения в беспредельный моральный релятивизм, чреватый пагубными политическими последствиями[2]. Разные оттенки

[1] Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. М., 1995. С. 111, 113, 148, 155

[2] Капустин Б.Г. Либерализм// Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Т.2. Москва: «Мысль», 2001. С. 393

гражданственности показывает дискуссия между «экономическим» и «этическим» либерализмом. В первом гражданственность совпадает с буржуазностью, поскольку к частной собственности, по мнению Л. фон Мизеса, фактически сводится вся программа либерализма. В «этическом» либерализме подчеркивается историческая изменчивость и неоднозначный характер связи ценности свободы (основы добродетели гражданина) и частной собственности. Сам факт возникновения сомнений в необходимости ценностного содержания гражданственности в качестве основы институционального порядка говорит о релятивизации этоса гражданина. В радикальном крыле либерализма акцентируется нонконформистская направленность «гражданской добродетели», заключающаяся в способности граждан открыто противостоять социально-культурной и институциональной статике общественного порядка[1]. На необходимость корректировки современного состояния общества и государства указывает и рациональный его анализ, и инстинкт «цивилизованной гражданственности» (Г. Мейер), обусловленный контекстом либерального сообщества и собственным развитием личности.

Коммунитаристская версия гражданственности складывается в контексте критики реализовавшегося в XX в. в США проекта неолибералов – государства всеобщего благосостояния. Вертикально ориентированная патерналистская система социального обеспечения и масштабного государственного вмешательства в экономику и другие сферы общества подрывает самостоятельность местных сообществ. Коммунитаристы-радикалы такому обществу предрекают тоталитарное будущее. Способом предотвращения этой угрозы для них является активизация гражданского общества, возрождение традиций и идеалов республиканизма - стимулирование самоуправления и общественной самоорганизации местных гражданских сообществ и восстановление «гражданской добродетели» в духе раннеамериканских республик-коммун. Демократический тип гражданской культуры отличает практическая нацеленность на усвоение опыта участия в деятельности локальных сообществ, традиций коммунального взаимодействия и партнерства, ориентация на ценности христианской морали, преобладание коммунитарных ценностей над индивидуальными, гражданское достоинство и социальную ответственность (М. Уолцер, Д. Эберли). Контекст современности добавляет в «старые меха» коммунитаристской гражданственности идеалы борьбы с «деструктивными» идеями либерального рационализма и индивидуализма.

Значимость эгалитарных начал в демократической политической культуре подчеркивает Р. Даль. Демократические убеждения и политическую культуру он относит к первостепенным благоприятным условиям существования демократических институтов. Важнейшим элементом данной культуры, раскрывающим смысл демократии как политического равноправия, по его мнению, является гражданская компетентность. Все остальные преимущества демократии – свобода личности, слова, информации и др., обеспечивают социальное и политическое признание компетентности гражданина, его способности к полноценному участию в осуществлении власти. Гражданская компетентность подразумевает знание идеальных стандартов и эталонов демократии, понимание происходящего, основанное на информированности, способность к осуществлению контроля за повесткой дня, включенность в жизнь общества, «способность к здравому и мудрому суждению об общих делах», знание обо всем объеме гражданских и политических прав и умение их отстаивать, умение осуществить выбор приоритетов при принятии важнейших политических решений, «способность править собой». В основу законов и институционального порядка должна быть положена презумпция равной

[1] Гончаров Д.В. Нормативная дискуссия о гражданском обществе: основные направления [WWW-сайт]: htpp: // www.oimsla.eda.ru/pubs/f18n73.rtf.

компетентности граждан[1]. Общественное и государственное признание гражданской компетентности и предоставление возможностей для ее проявления помогают гражданину достичь полноты прав, связанных с гражданством, способствуют осуществлению реальной демократии. Сходный образ гражданственности дает Р. Патнэм[2].

В европейском неоконсерватизме проблематика гражданской культуры поднимается в связи с критикой социал-демократической версии государства всеобщего благосостояния. Этатистский характер и авторитарные тенденции политики такого государства создают условия для обособления общества и его политической организации, следствием чего становится утрата государством легитимности. Средством преодоления данных проблем для неоконсерваторов является возрождение нормативного идеала гражданского общества и либеральной гражданской культуры - европейского экономического, социального и культурного уклада рыночного общества, основанного на приоритете элитарных начал над эгалитарными. В гражданственности подчеркивается элемент социальной и политической ответственности, базирующейся на преемственности традиций, обычаев и привычек гражданской культуры прошлого («демократии мертвых» - Р. Керк), «укорененности» их в настоящем, а также антиутопичность установок, стремление к балансу между традицией и новацией, индивидуализмом и коллективизмом в социально-политической практике в сфере неполитических промежуточных институтов гражданского общества[3].

Постмарксистский дискурс разворачивается в контексте критики государственно-бюрократической машины, разросшейся в условиях государства всеобщего благоденствия, а также тенденций поглощения общества глобальными институциональными структурами международной экономики («глобальной системой политического господства»). Культура гражданственности рассматривается постмарксистами как сочетание антикапиталистических и антимодернистских установок политического действия и включает оппозиционную настроенность (в радикальном варианте - революционность) по отношению к институтам централизованной экономики (транснациональным корпорациям), готовность к активным «неклассовым формам коллективного действия», осуществляемым в рамках добровольных ассоциаций, а также правовых и публичных институтов общества, включая международные[4].

В современном политическом дискурсе проблемы либерально-демократической политической культуры (гражданственности) анализируются в терминах гражданства и идентичности. Обострившееся с середины 1990-х годов внимание гуманитариев к проблемам гражданства обусловлено не только процессами миграции и необходимостью совершенствования механизмов приобретения гражданства, но и потребностями политической науки, связанными с обнаружением зависимости функционирования современной демократии от «качества» граждан, от их

---

[1] Данная презумпция Р. Даля гласит: «… большинство совершеннолетних, психически здоровых граждан достаточно компетентны, чтобы принимать участие в управлении государством» (Даль Р. О демократии/ Пер. с англ.. М.: Аспект-Пресс, 2000. С.75)

[2] Р. Патнэм характеризует гражданственность как «дух великодушия», исторически выработанное гражданское сознание, опыт и традиции гражданского участия в органах местного самоуправления и добровольных ассоциаций (местных «комьюнити»), ориентация на ценности и нормы взаимного доверия и коллективных действий. «Нормы всеобщей взаимности» для Р. Патнэма - это один из элементов «социального капитала» гражданского общества – социальных сетей гражданского участия, способствующих координации коллективных действий, коммуникации между людьми, поддержанию репутаций, материализации прошлых успехов гражданских объединений и т. д (Патнэм Р. Процветающая комьюнити, социальный капитал и общественная жизнь // МЭиМО. 1995,№4.С. 78-80)

[3] Абелинскас Э.Ю. Консерватизм как мировоззренческий стиль эпохи постмодерна. Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. политич. наук. Екатеринбург, 1997. С. 12-13

[4] Коэн Дж., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. Пер. с англ. / Общ. ред. И.И. Мюрберг. М.: Издательство «Весь мир», 2003. С. 576

политической культуры. Оказалось, что концепция гражданства фокусирует в себе целый пласт теоретических и практических проблем, поскольку данное понятие описывает «формальное отношение между «базовыми единицами» современной политики - государством и индивидом», и показывает и статические, и динамические аспекты политики[1].

Сомнению подвергается «универсализирующая» функция института гражданства. Это связано с тем, что с конца XX в., в западных странах активизировались «новые социальные движения», требующие «признания идентичности» подчиненных меньшинств, обладающих расовыми, этническими, религиозными, гендерными и т.п. культурными отличиями от большинства населения. Идеологи этих движений обратили внимание на то, что именно культурные различия детерминируют такую реализацию прав и свобод, связанных с институтом гражданства, которая порождает систему социального неравенства, ущемленность интересов членов подчиненных групп. Культурный партикуляризм с характерным для него требованием «политики различий» («политики идентичности», «мультикультурализма», «дифференцированного гражданства», «особых прав меньшинств» и др.) ставит перед необходимостью исследования правомерности притязания либеральных демократий на универсальный характер института гражданства. Несмотря на распространение в мире, институт гражданства является продуктом западноевропейской культуры, его функционирование опирается на уникальное сочетание свойств ряда национальных культур европейских государств, т.е. на локальную политическую культуру.

Обзор позиций, рассматривающих институт гражданства в каком-либо одном аспекте, приводит к выводу, что данный феномен обладает по крайней мере тремя измерениями: 1) институциональным, фиксирующим момент статики данного явления, 2) деятельно-практическим, или динамическим и 3) ментальным, показывающим источник воспроизводства и динамики гражданства, заключающийся в ценностных установках и мотивах деятельности индивидов, обусловленных культурой. Как политико-правовой институт гражданство есть устойчивая правовая связь между индивидами и государством, выражающаяся в наличии взаимных прав и обязанностей. В деятельностном аспекте гражданство выступает как «совокупность институционализированных социальных практик» (М. Сомерс), осуществляемых индивидами. Ментальный аспект гражданства – это его измерение со стороны культуры, формирующей основу ценностного единства членов политического сообщества, основу осознания и переживания этого единства в качестве особой идентичности. Ментальный аспект включает, следовательно, еще и социально-психологическое измерение. Гражданство фиксирует и отношения между индивидами и государством, и практическую деятельность, направленную на поддержание или ликвидацию данного состояния отношений, и комплексное многоуровневое качество субъектов деятельности и отношений, включающее ментальные формы, ценностно мотивирующие и побуждающие данных субъектов к социальным действиям определенного типа и направленности. Все аспекты гражданства взаимосвязаны между собой и оказывают воздействие друг на друга. Институт гражданства многофункционален, он служит механизмом вовлечения новых претендентов в политический процесс, в процесс реализации частногражданских и публичных прав, и одновременно – механизмом исключения из него определенных категорий населения. Для легитимации процедуры исключения в самом механизме гражданства заложена культурная матрица дифференциации и классификации людей[2].

[1] Малинова О.Ю. Гражданство и политизация культурных различий // Полис. 2004.№5. С.7

[2] По мнению И. Валлерстайна, «гражданство всегда не только включает, но и исключает»; «… понятие *гражданин* способствовало кристаллизации … длинного списка бинарных разграничений, образующих культурный фундамент капиталистической мир-экономики XIX и XX вв.: буржуа и пролетарий, мужчина и

В настоящее время почти все «основания для исключения из числа полноправных граждан взрослых дееспособных людей, родившихся и проживающих на территории своих государств, делегитимированы»[1]. Однако «сухой остаток» от вычитания социальных, идеологических и других оснований различения – в виде некоего «универсального» минимума политической культуры, называемой цивилизованностью, сохраняет свое значение до сих пор. Эта цивилизованность, или минимум гражданственности, представляет собой качество горожанина и городской жизни в западном мире, в этом ракурсе она предстает как социальная (политическая) корректность. «Социальная корректность есть отношение к другим как к незнакомцам и установление социальной связи с соблюдением соответствующей дистанции»[2]. Такое понимание отражает позднюю, современную стадию существования этоса гражданина, которая характеризуется низким уровнем публичной активности гражданина.

Борьбу за включение в число граждан в западных демократиях с конца XX в. ведут преимущественно меньшинства, стремящиеся к особым условиям включения. Представители «новых социальных движений» заявили об отказе от универсального набора прав гражданина и предложили дифференцированный подход, в соответствии с которым для разных категорий граждан необходимы разные группы прав. Подчиненные меньшинства требуют признания собственной идентичности и адаптации политических институтов и практик к их особым потребностям. Если в XIX-XX вв. главной целью социальных движений было признание их политических прав, т.е. «активного гражданства», то к концу XX в. выяснилось, что избирательные права не всегда востребуются и реализуются, цели движений изменились. Возникла проблема дифференцированного использования «универсального» статуса гражданина: разные категории прав из полного набора прав гражданина востребуются различными социальными группами, имеющими те или иные ценностные предпочтения.

Можно констатировать факт определенного сдвига в общем дискурсе гражданства и гражданственности. Институт гражданства полтора предыдущих столетия эволюционировал в направлении формального выравнивания положения людей, обеспечивая универсальную правовую защиту от социально-политической и экономической системы неравенства. Он выполнял функцию интеграции разных политических и культурных практик, был механизмом стандартизации и отбраковки практик, не соответствующих формальным нормам. Последние не допускались в публичную сферу и считались проявлением частной жизни. Классическая модель гражданства строилась на идее необходимости обеспечения гражданам равного доступа к участию в управлении государством. Институт гражданства (включения в публичную сферу) был механизмом нивелирования различий. Речь шла о моральных и этических различиях – о разных представлениях о благе, справедливости и т.п., но в рамках единой западноевропейской культуры как системы либеральных и демократических ценностей. Эффективным способом решения проблемы считалась процедурная справедливость, базирующаяся на «нейтральном отношении» к различиям в публичной сфере (Р. Дворкин). В гражданстве отрабатывались в основном институциональные механизмы достижения равенства. Вопрос о культурном фундаменте института гражданства не возникал. «Новые социальные движения» переориентировали внимание исследователей на проблему социокультурной основы института гражданства и всего здания системы представительной демократии. Встала проблема минимальных

женщина, взрослый и несовершеннолетний, кормилец и домохозяйка, большинство и меньшинство, белые и черные, европейцы и неевропейцы, образованные и неграмотные одаренные и бесталанные, профессионалы и любители, ученые и дилетанты, высокая культура и низкая, гетеро- и гомосексуальность, норма и отклонение от нее, и конечно же, как обобщение всех этих бинарных противопоставлений, - цивилизованный и варвар» (И. Валлерстайн. Цит. по: Малинова О. Ю. Указ. соч. С. 9)

[1] Малинова О.Ю. Указ. соч. С. 10

[2] Сеннет Р. Падение публичного человека. Пер. с англ. М.: «Логос», 2002, С. 300

культурных требований либерально-демократической политической системы к представителям других культур, претендующих на гражданство, т.е. требований к человеку или группе, касающихся их способностей выполнять функцию (роль) гражданина. Ю. Хабермас минимальным условием функционирования либеральной демократии считает лояльность нации граждан собственному государству[1]. Каждый новый претендент на гражданство в странах либеральной демократии должен обладать минимумом политической культуры хотя бы на уровне лояльности, т.е. пассивного признания данного государства и его законов.

Но достаточно ли эффективны способы обеспечения публичной сферой равного признания разных идентичностей? Исследования показали, что за провозглашаемой «культурной нейтральностью» и «беспристрастностью» либеральных государств стоят вполне определенная культура и интересы. Социальные и политические институты современных наций-государств функционируют на основе единого языка и идентичности - чувства принадлежности к конкретному сообществу, обладающему определенной культурой (У. Кимлика). Имеет место идеологически окрашенный культурный империализм, в качестве универсальной постулируется культура привилегированной группы – элиты, доминирующей в нации. Либеральный дискурс до сих пор рассматривал институт гражданства сквозь призму индивидуальных прав. Требования «признания идентичностей» групп не вписываются в либеральный дискурс и принятые процедуры включения в круг граждан. Способом разрешения проблемы стал принцип мультикультурализма – «равного признания» идентичности разных групп на основе презумпции ценности традиционных культур (Ч. Тейлор). Совершенствование механизмов признания культурных различий связано с развитием практик гражданского участия и практик «делиберативной демократии». Фактически намечается новый этап взаимодействия между институциональными и культурными аспектами гражданства, теперь в виде взаимодействия принципов «процедурной» и «делиберативной» демократии. Потребности меньшинств в признании их культурной идентичности находят разрешение в процессе переговоров, результатом которых становятся изменения норм и практик реализации прав гражданина. Но тем самым происходит дифференциация института гражданства, «размывания» его универсального и эгалитарного характера, вместе с этим фрагментируется и ослабляется гражданская идентичность.

С 1990-х годов в рамках постлиберального дискурса гражданства прозвучали идеи «транснационального» и «глобального» гражданства (Р. Баубек, Э. Балибар). «Транснационально прогрессистский» политический дискурс провозглашает отказ от принципа индивидуализма во имя принципа культурного и национального равенства, переосмысленного в духе мультикультурализма. Постлибералы констатируют факт утраты национальным гражданством своего эгалитарного смысла и превращения «из инструмента расширения сферы политического участия в обществе в своеобразное институциональное орудие различения «своих» (полноправных граждан) и «чужих» (жителей страны, занятых в производстве, но исключенных из политического сообщества)[2]. Вследствие этого внутри нации возникает новое разделение на господствующих и подчиняющихся, причем такое разделение в ряде европейских стран обусловлено этническим происхождением иммигрантов. Левые либералы и радикальные демократы причины неравенства усматривают в «национальной» составляющей современного гражданства и в качестве способа выхода из ситуации предлагают отказ от признания этнических характеристик за основание приема или отказа в гражданстве. В рамках транснационального подхода в противовес

---

[1]«лояльность … является не результатом правового принуждения, но частью политической культуры» (Ю. Хабермас. Цит. по: Малинова О.Ю. Указ. соч. С.11)

[2] Брубейкер У. Цит. по: Межуев Б.В. Постколониальный переход и «транснационализация» гражданства// Полис.2004.№5.С.19

«национальному» и «супранациональному» гражданству предлагается «транснациональное гражданство», которое призвано обеспечить включение иммигрантов в политическую жизнь Европы, более соответствующее принципам либеральной демократии, нежели сложившаяся практика международного апартеида, утвердившего новое деление на европейцев и неевропейцев как внутри объединенной Европы, так и за ее пределами. Такая ситуация есть следствие попыток возрождения европейской идентичности.

Б.В. Межуев ставит проблему наличия корреляции между «транснационализацией» гражданства и его «дифференциацией»[1]. Дело в том, что некоторые исследователи фиксируют тенденцию «расщепления» института гражданства на три элемента - «коллективную идентичность», «политическое членство» и «право на социальные гарантии и выплаты», постепенно утрачивающие связь друг с другом и с гражданством[2]. Опасность «расщепления» института гражданства заключается в тенденции исключения из него права на политическое участие. Таким образом развивается процесс, обратный процессу становления национального гражданства, при котором шло соединение трех составляющих в этом институте – собственно «гражданского» (civic) (основные личные права и свободы), политического (право голоса и участие в принятии политических решений) и социального (права на безопасность и социальную поддержку), т.е. объединение всех трех групп прав в едином гражданском статусе[3].

Глобальные процессы конца XX в. привели к необходимости осмысления перспектив института национального гражданства. Теоретик «постнационализма» А. Зольберг предполагает в будущем возникновение «космополитического сообщества постоянных жителей» и предлагает отказаться от идеи «всемирного гражданства»[4]. «Транснационализация» гражданства мыслится им не как расширение пределов «национального» гражданства, - такой вариант считается нереалистичным, но как исключение из «космополитического идеала всемирного гражданства» демократизирующей функции данного института – участия граждан в управлении государством. Из инструмента демократизации институт гражданства превращается в препятствие для нее. Становлению института «глобального гражданства» и триумфу демократии препятствуют тенденции к «закрыванию» западноевропейских наций. Общеевропейское гражданство не является институтом, расширяющим политическое участие для граждан стран – новых членов Евросоюза. Инициирующий глобализацию Запад отстраняется от института «глобального гражданства». Причина этого, по мнению Б.В. Межуева, заключается в том, что установление «глобального гражданства» приблизило бы растворение культурной идентичности стран «золотого миллиарда» и привело бы к возникновению политической и культурной зависимости «белого человечества» от народов «мирового Юга»[5]. Поэтому для постлибералов конец «национального государства» не означает конца «национального гражданства». Выступая против предоставления политических прав иммигрантам и расщепления института гражданства, постлибералы стремятся сохранить полноту прав гражданина и, прежде всего, политические права, лишь за коренными гражданами европейских

---

[1] Межуев Б.В. Постколониальный переход и «транснационализация» гражданства// Полис.2004.№5.С. 21

[2] Иностранным рабочим во многих европейских странах для участия в местных и региональных выборах не требуется гражданство; человек может быть наделен социальными правами и привилегиями, не имея избирательных прав или не будучи гражданином конкретной страны (Бенхабиб Э. Цит. по: Межуев Б.В. Указ. соч. Там же)

[3] Анализ становления гражданства принадлежит Т.Х. Маршаллу, позиция которого изложена Малиновой О.Ю. (Указ. соч. С.9)

[4] Межуев Б.В. Указ. соч. С. 21

[5] Там же. С.22

стран. Однако, удастся ли сохранить институт национального гражданства в его нынешнем виде в контексте всего спектра происходящих изменений – проблема.

Проект «транснационального» гражданства замещает не реализованный проект «постнационального» или «глобального» гражданства, теоретическим и практическим следствием которого могло бы стать разрешение противоречия между универсальным статусом человека и партикулярным и привилегированным статусом гражданина национального государства и, соответственно, между правами человека и правами гражданина. Под влиянием демократических революций XIX в., подъема национализма и распада колониальных империй гражданство формировалось как социальное учреждение, сопряженное с понятием нации, а не человечества, как это было в проекте Канта. Институт национального гражданства – это во многом результат деколонизации. Бывшие колониальные метрополии вынуждены были изыскивать законодательные и иные процедуры отделения собственных граждан («своих») от населения колониальных территорий («чужих»). Колониальные империи Нового времени свернули имперский проект, «закрывшись», ограничив процесс демократизации территориями «наций-государств» и не вовлекая в него жителей бывших колоний. Причину выбора такого пути Б.В. Межуев видит в том, что с середины XIX в. «Запад стал осознавать себя не универсальным сообществом, призванным перестроить в соответствии со своим принципами весь мир, но лишь одной из цивилизаций»[1]. «Цивилизационное» сознание к XX в. одержало верх над «универсалистским» сознанием. Последствием данного факта культуры стало то, что колониальные процессы привели к фундаментальному разделению Севера и Юга как новых международных сфер господства и подчинения.

Деколонизация, начавшаяся с середины XX в., обусловила глобальный характер миграционных процессов и трансформацию института гражданства. В процессе создания Европейского Союза актуализировалась идея «национализации» гражданства. Метрополии бывших колониальных империй объединились между собой в ЕС, помимо других целей, еще и для более эффективного противостояния своим бывшим колониям. Этот выбор обусловлен цивилизационным сходством европейских стран: инвариантными характеристиками либеральной цивилизации, которые обобщенно можно назвать цивилизованностью (гражданственностью), осознанием особой европейской идентичности, принципиально отличающейся от неевропейских идентичностей колониальных народов. Дух уникальной западной цивилизации объединяет народы Западной Европы и отделяет их от других народов мира.

Гражданственность в идеологических версиях чаще всего рассматривается в качестве производной от институциональной структуры гражданского общества или государства. Это обусловлено доминированием структурно-функциональной парадигмы исследования, не учитывающей взаимодополнительность институционального и ментального планов социально-политических процессов. Но именно в этих кажущихся всесильными институциональных формах заключена культура в состоянии аномии. Отсюда понятно, что за противоречиями в трансформирующемся институте гражданства скрывается проблема угасания (фрагментации, дробления) нововременного этоса гражданственности. Тем не менее исследования данного института так или иначе выводят на проблемы политической культуры, составляющей его духовную основу.

Все многообразие дискурсов гражданственности, взятое как в диахроническом, так и в синхроническом измерениях, может быть обобщенно представлено в виде единого смыслового поля этоса гражданственности. Диахронический аспект позволяет выделить исторические формы этоса гражданственности в Западной Европе; синхронический - сравнить разные (идеологические, региональные и т.д.) дискурсы

[1] Там же. С. 23

гражданственности. Это смысловое поле может быть выражено с помощью структурно-семантического каталога бинарных оппозиций культуры: «свои – чужие», «господство – подчинение», «эгалитарное (равенство) – элитарное (свобода)», «частное – публичное», «открытость – закрытость» и других. Такая «система координат» позволяет решать множество теоретических задач: реконструировать эволюцию этоса гражданственности в рамках конкретной политической культуры (шкала времени); осуществить сравнительный анализ этоса гражданина (подданного) разных цивилизаций (шкала пространственного измерения); сравнить идеологические версии этоса гражданина (или дискурсы гражданственности) в рамках одного (или ряда) государства с целью выявления их конфликтного потенциала или основы их возможного сближения (шкала идеологий).

Специфика конкретного идеологического дискурса гражданственности заключается в интерпретации культурной матрицы в интересах определенного субъекта политики, в акценте на конкретных полюсах оппозиций структурно-семантического каталога. Определяющее значение в этом имеет выбор субъекта политики - круга «своих», призванных «господствовать», а также выбор между эгалитарной или элитарной моделями господства и связанным с ними способом соотношения между частным и публичным. Вышеупомянутые идеологические дискурсы гражданственности обнаруживают черты сходства, обусловленные установками западной либерально-демократической политической культуры.

Новоевропейский этос гражданина, культивируемый властью, имел два вектора, две обращенности: к нации как общности граждан, идентифицируемой в качестве публики, и к отдельному гражданину – индивиду, персоне. Первый вектор схватывается понятиями «дух нации», «национальная идентичность», «национальное самосознание», «культура гражданской нации», «политическая культура нации»[1] и т.п.; второй – понятием «гражданская идентичность», «ментальность гражданина», «политическая культура гражданина», «гражданская культура» и т.п. Оба ряда понятий служат целям легитимации власти. Отсюда двойственность этоса, он одновременно принадлежит и адресован и нации, и гражданину. Различные грани новоевропейского этоса передаются понятиями «буржуазность», «цивилизованность», «гражданственность», каждое из которых обладает двойственным смыслом, имеет свое раннее – позитивное, и позднее – сниженное, значения. «Дух нации» - понятие, которое создает специфическое, свойственное Новому времени, взаимоопределение полюсов одной из ведущих в модели гражданина бинарных оппозиций – оппозиции «свои – чужие». В нем фиксируется тот этап действия «бинарной машины культуры», когда происходит смена основания противопоставления своих и чужих: на место христианского этоса, противопоставляющего христиан нехристианам, ставится секуляризированный «дух нации» - политического сообщества граждан. Теперь «Мы» («свои», «друзья», «наши» и т.п.) – это нация, отталкивающаяся от других наций, рассматривающихся как «Они» («чужие», «враги»).

---

[1] К культуре народа Ф. Фукуяма относит чувство национальной идентичности, религию, социальное равенство, склонность к образованию гражданского общества и исторический опыт наличия либеральных институтов (Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Ф. Фукуяма; Пер. с англ. .Б. Левина. М., 2004.С 333); Политическую культуру нации Г. Алмонд определяет как «распределение образцов ориентаций относительно политических объектов среди членов нации». Ориентации относятся к интернализованным аспектам социальных объектов и отношений и включают: 1)когнитивные ориентации, т.е. знания и веру относительно политической системы, ее ролей и обязанности относительно этих ролей…; 2) «аффективные ориентации», или чувства, относительно политической системы, ее ролей, ее работы и вовлеченных в нее людей;3) «оценочные ориентации», суждения и мнения о политических объектах, которые обычно представляют из себя комбинацию ценностных стандартов и критериев, информации и чувств (Г. Алмонд. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций // Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. М., 1999. С. 561)

Западноевропейский социокультурный этос гражданственности – светская, или «гражданская религия», комплекс рационалистического индивидуального и национального самосознания, который включает формально-рациональное и чувственно-эмоциональное восприятие гражданской нации и гражданина в качестве суверена, автономного субъекта политики, права, религии и морали. Ядром гражданственности является рациональное отношение (приятие, доверие) к государственной власти, признание ее легитимности, т.е. политическая лояльность гражданина, и способность к деятельному участию в политической жизни общества. Гражданский этос немыслим без исторического опыта самоорганизации, солидарности и участия граждан в функционировании институтов местного самоуправления и представительства, присущего населению западных стран. Содержательным основанием этой «гражданской религии» выступают ценности патриотизма, национального достоинства, индивидуализма, демократии. Национальное самосознание – это чувство общности, идентичности гражданина и нации, ощущение всей нации как круга «своих». Один полюс его составляет политическое сознание национально-государственного единства граждан, другой – восходящий к этническому пониманию нации этнонационализм, опирающийся на дотеоретические, дорефлективные уровни психики, связанные с бессознательными механизмами ощущения кровнородственного родства. Степень адекватности и эмоциональная окраска самооценки достоинства нации всегда различна. Она обусловливает форму проявления национального самосознания – в виде комплекса ущемленности национального достоинства (национальной неполноценности), умеренного национализма, вызывающего конкуренцию наций-соседей и, наконец, в виде экспансионистских устремлений комплекса национального превосходства (цивилизаторской миссии), находящих выражение в реальной колониальной политике по отношению к «недоцивилизованным» нациям (вплоть до крайностей нацизма) или, позже, в более тонких, ненасильственных формах экономического и информационного господства.

Понятие этоса позволяет выделить нормативно-ценностное содержание в социально и политически локализованных социокультурных практиках. Этос представляет собой смешение идеально-должных представлений о политической реальности, существующих в теоретической, идеологической и нормативно-правовой формах, и повседневных политических нравов (обычаев, практик) общества, дающее совокупность представлений о реально-должном в политической жизни. Этос составляют исторический опыт самоорганизации и солидарности, обыденные стереотипы восприятия, оценок, мнений, типичные практики и схемы политического действия, или «габитусы» (П. Бурдье) морального, правового и политического действия; степень повседневной цивилизованности. Гражданственность – практически-духовное комплексное качество политической культуры (как единства политической ментальности и политического поведения), присущее активной части граждан как основы нации. Это качество включает когнитивные, аффективные, оценочные и поведенческие компоненты и проявляется в установках к реально-должному политическому поведению. Как многомерное и многоуровневое образование, гражданственность характеризуется сочетанием элементов теоретического, эмпирического и обыденного уровня политического сознания и опыта социально-политической деятельности.

В содержание социальной роли гражданина входит комплекс предписаний и норм, предъявляемых общностью к отдельному индивиду (члену гражданского общества и государства-нации) и ожидаемых от него: способность к рациональному самоконтролю, самоограничению и самопринуждению, способность к упорядочиванию и рационализации инстинктов и эмоций в соответствии с определенными нормами и стандартами цивилизованности, способность к рациональному расчету во всех сферах жизни, способность к рефлексии, развитое гражданское политическое и правовое

сознание, приверженность моральным обязательствам и долгу[1]. Исполнение роли гражданина зависит от степени автономности правосознания личности, от такого усвоения цивилизационных ценностей, норм и образцов поведения, когда они воспринимаются как внутреннее достояние личности. Подчинение требованиям, заключенным в роли гражданина, являются для индивида результатом его собственного внутреннего выбора и свободной воли, добровольного самопринуждения. Одним из проявлений автономного правосознания становится законопослушность, опирающаяся на «предправовые» уровни нормативной саморегуляции морального, нравственного и религиозного характера. Отсюда впечатление «самозаконодательствования» правосознания личности[2]. Исполнение столь сложной социальной роли требует интеграции всех этих качеств воедино в личности, способной не только к адаптации к существующим социальным обстоятельствам, но и к преобразованию их в соответствии с собственными потребностями, интересами, целями. Новоевропейская личность выполняла функции медиатора основных бинарных оппозиций, составляющих структуру этоса и модели гражданина.

Существование феномена гражданина в современных условиях характеризуется значительными отличиями от его ранней формы, трансформировавшейся в позднюю его форму. Разложение феномена гражданина Нового времени, начавшееся с середины XIX в., происходило путем его самоизменения, включая перемены в смысловом поле гражданского этоса и его овеществленных формах - институциональных структурах. Одно из проявлений этого процесса – актуализация проблемы национальной и персональной идентичности в современной политике. Модель европейского гражданина эпохи Модерна внутренне изменяется путем постепенной динамики в соотношении полюсов структурно-семантического каталога. Иной абрис принимают оппозиции «свои – чужие» и «господство – подчинение», нарушается баланс элитарного и эгалитарного. Последнее проявляется в углубляющемся обособлении политики от других сфер общества, в монополизации и приватизации политики слоем профессионалов, ориентирующимся на технологии производства власти внутри самой власти. Сфера частного все больше вторгается в сферу публичного бытия гражданина, роль гражданина государства в структуре социальных ролей личности все больше оттесняется ролью потребителя (обывателя, филистера, «человека массы»), ушедшего в сферу приватного. Гражданин утрачивает качества активного участника политической жизни, субъекта политики и становится формальной функцией политической системы. Это выражается в явлении абсентеизма. Вместе с угасанием этоса гражданственности, вызванного логикой эволюции индивидуализма и разрушением начального единства гражданина и нации, происходит выхолащивание институтов демократии. Острой для современности становится проблема поиска новых способов разрешения противоречий в этосе гражданина, т.е. новых форм медиации полюсов бинарных оппозиций. От решения этой проблемы зависит возможность существования политики как публичной игры множества конкурирующих политических субъектов, сохранения модели представительной демократии, перспективы национального гражданства и даже существование самого феномена гражданина.

М.А. Фадеичева

Т.А. ВАН ДЕЙК И ТОТАЛЬНОСТЬ РАСИСТСКОГО ДИСКУРСА

Считать какого-либо человека низшим существом
только потому, что у него черная кожа,
так же абсурдно, как утверждать, будто

[1] Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Т.2. Изменения в обществе. Проект теории цивилизации. М.-СПб., 2001. С. 107

[2] Бачинин В.А., Сальников В.П. Философия права. Краткий словарь. СПб., 2000.С. 243

белая лошадь именно оттого, что она белая,
бегает быстрее, чем черная.

Х Комас

Г. Зиммель однажды заметил, что после того, как произведение написано, оно начинает жить своей особой, независимой от автора жизнью. Можно дополнить эту мысль тем, что произведение, живя такой самостоятельной жизнью, может актуализироваться в иное время и в ином социально-политическом континууме, по сравнению с тем, в котором оно было создано. Это во многом относится к небольшой книге Т.А. ван Дейка «Расизм и язык», которая была опубликована в Амстердаме в 1988 г., а в 1989 г. уже была издана на русском языке в Москве. В период перестройки, на исходе советского времени социально-гуманитарную науку и обывателя интересовали вопросы, весьма далекие от расовой проблемы. За этот период достигло совершеннолетия поколение конца 80-х. В настоящее время для нового независимого государства – Российской Федерации, стали остро актуальными те проблемы, которые рассматривал в своей работе Т.А. ван Дейк восемнадцать лет назад. Сам автор замечает, что его исследования посвящены прежде всего расизму в Нидерландах, однако «анализ и выводы данной работы могут иметь приложение к более общему материалу, а именно к другим западным странам или преимущественно населенным белыми (европейским, североамериканским) странам»[1].

Ван Дейк не заявляет о своих методологических предпочтениях, однако тот категориальный аппарат, который он использует, дает возможность сделать предположение если не о его марксистской позиции, то о соответствующих симпатиях и преференциях. Так, в частности, он говорит об общественных классах, о рабочем классе и буржуазии, бедных и богатых, классовых противоречиях, капиталистических странах Запада. В этом же ряду находится одно из понятий, которое ван Дейк активно использует, это – понятие идеологии, любимейший концепт классиков марксизма. Говоря о распространенности и влиянии расистской идеологии как идеологии правящего класса, каковым является белая буржуазия, автор ссылается на известное положение К.Маркса и Ф.Энгельса о том, что в любую эпоху господствующими являются идеи правящего класса. Всякий правящий класс создает и поддерживает социально-культурные условия для формирования нужной идеологии среди подчиненных классов.

Понятие идеологии не кажется ван Дейку ненужным или устаревшим, или не применимым к характеристике новой ситуации в социально-политической сфере. Оно работает с тем только существенным уточнением, что было бы упрощением трактовать идеологию только как совокупность идей, изложенных в систематической форме. Несомненно, что идеология содержит в себе идеи, которые выражают групповые интересы, но также и материальные условия жизни соответствующих групп. Идеология, с точки зрения ван Дейка, ассоциируется также с «практикой»: идеология проявляется не только в том, что люди думают, но и в том, что они делают. Однако во многих ситуациях идеологические установки могут присутствовать, не проявляясь непосредственно в действии. Идеология не сводится к неформальной, межличностной деятельности или коммуникации, но обычно распространяется и на институционально закрепленные формы воспроизводства, в частности: образование, средства массовой информации.

Именно потому, что идеология играет главную роль в установлении согласия и единодушия, причем вспомним, что господствующая идеология – это идеология господствующего класса, то понятна необходимость и важность объяснения того, как развиваются идеологии, как они порождаются и воспроизводятся в обществе. Кроме природы идеологии, что является скорее предметом политической философии, важно анализировать не только сущность идеологии, а также ее проявления, функционирование и условия существования, иначе говоря, ее политическое бытие, то, что ван Дейк называет

[1] Дейк Т.А. ван Расизм и язык. М.: ИНИОН РАН, 1989. С.11

«ее дискурсивной практикой». Концептуальное бытие официальной идеологии чаще всего не совпадает с политическим бытием идеологий и идеологем. Подобное противоречие между идеологически должным и идеологически сущим находит свое проявление и в современной России.

Известен тот исторический контекст, в котором создавалась Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Чтобы окончательно отказаться от официально установленной в СССР марксистско-ленинской идеологии, авторы новой Конституции в Статье 13 записали: «1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Однако в таких конституционных формулировках нашло отражение упрощенное понимание идеологии как системы общеобязательных формально разделяемых идей. Вместе с тем, всякая Конституция – это и есть официальная государственная идеология, это и есть «национальная идея». В Конституции Российской Федерации в Главе 2 Права человека и гражданина изложена либеральная идеология в ее почти классическом варианте. Или непонимание таких политологических банальностей, или совпадающие незнание и неуважение Конституции Российской Федерации стимулируют дальнейшие поиски «национальной идеи». В государстве, в котором принята либеральная Конституция, но либеральная идеология не является преимущественно разделяемой, либеральные ценности – предпочтительными, либеральные партии не преодолевают необходимого барьера, чтобы быть представленными в органах законодательной власти, с неизбежностью складывается особый идеологическая ситуация. В этом смысле было бы полезно выяснить отношение либеральной и других идеологий и их дискурсивных практик. Эта задача успешно решена ван Дейком в отношении расистской идеологии.

«Главный тезис данной работы заключается в том, что дискурс и коммуникация являются жизненно необходимыми способами воспроизводства «белого расизма» в обществе. Как на неформальном или межличностном уровне, так и на уровне социальных институтов представители белой части населения принимают участие во множестве коммуникативных ситуаций, в которых идеологически оформленное этническое отношение к группам меньшинства получает ориентированное на убеждение выражение и передается другим представителям белой части населения»[1]. По сути, здесь ставится вопрос о распространении идеологии. Для того чтобы идеологии распространялись, нужно чтобы члены группы усваивали знания, мнения и нормы, ценности и цели, на которых основаны идеологии. Ван Дейк замечает, что идеологии не выводятся непосредственно из материального положения, они даже могут быть частично независимыми от бытия. Гораздо более эффективным является восприятие базовых принципов группы на основе дискурсивной коммуникации. Можно сказать, что в бытии повседневности, начиная с самых ранних ступеней социализации в бесконечном разнообразии коммуникативных контекстов одни члены группы выражают эти принципы и передают их другим. Так порождаются общие мнения и вытекающие из них установки. Члену группы вовсе не обязательно быть участником события, он может в нем участвовать «заочно», ему достаточно получить о нем информацию через повседневные разговоры, средства массовой информации, школьный и семейный дискурсы. «Большинство членов белой группы в многонациональных обществах узнают о многих этнически релевантных событиях только из разного рода «историй», т.е. из учебников, художественной литературы, фильмов, разговоров и сообщений в прессе. Если такие пересказы предвзяты, они порождают предвзятые когнитивные репрезентации, а соответствующие модели могут использоваться для формирования предубежденных установок, входящий впоследствии в расистские идеологии»[2]. Ван Дейк подчеркивает важность такого аспекта коммуникации и делает вывод, что дискурс играет основную

[1] Дейк Т.А. ван. Соч. цит. С.4-5.
[2] Дейк Т.А. ван. Соч. цит. С.35

роль в формировании и распространении идеологий, что дискурс является существенной частью идеологической практики некоторой группы.

В работе подробно анализируется дискурсивное воспроизводство расизма в обществе, рассматриваются различные типы дискурса, к которым относятся речевое общение и повседневные разговоры, средства массовой информации, образование и учебники, академический дискурс.

Как считает автор, анализ разговоров позволяет исследовать процессы воспроизводства идеологии. К определенным выводам ван Дейк приходит в результате систематического анализа дискурса примерно 180 неофициальных интервью, проведенных, чтобы спровоцировать разговор между незнакомыми людьми по поводу этнических меньшинств. В результате обнаружились две цели: негативное изображение «инородцев», с одной стороны, и позитивная самопрезентация говорящего как терпимого, непредвзятого, понимающего и готового помочь гражданина своего государства – с другой. Применительно к настоящей ситуации в России можно предположить, что российский дискурс разговоров на темы этнических меньшинств гораздо более жесткий, в разговорах будет встречаться преимущественно только первая цель. Позитивная самопрезентация будет либо иметь второстепенное значение, либо вовсе отсутствовать, будет минимизирована аргументативная стратегия понимания и сочувствия, рекомендации возможно будут иметь более категоричную форму. Если в Нидерландах белые пытаются распространять негативные портреты меньшинств, но под давлением общепринятых норм и ценностей вынуждены подчинять разговорное взаимодействие положительной самопрезентации, то в России откровенные расистские высказывания не являются чем-то неприличным и однозначно осуждаемым. Меньшинства изображаются как отличающиеся, отклоняющиеся, конкурирующие и угрожающие, а их присутствие как создающее долговременные, постоянные и почти неразрешимые трудности. Трудности связываются с экономической ситуацией, социальными конфликтами, образованием, культурными различиями между большинством населения и меньшинствами, с повседневными ситуациями. Происходит определенная инверсия, когда большинство представляется жертвами инородцев, от которых «страдают» простые люди. Ван Дейк прослеживает тенденцию: чем выше уровень образования говорящего, тем осторожнее аргументы против инородцев, тем сильнее самопрезентация и защита доминируют над негативным изображением других. Вместе с негативным изображением меньшинств выражаются понимание и сочувствие, а также не отрицательная оценка, а рекомендация: «было бы лучше, если бы эти люди оставались у себя на родине и участвовали в ее развитии, естественно, с нашей финансовой помощью»[1].

Средства массовой информации, с точки зрения ван Дейка, являются факторами первостепенной важности в распространении этнических или расовых идеологий среди широких слоев населения. Не только газеты, телевидение и радио, но и кино, комиксы, детективный жанр и другие виды художественной литературы, а также другие типы носителей массовой информации вносят свой вклад в создание идеологически обоснованного единомыслия, нацеленного не поддержание этнического или расового статус-кво. Средства массовой информации помогают правительствам современных западных государств вырабатывать и поддерживать «двойной образ самих себя». С одной стороны, они провозглашают свою «резкую позицию» по вопросу о дальнейшей иммиграции или о «чрезмерных претензиях» проживающих в стране меньшинств, но с другой стороны, им приходится поддерживать идеологический миф, состоящий в том, что «мы» гуманны, терпимы, относимся с пониманием к чужим проблемам и потому выступаем против дискриминации. Дискурс средств массовой информации преимущественно демонстрирует или подает в скрытой форме отрицательные изображения иммигрантов или меньшинств. Они изображаются как люди, стремящиеся

[1] Дейк Т.А. ван. Соч. цит. С.57.

въехать в страну и наживаться на имеющемся достатке, а не как люди, приезжающие работать и способные внести вклад в экономику. Они изображаются как люди, у которых имеются трудности с устройством не работу, жильем, образованием, а также как создающие «трудности» принимающей стороне, организуя демонстрации протеста или становясь преступниками и наркоманами. Подобные образы создаются без откровенно расистских историй. «Требуемый угол зрения создается путем подбора историй, высвечивания определенных тем стилистическими деталями и структурами релевантности... Негативные пресуппозиции и импликации в таких сообщениях эксплицируются благодаря релевантным выводам читателей»[1].

Академический дискурс также вносит свою лепту в распространение расистской идеологии. Ван Дейк замечает, что современный академический дискриминационный дискурс стал более утонченным по сравнению с более распространенным в прошлом «научным» принижением чернокожих, в нем примеры биологической неполноценности сменились анализом «этнических или культурных различий». Им избирается двойная стратегия: замалчивание расизма; положительная самопрезентация.

Ван Дейк обращает внимание на то, что расистская академическая идеология находит свое упрощенное выражение в учебниках и школьном преподавании, которые отличаются этноцентризмом, национализмом и явным расизмом. В них родная страна систематически превозносится, а ужасы прошлого спокойно замалчиваются или преподносятся в смягченном виде. «В учебниках народы стран «третьего мира», особенно негры изображаются примитивными, отсталыми, пассивными, а их культура – уступающей по все статьям «западной цивилизации»»[2].

С чем же связано то, что расистский дискурс оказывается столь широко распространенным? Ван Дейк находит этому одно простое объяснение: «С нашей точки зрения любой представитель белого населения может в конечном счете извлечь выгоду из подчиненного положения этнических или расовых меньшинств. Такая выгода может выражаться материально, например, как большие возможности в получении работы, условия труда, обеспеченность жильем, образование и социальное обеспечение, но также и символически в форме групповых чувств превосходства, контроля, солидарности или культурной однородности и господства, например, языка, религии, искусства, норм и ценностей, обычаев и т.п.»[3]. Общественная польза расистской идеологии, приумноженная в ее дискурсивной практике обеспечивает ее тотальность как повсеместное проникновение и вечное существование.

Однако современный расизм меняется, у него возникают новые формы с присущими им новыми чертами. Ван Дейк пишет, что можно наблюдать развитие различных форм «модернизированного», «нового» или «символического» расизма. «Чертами современных форм расизма являются, например, его косвенность и утонченность, а также всеобъемлющая стратегия отрицания по отношению к превалированию структурного расизма и даже к релевантности понятия «расы» со сдвигом в сторону более «невинных» форм, как, например, этницизм, культурализм или национализм»[4]. Ван Дейк несколько расширительно, не строго употребляет само понятие расы. Можно заметить, что современный расистский идеологический вектор действительно сдвигается. Если обратиться к ситуации в России, то можно заметить что ее постсоветское развитие, целый комплекс экономических, политических и социально-психологических причин привели к становлению идеологического дискурса, который может быть условно обозначен как дискурс «нашизма». «**НАШ**, -его, *м.*; *ж.* наша, -ей; *ср.* наше, -его; *мн.* наши, - их, *мест. притяж.* Принадлежащий нам, имеющий отношение к нам. *Наш дом. Поживем у наших* (сущ.: у наших родных, близких). **По-нашему –** 1) по нашей воле, желанию. *Добьемся, все*

---

[1] Дейк Т.А. ван. Соч. цит. С.44.
[2] Дейк Т.А. ван. Соч. цит. С.48.
[3] Дейк Т.А. ван. Соч. цит. С.14.
[4] Дейк Т.А. ван. Соч. цит. С.16.

будет по-нашему; 2) так, как делаем мы. *Работайте по-нашему*; 3) вводн. сл., по нашему мнению. *По-нашему, нужно остаться здесь.* **И нашим и вашим** (разг. неодобр.) – о том, кто двурушничает. **Знай наших!** (разг.) – вот мы каковы! (похвальба). **Наша взяла!** (разг.) – мы одолели, победили. **Наше вам (с кисточкой)!** (прост. шутл.) – выражение приветствия. **С наше** (разг.) – столько, так много, сколько мы. *Поработайте с наше.*»[1].

«Наш – не наш» это – основание и признак любого социального и политического группообразования. Представление о «нашем» может находиться в пределах нормы, отличающей здоровое групповое самосознание. Но при определенных обстоятельствах оно может приобретать гипертрофированные черты утрированной «нашести», не только в различении, сколько в противопоставлении «нашего» «не нашему», себя другим. В свою очередь можно выделить три варианта дискурсов «нашизма»: этнонационализм, этницизм, расизм.

Особый интерес представляет представленный ван Дейком идеологический механизм изображения этнической ситуации, включающий в себя основные компоненты и стратегии. Это же он называет «некоторыми основополагающими элементами этнической расовой идеологии в странах Запада» и формулирует ясно, точно и однозначно.[2] К ним относятся:

а) Различия. Меньшинства (иммигранты, негры и т.п.) не такие, как мы, они имеют другую культуру (язык, религию, обычаи), выглядят иначе и ведут себя по-другому. «Они» не являются частью «нас». Следовательно, с ними нужно обращаться по-особому.

б) Соревнование. Они приехали сюда, чтобы жить и работать за счет нас. Они являются бременем и захватывают «наше» пространство, наши города, жилье, рабочие места, социальное обеспечение и образование, так что у «наших» людей возникает недостаток этих национальных ресурсов, и «мы» становимся жертвами их присутствия. Следовательно, мы должны противостоять этому несправедливому соревнованию и отдавать предпочтение нашим собственным людям.

в) Угроза. Если их присутствие представляет собой экономическую или культурную угрозу, то их поведение угрожает безопасности, так как они агрессивны, склонны к насилию, с ними связаны наркомания и преступность.

г) Трудности. Они сами переживают трудности в нашей стране, например, в трудоустройстве и образовании, но и создают трудности, создавая конфликты и разделяя наше общество.

д) Помощь. Мы все же чувствуем ответственность, потому что сами когда-то пригласили их приехать и поработать или потому что они приехали из «наших» колоний. Если у них есть трудности, мы должны помочь им, если они создают трудности, то нужно их понять.

е) Самопрезентация. Несмотря на различия, конкуренцию и угрозы, мы полны желания им помочь. Мы в принципе не можем быть носителями предрассудков или расизма. Те, кто обвиняет нас в этом, лгут или преувеличивают. К сожалению, предрассудки, дискриминация и расизм встречаются у некоторых маргиналов, на которых не следует обращать внимания, так как наша демократия сильна. Их организации не следует запрещать, так как мы живем в свободной стране, к тому же это вынудит их уйти в подполье.

Ван Дейк представил абсолютно узнаваемые черты, которые можно обнаружить в российской дискурсивной практике идеологии «нашизма», за исключением двух последних, а именно: помощь иммигрантам и инородцам, позитивная самопрезентации, что связано с особенностями колониального прошлого и молодостью российской демократии.

---

[1] Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. М.: АЗЪ, 1996. С.391.
[2] См. Дейк Т.А. ван. Соч. цит. С.50-51.

При изучении идеологий всегда обращаются к вопросу о носителях той или иной идеологии, о ее социальной базе. Ван Дейк также не оставляет без внимания эту проблему. Он подчеркивает, что провозглашаемое расовое и этническое равенство практически не затрагивает белую элиту, так как ей не приходится конкурировать с группами этнических меньшинств, сохраняя неизменным свой привилегированный статус. Столкновение же происходит на уровне низших классов, так как большинство представителей этнических меньшинств принадлежит к рабочему классу. Это усложняет ситуацию, умножает расовые предрассудки и усиливает отношение дискриминации по этническому и расовому признаку. Такая ситуация объясняется тем, что рабочие с одной стороны, сравнивают себя с классами, имеющими более высокий статус, с другой стороны, видят конкуренцию со стороны меньшинств. В ответ на это политические элиты вынуждены вырабатывать определенные стратегии. Ван Дейк обнаруживает две таких стратегии[1]. Первую стратегию правящей элиты он видит в обеспечении или обещаниях обеспечения финансового и экономического «облегчения» многонациональным бедным городским кварталам, где чувство озлобленности широко распространено среди белого населения. Именно этой стратегии придерживалось правительство Нидерландов. Вторая стратегия, как подчеркивает автор, имеет идеологическую природу. Она обеспечивает реализацию интересов и целей господствующей группы. Эта стратегия включает в себя убеждающее описание фактов, мнений, из которых широкая публика делает вывод, что во всех трудностях нужно винить не властную элиту, а иммигрантов, инородцев. «В рамках этой стратегии поощряется такой способ обработки социальной информации, при котором на счет инородцев (а не правящей элиты) относятся не только этнически мотивированные трудности, но также любые другие экономические, социальные или культурные проблемы»[2]. Разворачивается эта стратегия весьма просто. Иммигранты и другие этнические группы легко идентифицировать, так как они выделяются по внешности, языку, культуре. К тому же, как отмечает ван Дейк, они относятся к рабочему классу. В такой ситуации они легко признаются виновными в существовании тех проблем, которые действительно стоят перед низшими классами. Это известные проблемы безработицы, плохого жилья, преступности и наркомании, недоступности хорошего образования и культуры. Ван Дейк подчеркивает, что элита заинтересована в групповой солидарности, например: «мы, голландцы», которая должна возобладать над классовыми градациями и противоречиями.

В основе этой стратегии лежит хорошо известный социальным психологам механизм, который ван Дейк не называет. Это – поиск «козлов отпущения», который осуществляется с помощью механизма социальной каузальной атрибуции, когда меньшинства или члены чужой группы объявляются одними (элитой) и воспринимаются другими (низшими классами) ответственными за негативные события, виновными в бедах большинства.

Ван Дейк в своей работе, несомненно затронул одну из актуальнейших проблем современности и в ходе своего исследования пришел к интересным заключениям и выводам, которые касаются отношений к расовым и этническим меньшинствам в западноевропейских странах. К сожалению, заключительные выводы представляются неутешительными. Расистская идеология им признается господствующей. Причем она формулируется различными элитными группами и получает широкое распространение благодаря целому ряду форм публичного дискурса, без которых она не смогла бы достичь общественного признания и господства над умами. При чем эта идеология не признается в качестве результата целенаправленного ее создания. Она, можно сказать, самопорождается и воспроизводится простым путем «удерживания от действий». Здесь автор имеет ввиду, в частности, создание условия для развития расовых предрассудков, игнорирование дискриминации и национальных конфликтов, когда они не зашли еще

[1] См. Дейк Т.А. ван. Соч. цит. С.19-20.
[2] Дейк Т.А. ван. Соч. цит. С.20.

слишком далеко, непринятие мер по борьбе с безработицей среди меньшинств. Идеология, отражающая насущные потребности и интересы, получает постоянную поддержку, не нуждается в особом обосновании. Ван Дейк делает вывод, что различные сферы публичного дискурса, находящиеся под контролем белых элит, создают необходимые условия для господства расовой идеологии. О вариантах контридеологии и контрдискурса автор говорит с большим сомнением, считая их существование возможным в пределах некоторых узких рамок. Они кажутся неправильными, субъективными, радикальными и неприемлемыми ни элитами, ни широкими массами. Поэтому и «белому большинству», и иммигрантским меньшинствам в развитых странах еще только предстоит понять, что «обоюдное уважение становится необходимым; мы должны научиться жить в содружестве, не питая друг к другу ни чувства страха, ни ненависти, ни презрения, не преувеличивая своих отличительных особенностей в ущерб единству и стремясь достигнуть понимания того, что имеет подлинное значение и ценность»[1].

В.Н. Руденко

ДИСКУРС МАНИПУЛЯЦИЙ
(референдумная демократия и продление срока полномочий главы государства в странах СНГ)

Конституции всех государств, образовавшихся после распада бывшего СССР, учли опыт державы, чье конституционное законодательство на протяжении всех лет ее существования, за исключением двух последних, не предусматривало ограничений по количеству сроков замещения должности главы государства. В текстах конституций новых независимых государств были закреплены традиционные для стран развитой демократии нормы, согласно которым одно и то же лицо не может избираться на должность главы государства более двух раз подряд. Следуя опыту стран развитой демократии, срок исполнения полномочий главы государства во вновь образовавшихся странах также был ограничен четырьмя – пятью годами.

Между тем, за истекшие с момента распада Союза ССР годы в ряде стран (государства Центральной Азии, Казахстан) выявилась ярко выраженная тенденция развития государственного строительства, состоящая в продлении срока полномочий главы государства. Обозначенная тенденция находит свое выражение, во-первых, в увеличении количества сроков полномочий главы государства, во-вторых, в продлении самого срока полномочий; в-третьих, в увеличении количества сроков полномочий с одновременным продлением их продолжительности. Отличительной особенностью этого процесса является следование установленным конституционным правилам, приверженность законодателей общепризнанным демократическим ценностям. Продление полномочий главы государства осуществляется посредством реализации одного из наиболее известных институтов современной демократии – института референдума. В период с 1992 года по настоящее время только в указанных странах имели место следующие всенародные голосования, на основании которых было осуществлено продление срока полномочий главы государства: референдум, проведенный 15 января 1994 года в Туркменистане; референдум, проведенный 28 апреля 1995 года в Казахстане; референдум, проведенный 30 января 1994 года в Кыргызстане; референдумы, проведенные 26 марта 1995 года и 27 января 2002 года в Узбекистане; референдумы, проведенные 26 сентября 1999 года и 22 июня 2003 года в Таджикистане.

Продление срока полномочий главы государства посредством конституционного института референдума в указанных странах осуществлялось следующими способами:

---

[1] Комас Х Расовые мифы // Расовая проблема и общество. М.: 1957. С.221.

1. *На всенародное голосование после принятия новой Конституции страны выносился вопрос о продолжении исполнения полномочий главы государства лицом, избранным на должность главы государства на основании прежней Конституции и только по истечении этого срока проводились выборы, причем считалось, что лицо, одержавшее победу на выборах, согласно новой Конституции замещает должность главы государства впервые.* В частности, посредством всенародного референдума, проведенного 26 марта 1995 года, были продлены до 2000 года полномочия президента Узбекистана И. Каримова, всенародно избранного 29 декабря 1991 года и в 2000 году И. Каримов «впервые» был избран президентом страны на пятилетний срок. Путем народного голосования, проведенного 30 января 1994 года, были подтверждены полномочия президента Кыргызстана А. Акаева, всенародно избранного 12 октября 1991 года и в 1995 году А. Акаев «впервые» был избран на должность президента Кыргызстана на пятилетний срок. По итогам республиканского референдума, состоявшегося 29 апреля 1995 года в Казахстане, срок полномочий президента Казахстана Н. Назарбаева, всенародно избранного 1 декабря 1991 года был продлен до 1 декабря 2000 года. Постановлением Парламента Республики Казахстан от 8 октября 1998 года № 103-1 срок полномочий Президента, установленный упомянутым республиканским референдумом, был сокращен до вступления в должность нового Президента Республики Казахстан, избранного на выборах 10 января 1999 года. Одержав победу на выборах, 20 января 1999 года Н. Назарбаев «впервые», согласно Постановлению Конституционного Совета Республики Казахстан от 20 июня 2000 года № 12/2, официально вступил в должность Президента Республики Казахстан, теперь уже на семилетний срок.

2. *На всенародное голосование выносился вопрос о внесении ряда изменений и дополнений в действующую Конституцию страны, при этом одно из изменений предполагало увеличение продолжительности срока полномочий главы государства.* 27 февраля 2002 года на национальном референдуме, проведенном в Узбекистане, было принято решение о продлении полномочий президента страны с пяти до семи лет, тем самым очередные выборы президента, избранного в 2000 году, автоматически были перенесены с 2005 года на 2007 год. Подобным же образом 26 сентября 1999 года решением, принятым на национальном референдуме в Таджикистане, срок полномочий президента Таджикистана был увеличен с пяти до семи лет без возможности повторного переизбрания. После принятия данного решения И. Рахмонов, всенародно избранный президентом Таджикистана 6 ноября 1994 года на пятилетний срок, 6 ноября 1999 года «впервые» был избран президентом теперь уже на семилетний срок в соответствии с внесенными в Конституцию изменениями.

3. *На всенародное голосование выносился вопрос о внесении ряда изменений и дополнений в действующую Конституцию страны, при этом одно из изменений предполагало увеличение числа конституционных сроков полномочий главы государства.* По итогам референдума, проведенного 22 июня 2003 года в Таджикистане, было принято 56 поправок Основного Закона. Согласно одной из них число конституционных сроков полномочий президента страны было увеличено с одного семилетнего срока до двух. Учитывая, что Конституция претерпела существенные изменения, президент Таджикистана И. Рахмонов получил возможность баллотироваться на должность президента Республики «впервые». Так как текущий срок полномочий президента истекает в 2006 году, И. Рахмонов имеет реальную возможность продлить срок своих полномочий до 2020 года.

4. *На всенародное голосование выносился вопрос о продлении срока полномочий действующего главы государства задолго до истечения первого срока его полномочий, предусмотренного Конституцией.* Согласно решению, принятому на референдуме, состоявшемся 15 января 1994 года в Туркменистане, полномочия президента С. Ниязова, всенародно избранного президентом страны 21 июня 1992 года, были продлены до 2002 года, а президентские выборы, которые должны были состояться в 1997 году, отменены.

Практика проведения всенародных голосований, на которых были приняты решения, имевшие своими последствиями продление срока полномочий главы государства в странах Центральной Азии и Казахстане в период с 1992 года по настоящее время свидетельствует о том, что целью данных голосований было укрепление власти выдвинувшихся после распада СССР национальных харизматических лидеров и недопущение нарушения сложившегося баланса политических сил. Симптоматично, что одними из самых весомых аргументов в пользу продления полномочий действующих глав государств являлись и являются тезисы о достигнутой демократической стабильности и необходимости ее сохранения, о необходимости довести до конца начатые положительные преобразования. Следуя этой цели, находящиеся у власти политические группы с легкостью шли и идут на изменение Конституции своей страны, а органы конституционного правосудия в случае необходимости давали и дают необходимое толкование конституций. В итоге в указанных странах сложилась парадоксальная конституционно-правовая ситуация. С одной стороны, конституции всех без исключения стран содержат демократическое требование об ограничении сроков пребывания у власти одного и того же лица. С другой же стороны, пребывающие у власти руководители, следуя нормам конституций и конституционному законодательству о референдуме, фактически имеют и, чаще всего реализуют на практике возможность фактически пожизненного пребывания на занимаемой должности. Исключением является разве что бывший президент Кыргызстана А. Акаев, вынужденный сложить президентские полномочия после произошедшей в марте 2004 года «тюльпановой революции». Таким образом, с помощью демократических институтов достигаются цели, противоречащие современным представлениям о демократии и о ее основных принципах. Ситуация выглядит еще более парадоксально на фоне показателей явки избирателей на участки референдума и показателей поддержки избирателями вынесенных на референдум предложений. Во всех рассмотренных случаях явка избирателей превышала 90% и составляла в Казахстане – 91,20% избирателей; в Кыргызстане – 96,20%; в Таджикистане 96,39%, в Турменистане – 99,90%, в Узбекистане в 1995 году – 99,34%, в 2002 году – 91,58%. Выдвинутые предложения поддержали соответственно 95,46%, 97,02%, 93,82%, 99,99%, 99,64% и 93,75%. избирателей, принявших участие в голосовании. Каким же образом в таком случае можно оценить рассмотренный институт референдума? Какую социально-политическую роль он выполняет в системе нового политического устройства. Позволяет ли эта роль характеризовать институт референдума в качестве демократического конституционно-правового института? Как согласуются со столь разительными практическими результатами демократические по содержанию конституционные нормы?; действия политиков, строго придерживающихся установленных правил, высокая активность избирателей? Наконец, как может быть охарактеризована сформировавшаяся система референдумной демократии в рассматриваемых странах?

Обобщая сказанное, можно отметить, что конституционный институт референдума в странах Центральной Азии и в Казахстане в рассмотренных выше случаях по существу является симулякром – правдоподобным образом института демократии. Институт референдума, служащий инструментом достижения целей авторитарного руководства, оказывается не инструментом декларированного народовластия, а побочным явлением, эпифеноменом действительной конституционно-правовой системы, не оказывающим на нее никакого существенного влияния. Роль всенародного голосования здесь – выдать отсутствующее народовластие за присутствующее, а на деле – облачить политическую волю руководства в форму всенародного волеизъявления. Конституционно-правовой институт референдума в таком случае оказывается искаженной копией, муляжом института референдума, воплощенного в современной теории демократии и в конституционном законодательстве развитых демократических государств. Но при этом он является муляжом, копией, подделкой, имитацией, притворством, обладающим

значительным манифестационным потенциалом. Всенародное голосование и почти единодушная поддержка вынесенных на голосование предложений всегда внешне эффектно. Оно заставляет на некоторое время приглушить неудобную критику оппонентов, не смотря на то, что поразительно высокая явка избирателей и почти безоговорочная поддержка ими выдвинутых предложений, вероятно, является свидетельством не столько толерантности, сколько восточной традиции трепетного отношения к власти, желания избирателей идти на встречу любым решениям, выработанным и предложенным властью.

В таком случае практикуемая референдумная демократия в рассматриваемых странах в целом приобретает симулятивный характер. Конституционные нормы о референдуме симулируют идею демократии и маскируют реальную действительность. В последние годы симулятивный эффект референдумной демократии в рассматриваемых странах усугубляется стремлением власти придать решениям граждан решающее значение. Так, согласно законодательству Республики Казахстан и Республики Таджикистан, противоречия между решениями, принятыми на референдумах и Конституцией, конституционными законами, законами и другими нормативными правовыми актами должны решаться путем изменений Конституции, конституционных законов и т.д. для приведения их в соответствие с решениями, принятыми на референдумах. Можно предположить, что подобные конституционные нормы открывают значительные возможности для развития симулятиной демократии: например, решение народа о закреплении пожизненного срока полномочий главы государства должно найти отражение в Конституции и законах…

Конституционное законодательство государств Центральной Азии и Казахстана в рассмотренном аспекте не является исключением на постсоветском пространстве. В Российской Федерации и в других государствах, образовавшихся после распада Советского Союза также время от времени возникают дискуссии о перспективах развития института главы государства, в ходе которых выдвигаются предложения о продлении срока полномочий действующих лидеров. В Республике Беларусь эти дискуссии были переведены в практическую плоскость. На основании решения, принятого на референдуме, состоявшемся 17 октября 2004 года, президент Республики Беларусь А.Лукашенко получил возможность баллотироваться на третий срок сверх предусмотренного Конституцией срока. 79,42% граждан, внесенных в списки для голосования, поддержали предложение президента о принятии новой редакции части 1 статьи 81 Конституции Республики Беларусь, согласно которой из Основного закона страны было изъято положение, не допускающее занятия одним и тем же лицом поста президента более двух сроков.

Продление срока полномочий главы государства – только один аспект более широкой крупной проблемы симулятивной демократии. В относительно непродолжительной истории развития новых независимых государств имеются и другие примеры имитации демократии с использованием механизма референдума. В частности, народным голосованием, проведенным в Азербайджане 24 августа 2002 года, среди прочих поправок к Конституции Азербайждана была одобрена поправка, согласно которой в случае досрочной отставки президента его полномочия переходят к премьер-министру, что фактически означало передачу власти по наследству от Г. Алиева его сыну Э. Алиеву. В свете вышесказанного представляется, что проведение подобных референдумов в какой бы то ни было стране хотя и будет способствовать временному укреплению власти действующих глав государств или доминирующих элит, в конечном итоге нанесет ущерб ценностям современного конституционализма и, прежде всего, дезориентирует избирателя, который вынужден будет ориентироваться на конкретного руководителя страны, а не укрепляться в доверии к конституционному институту главы государства как таковому.

Симуляция демократии, оригинал которой никогда и нигде не существовал – явление общераспространенное и в этом плане любая модель демократического устройства в каждом конкретном государстве является симуляцией идеи демократии. Но современные развитые страны мира, относящие себя к демократическим государствам, пытаются вырабатывать и придерживаться общепринятых стандартов свободных выборов и других демократических институтов. Ориентируясь на эти стандарты, можно сказать, что в современном мире симулятивная демократия начинается там, где исчезает подобие с указанными стандартами.

В.С. Мартьянов

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДИСКУРСА СПРАВЕДЛИВОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Можно выделить несколько ключевых причин отсутствия в современной российской философско-политической мысли дискурса справедливости. Во-первых, отсутствие организованных форм гражданского участия и выражения протеста со стороны значительных социальных групп, неудовлетворенных сложившимся политическим статус кво. Во-вторых, практически всеобщее отрицание необходимости принципиальных перемен в обществе, так как цели вроде бы «самоочевидны» и ясны - демократия, гражданское общество, свобода и т.п. То есть искомый базис нового постсоветского общества построен, а его наладка, раз мы принимаем его базовые аксиомы, представляется областью скорее административного регулирования, нежели философских рефлексий. В-третьих, дискурс справедливости практически несовместим с наблюдаемой сегодня «имплозией масс», проявляющейся в деполитизации общественного сознания, распаде социальных групп и элементарной неявке на выборы. Дискурс справедливости представляет собой нечто обратное – он имеет целью вовлечение в активную политику широких слоев населения с целью изменения несправедливого статус кво. Дискурс справедливости есть дискурс требующий перемен. Наконец, в-четвертых, в массовых представлениях в России справедливость до сих пор содержательно не дифференцируется от понятия Правды, присущего традиционным обществам. Понятие Правды как тождества истины и справедливости имеет дело скорее с вечностью и богом, нежели с посюсторонним состоянием общественных дел «здесь и сейчас». Правда – своего рода дискурс недеяния, который волей-неволей превращается в молчаливую апологетику статус кво. В итоге Правда как эрзац дискурса справедливости трансформируется сегодня в дискурс политического мифа. Этот миф обращается к традиционному здравому смыслу, который мыслит персоналистично и не категориально, что облегчает возможность его целенаправленного конструирования.

Тем не менее, условия для нравственной и критической рефлексии современной российской политики, а дискурс справедливости призывает именно к ней, сегодня все же имеются. В первую очередь это увеличивающийся разрыв сущего и должного в российской политике. В ходе реформ советское общество пережило катастрофу своих базовых ценностей и фундаментальных оснований. В тяжелой экономической ситуации всеобщего распада революционный, по своей сути, дискурс справедливости неуместен. Любые стратегии и социальная рефлексия излишни и неактуальны, когда ключевой задачей большинства является обыкновенное выживание в новых структурах повседневности. Однако общественные трансформации и «реформы» не могут длиться бесконечно. Однажды активные социально-политические преобразования заканчиваются. И тогда наступает этап стабилизации и самоосмысления общества, пережившего

социальный шок непредсказуемых реформ. В условиях благоприятной экономической конъюнктуры, проблема общественной справедливости сразу занимает в России ключевое место: «Революция свободы» 1991 года не завершена без «революции справедливости» и, строго говоря, является лишь ее преддверием».[1] Общество, прошедшее очередной переломный этап своей истории, должно, прежде всего, определиться согласно каким ценностям и целям стоить жить дальше.

И здесь в точке прерывания социальной референции возникает проблема исходной аксиоматики: что может служить новой точкой отсчета, теми самоочевидными принципами и процедурами, которые позволят найти и выразить новую конфигурацию дискурса справедливости, то всеобщий политический интерес, который способен сплотить общество на новом этапе его развития. При этом для всё большего числа людей постсоветская реальность предстает как естественная, базовая. Она уже не несет на себе следов исторической производности «от советского». Эта новая реальность все чаще воспринимается не только как уже сложившаяся («точка отсчета»), но и одновременно как должная (цель, идеал). Подобное тождество реального и должного указывает на то, что в современной российской политике совершенно отсутствует дискурс утопии. Должное просто становится проекцией привычной реальности вовне – в пространстве и времени. А поскольку утопии нет, проецировать нечего даже в рамках самой этой реальности, не говоря уже о целостных альтернативах ей извне. Целостной альтернативой извне современному российскому обществу выступает только СССР. Однако СССР является исходной, а не конечной реальностью, эффективность которой в символических конструкциях объяснима лишь ностальгией, а отнюдь не реальной опасностью возврата к советским временам и разрушения общества, существующего «здесь и сейчас».

В складывающемся в современной России информационном обществе, где целенаправленное конструирование реальности достигло больших успехов, именно эта сконструированность, «воображаемость» общества замечается меньше всего. В отсутствии общепризнанной традиции, точек отсчета в виде консолидирующих общество ценностей и смыслов, трансформация «воображаемого общества» становится особенно успешной. Большинство населения, особенно молодежь, уже находится внутри постсоветской реальности как «естественного социума». Однако легитимирующая этот актуальный социум картина мира (еще/уже) не сложилась, в ней наличествует множество антагонистических слоев. По сути, она не имеет внутреннего стержня и представляет разнонаправленную мутацию как самого позднесоветского общества, так и типа сложившейся в нем личности. Проблема же консолидации нового российского общества представляет собой задачу нахождения эффективных оснований дискурса политической справедливости.

Между тем, теория справедливости, которая является интегральной проблемой политической философии, в настоящее время практически не разработана в отечественной политической мысли. Синтетическая концепция политической справедливости как набор взаимосвязанных ценностей, смыслов и целей обусловливает код интерпретации всех прочих политических ценностей - свободы, прогресса, закона и т.д. Состояние рефлексии дискурса справедливости в современной России, несмотря на отдельные яркие работы по общей проблематике справедливости, принадлежащие перу Т.А. Алексеевой, Б.Г.Капустина, В.В. Вольнова, М.В. Черникова и ряда других авторов, следует признать неудовлетворительным. При этом дефицит осмысленных концепций справедливости как и аксиологической легитимности в основании постсоветский политики несомненен. В нынешней западной политической мысли концепции справедливости разработаны в ряде фундаментальных работ Дж.Ролса, И.Шапиро, Р.Дворкина, У.Кимлика, П.Бурдье, П.Рикера, М.Уолтцера и многих других политических философов. Предложенные ими подходы к политической справедливости, возможность практической применимости этих

[1] Делягин М. Социально-экономическая программа // Свободная мысль-XXI, 2005, №7

концепции в различных (в том числе отечественных) социокультурных реалиях являются сегодня предметом постоянной критики и споров, формируя искомый интегральный дискурс справедливости на Западе.

Между тем, на постсоветском пространстве, как ни странно, ничего подобного не происходит, несмотря на то, что в постсоветский период радикальной трансформации подверглись не только и не столько привычные политические институты и практики. Изменились, прежде всего, аксиологические основания политики, то есть политические представления о должном – справедливости, свободе, равенстве, законе, социальных нормах, отношении человека и общества, смысле жизни. В результате революционных изменений отечественной политики постсоветский политический режим вынужден конструировать новый «аксиологический каркас», который могли бы стать его «естественно-правовым» основанием. В настоящее время можно наблюдать многочисленные попытки сконструировать «национальную идею», используя в качестве легитимирующих ценности стабильности, порядка, государства, прагматизма, экономического роста, сохранения статус кво. Однако существует серьезные сомнения в том, что перечисленные ценности действительно смогут стать аксиомами, легитимирующими новый политический порядок. Проблема в том, что постсоветское общество до сих пор не выработало новых оснований и интегральных критериев социально-политической справедливости, взамен советских, устраивавших большинство населения до свершившегося в конце 20 века восстания советской элиты. Можно согласиться с тем, что нынешняя властвующая элита России реалистично оценивает ситуацию в стране, а официальный дискурс власти пронизан здравым смыслом. Но этого недостаточно, так как контроль настоящего есть прерогатива права, а не политики, определяющей будущее. Здравый смысл не может служить основанием национальной идеи уже в силу того, что он слишком банален, трезв, ограничен настоящим и обывательски наивен. Нацидея - это утопия, идеал будущего, которого сегодня не предлагает ни оппозиция, ни власть. Для левых утопия в прошлом, для правых - утопия воплощена в настоящем - современном Западе. Но никто не видит утопию России в будущем. Поэтому закономерен пессимистический вопрос - если никто не видит будущего России даже в самой России, возможно ли оно?

Очевидно, что национальная идея не есть что-то естественно данное. Нацидея целенаправленно конструируется элитой, однако реальной она становится тогда, когда «овладевает сознанием масс», превращаясь в план реализации утопического проекта общественной справедливости. Для этого справедливость должна приобрести «народную перспективу». И здесь проблема видится в том, что сознание нынешней российской элиты а-утопично. Ее все устраивает. Но как заметил замглавы администрации Президента РФ В.Сурков – в России помимо элиты еще есть «140 миллионов бедных родственников». Причем нынешняя элита представляет собой нечто прямо противоположное квинтэссенции этих «бедных родственников». Оффшорность» российской элиты по определению не позволяет ей сформулировать эффективность дискурс справедливости, приемлемый большинством. У элиты план желаемого полностью совпадает с планом действительного, она уже живет в реальной утопии, которая считается устроенной справедливо (за исключением мелких недостатков). Поэтому ничего иного как «продолжать» свое существование в неизменном виде она не хочет. Проблема лишь в том, что отсутствие серьезных перемен и простое наложение сложившихся демографических и экономических тенденций на ближайшие полвека ведет в большинстве глобальных геополитических прогнозов к исчезновению России в нынешнем виде с политической карты мира. Таким образом, возможность формулировки нацидеи связана с «народной перспективой» и дискурсом справедливости, предполагающим стремление к изменению сложившихся общественно-политических и экономических трендов. Но признание необходимости подобных перемен означает констатацию того факта, что нынешняя

действительность несправедлива, на что властная элита пойти не может. Соответственно дискурс справедливости призваны тематизировать оппозиционные и маргинальные элиты.

Таким образом, автор данной статьи не может назвать в постсоветском периоде ни одной успешной попытки выразить концепцию справедливости, базирующуюся на агрегации политического интереса российского общества, приемлемую для большинства и опирающуюся на его молчаливое согласие. Поэтому, прежде чем обсуждать необходимость интегральной национальной идеологии следует подумать над самой ее возможностью. Проблема состоит в том, что состоявшиеся на практике и в массовом сознании россиян сдвиги в интерпретации оснований политической справедливости остались практически не осмыслены отечественной политической наукой. Между тем, влияние актуальных изменений понятий о должном в политике – справедливом и несправедливом, добре и зле – которые стоят за политической практикой, трудно переоценить. В последние десятилетия в российской политике возникли новые политические институты и типы мышления, которые все уверенней вытесняют привычные модернистские идеологии и утопии. Онтологические изменения «повседневности» серьезно опередили развитие категориального и методологических аппаратов общественных наук, призванных их уловить и зафиксировать. Попытки понять реальность с помощью «вчерашних концептов» заранее обречены на неудачу. Образовавшийся «аксиологический вакуум» политики возникает из умолчаний о фундаментальных ценностных противоречиях политических теорий и вытекающих из них политических практик. Эти противоречия неразрешимы апелляцией к онтологической аргументации – реальности, фактам, здравому смыслу – имея для идеологически различных «политических картин мира» аксиоматический характер. Отсюда, как следствие, необходимость в переосмыслении нормативных основ отечественной политики в целом, в ее связи с социокультурными и историческими детерминантами действующими «здесь и сейчас». Справедливость как проблема рождается и осмысляется на стыке морали, политики и права. Справедливость лежит в основании общественного порядка, обеспечивая его легитимность. В настоящее время интегральные основания справедливости советского общества дискредитированы, а легитимных в глазах всего общества оснований нового политического режима до сих пор не предложены. Тем не менее, варианты идей, претендующих на эту роль, начинают все активней апробироваться в политической риторике и практике.

Нам представляется, что начальным импульсом для размышлений о дискурсе справедливости является моральное неприятие статус кво, констатация несправедливости общества, которая и рождает справедливость в качестве политической проблемы. В дискурсе справедливости не обойтись без морализации политики, ее вывода из области имманентного в сферу должного. Рассуждать о справедливости «объективно» и «научно» невозможно. Дискурс справедливости субъективен, так как справедливость не является количественно определяемой величиной, которую можно рассчитать математическими или экономическими методами. В самом общем виде справедливо то, что считается таковым большинством населения. Справедливость есть выражение фундаментального согласия народа с существующей в данном обществе политической системой, законами, институтами и практиками. Как правило, это согласие является молчаливым. Это согласие легитимирует демократический политический режим и властные институты в ходе выборов и/или референдумов. Таким образом, реализация принципов справедливости определяется не наличием неких конкретных институтов, например институтов демократии, не уровнем потребления или средним уровнем дохода – попытка количественной «оцифровки» понятия была бы ложным упрощением проблемы. Справедливость всегда связана с оценочными суждениями. Тупиковыми также представляются попытки определения всеобщей и вне-исторической версии справедливости, тем более ориентированной на некие «бесспорные» эмпирические критерии. Дискурс справедливости не универсален, будучи постоянно подвержена

исторической и цивилизационной переоценке ценностей. Данную задачу из раза в раз пытается разрешить любая политическая элита, обосновывая свою версию интегральной справедливости для данного общества, которая предполагает, что «жить стало лучше, жить стало веселей».

Справедливость есть то, что должно быть, а не то, что есть. Справедливость является квинтэссенцией политического именно потому, что политика по своей сути является конструктивной и креативной деятельностью. Политики создают будущее, а истинно политическую мысль интересует то, что должно быть, а не то, что есть. Справедливость есть дискурс социальной утопии, которая никогда в полной мере не обретает своего земного воплощения. Поэтому трансцендентный пласт справедливости по определению не может быть обоснован посюсторонними суждениями и фактами – идея справедливости автономна от онтологической аргументации. В своей утопической перспективе дискурс справедливости стремится подчинить себе социальные факты настоящего. Поэтому дискурс справедливости телеологичен. Средства достижения справедливости играют подчиненную роль, так как они уже содержатся в цели. Справедливость является высшей политической ценностью, мерой целей в политике.

В силу этого представляется очевидным, что справедливость в качестве проблемы не может возникнуть в официальном дискурсе властной элиты, подчиненном апологетике настоящего. Ведь дискурс справедливости закономерно критичен к статус кво. Не приемля доминирующей версии социальной действительности, дискурс справедливости является прерогативой широкой оппозиции, связанной с альтернативными версиями современности, которые содержатся внутри нее самой. Справедливость есть критерий легитимности политического порядка. Потребность общества в справедливости обусловлена тем, что только справедливость позволяет сделать формально легальное легитимным, сблизить эти два пространства политики, будь то политическая рефлексия ученых, практика реформ или революций.

В коммунитарной политической традиции, традиционно преобладающей в России, принято исходить из посылки, что политическая справедливость выражается через всеобщий (национальный) политический интерес как долгосрочную выгоду всех членов общества. Поэтому достижение справедливости превращается в проблему установления и соблюдения всеобщего политического интереса, который в реальной политике из-за постоянного конфликта социальных интересов всегда «ускользает». В действительности политический интерес общества всегда является, если воспользоваться гегелевской терминологией, агрегацией, историческим компромиссом особенных и частных политических интересов. Всеобщий интерес устанавливается обществом внутри себя самого, через выработанные в нем механизмы и процедуры согласования интересов. Институты государства и различные общественные институции (традиция, обычай, выборы, рынок, авторитетные сообщества экспертов) являются лишь площадками согласования этого интереса, способом возвышения частного интереса до всеобщего. Собственно только в процессе согласования всеобщий политический интерес и возникает.

Здесь справедливость предстает как «оптимальная» и «правильная» для данного общества иерархия ценностей, подчиненная общенациональному интересу. Критерии правильности обычно отождествляются с молчаливым согласием масс, а всеобщий политический интерес в современных обществах принято приписывать нации-государству. Основная проблема заключается в компромиссном характере национального (общегосударственного) интереса, его все большей «невыводимости» в условиях глобализации. Дискредитация теорий современных обществ как «классовых» обусловила необходимость поиска новых структурно-ролевых идентичностей. Следствием этого стал кризис таких высоких форм идентичности как нация-государство, класс, идеология и, соответственно, эффективность идентичностей и интересов более мелкого, локального порядка. В настоящее время отказ от конструктивного поиска общенационального политического интереса как фундамента справедливости осуществляется под предлогом

его репрессивности по отношению к различного рода меньшинствам. Но существуют ли достойные альтернативы нации-государству как финальному, «предельному» субъекту справедливости? Наблюдаемая в современных нациях ситуация «взрыва» новых идентичностей имеет серьезные последствия, деконструирующие общегражданский дискурс справедливости, который «удерживает» от распада современные нации-государства. При этом, во-первых, оказалось, что мультикультурализм, как борьба за справедливость в отношении меньшинств, способен мгновенно оборачиваться этнонационализмом, а требования самобытности - борьбой за неоправданные привилегии. Во-вторых, ускоренное размывание социокультурного и этноконфессионального ядра национально-государственной идентичности стран ЕС, США и России может стать в среднесрочной перспективе необратимым и привести к распаду сложившихся наций-государств. Привычные согласительные процедуры и практики все менее эффективны в выработке фундаментальных оснований справедливости «больших обществ», подтачиваемых с разных сторон процессами глобализации и дезинтеграции.

***

Справедливость как идеологический дискурс рождается в эпоху Просвещения. Этот дискурс тесно связан с идеей прогресса. Здесь справедливость входит в противоречие со своим историческим предшественником – религиозно-мифологическим дискурсом Правды, присущим традиционным обществам. Дискурс справедливости актуализируется путем морализации политики. Поиск справедливости движет историческими политическими субъектами, оценивающими настоящее как несправедливое. В результате политическое настоящее дискредитируется, а «воображаемое социальное» приобретает характер руководства к действию. Для реализации утопии настоящее является если не тупиком, то, по крайней мере, болезнью, которую необходимо излечить. Тематизация оснований справедливости неизбежна во «времена перемен», когда в реальную политику оказывается вовлечена большая часть общества. Таким образом, например, во времена буржуазных революций произошла делегитимация священных порядков «справедливых монархий» и осуществлен переход к более справедливым обществам, основанным на концепциях общественного договора.

Дискурс справедливости в современных демократиях обычно отождествляется с выражением всеобщего блага, финальным субъектом которого призвана быть нация-государство, а юридическим выражением – негласный общественный договор. Но конечной монополии на интерпретацию всеобщего блага, по сути, нет ни у государства, ни у иных общественных институтов и социальных групп. Более того, мнение и воля большинства, выраженные с помощью выборов, не всегда совпадают со знанием о «всеобщем благе». История знает немало примеров, когда большинство фатально ошибалось, взять, например, приговор Сократу. Соответственно и новый дискурс справедливости не всегда реализуется в будущем как всеобщее благо, особенно с точки зрения социальных групп проигравших битву за историю.

Дискурс справедливость субъективен, релятивен и подвержен постоянному общественному пересмотру, будучи вписан в историю, в существующие в обществе и постоянно корректируемые коллективные практики, институты, традиции. Актуализация проблемы справедливости возникает в результате прерывания привычной, «властной» версии самореференции общества. Следовательно, дискурс справедливости критичен и утопичен в отношении статус кво, ставя под сомнение основания настоящего политического порядка. Призывая к фундаментальным переменам, дискурс справедливости на практике часто сопряжен с насилием. Для радикального революционного дискурса справедливости легитимна лишь цель. Дискурс справедливости исходи не из того, что «когда то было» (традиция) или «есть» (критика режима), но из того, что «могло бы быть», то есть утопии. При этом оправданием дискурса справедливости выступает его претензия на преобразование насилия через идею

справедливости в будущее право, то есть легальное насилие. Если в основание законов кладется лишь грубое насилие, то власть, опирающаяся на него, может полагаться только на страх и воспроизводить рабов, а не граждан. Такая власть недолговечна, как показывают в своих фундаментальных работах Н.Макиавелли и Э.Канетти. Именно идея справедливости способна превратить насилие в легитимное средство. Здесь с помощью идеи справедливости осуществляется переход от формальной легальности, требующей соблюдения закона (согласен ты с ним или нет), к легитимности, суть которой - разделение большинством граждан тех идей, которые лежат в основании легального насилия. Легитимные законы (режимы, строи, порядки) соблюдаются не из страха наказания и репрессивных санкций, а потому, что люди добровольно разделяют существующие ограничения, запреты и обязанности в обмен на набор неких прав, считая такой порядок естественным и справедливым.

В общем виде дискурс справедливости заключается в формулировке легитимных идеологем, которые можно заложить в будущие законы. По сути дискурс справедливости есть попытка заложить альтернативные естественно-политические основания для нового строя, которые могли бы быть восприняты большинством как легитимные. По нашему мнению, сегодня в России наиболее эффективные и последовательные попытки выработки такие оснований осуществляются не столько в рамках традиционных политических учений (либеральные, консервативные, социал-демократические проекты), сколько посредством «ультра-проектов» - экстремистских, экологических, эсхатологических, фундаменталистских, историософских, реваншистских и т.п.

Относительная стабильность российского общества в настоящее время не может быть поводом для самоуспокоения, так как в нем отсутствует интегральный дискурс справедливости. Проблема именно в том, что в обществе подспудно зреет ощущение несправедливости сложившегося общественного порядка. Это ощущение субъективно и не связано напрямую с уровнем жизни, но скорее с социальным расслоением и общими внутренними напряжениями в обществе. Диагноз нашего времени состоит в иррациональном и массовом ощущении отсутствия у России будущего, его неочевидности, что в свою очередь оборачивается кризисом легитимности властвующей элиты. Вместе с тем, легальному насилию в политике можно противопоставить лишь новое насилие. Но чем может быть качественно отлично это новое насилие от привычного порядка вещей? Пожалуй, только претензией на справедливость или на большую степень справедливости. Пока можно констатировать лишь все более интенсивный общественный запрос на новые политические проекты, утопии, образы будущего, которые побудят российское общество к действиям, направленным на активное преобразование сложившегося статус кво. Но причиной перемен может стать лишь формирование нового интегрального дискурса справедливости в российском обществе, который так и не был сформирован в постсоветский период. И в основании этого дискурса, хотим мы этого или нет, может лежать лишь неприятие «энкратической» версии существующего общественно-политического порядка.

Статья подготовлена при поддержке грантов Президента РФ № НШ-2228.2003.6 и № МК-953.2005.6

К.В.Киселев

ДИСКУРС РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В 2003 - 2006 гг. мне пришлось достаточно много поездить по регионам Урала, Поволжья и Сибири. Приходилось разговаривать с самыми разными людьми, участвующими в политическом процессе и политикой интересующимися: от простых избирателей, агитаторов и разносчиков предвыборной литературы до губернаторов, депутатов разнообразных собраний и дум, мэров городов и районов. У большинства из них слова «регион», «субъект Российской Федерации», «область», «край», «Урал», «Сибирь», «Прикамье», «Поволжье» и т.п. употреблялись не в связке с Россией («регион – Россия»), а в противопоставляющем сравнении с каким-либо иным регионом, иной территорией или же Центром, Москвой, Кремлем. Причем, по выбору субъекта сравнения можно было смело судить о благополучности, развитости и даже перспективности той или иной административной территории, того или иного субъекта РФ.

Если кто-то с гордостью говорил, что у нас лучше, чем в Кургане, Урюпинске, Арзамасе, N-ске, то смело можно было человеку сочувствовать. Когда другой утверждал, что у нас дороги лучше (улицы шире, сметана гуще, чай крепче и т.п.), чем в Екатеринбурге или Новосибирске, то можно было понять, что Екатеринбург и Новосибирск все же опережают сравниваемый с ними город, являясь для него критерием оценки и образцом для подражания.

Другими словами, как в массовом, так и в политическом сознании обнаружилась весьма устойчивая, разветвленная система символов, связанных с теми или иными территориями, через которую и проявлял себя дискурс региональной идентичности. Этот дискурс и эта символическая система динамичны, у них есть история. Детальный научный анализ дискурса региональной идентичности даже в одном из субъектов какого-либо федерального округа требует и специального исследования, и времени, и средств. Поэтому ограничимся лишь некоторыми замечаниями, вытекающими из собственных наблюдений и интервью с представителями политической элиты и экспертного сообщества следующих субъектов РФ: Башкортостан, Кировская область, Красноярский край, Москва, Нижегородская область, Новосибирская область, Пермский край, Самарская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Тамбовская область, Тюменская область, Удмуртия, Челябинская область, ХМАО, ЯНАО и некоторых других.

Позиционирование

Обратим внимание лишь на один из аспектов (вариантов) проявления дискурса региональной идентичности того или иного региона в России: его отношение к столице.

Общественное мнение до сих пор считает, что в России было и есть две столицы. Первая и вторая. Москва и Санкт-Петербург. На самом же деле послереволюционный Питер постепенно утрачивал свою столичность, оказавшись к началу 90-х гг. прошлого века городом, если не совсем провинциальным, то уж точно не столичным. И прежде всего по экономическим показателям. К этому времени Москва окончательно победила «вторую столицу» и реализовала свою централистскую сущность, проявлявшуюся в истории России многократно. Особенно в ее имперские периоды.

Как черная дыра Москва втягивала (и продолжает втягивать) финансовые, интеллектуальные, культурные, административные и иные ресурсы. Вся остальная Россия оказалась пылевидным облаком, вращающимся вокруг златоглавого светила. И чем более столичной становилась Москва, тем провинциальней и неотличимей друг от друга оказывались регионы. В том числе и Питер.

Но Питеру повезло с историей и общественным мнением. Устойчивые словосочетания «вторая столица», «северная столица», «музейная столица», «культурная столица», «столица русского рока» и т.п., сознательно или просто по привычке использовавшиеся по отношению к Ленинграду – Санкт-Петербургу оказались настолько сильными символически, что просто обязывали ленинградцев-петербуржцев конкурировать с Москвой. Иногда Москву просто презирали за «некультурность», за неинтеллигентность, отсутствие укорененной интеллектуальной элиты. Старая питерская интеллигенция. Это звучало! Питер считался более свободолюбивым, более либеральным.

По отношению к Москве такое символическое позиционирование «обозначалось» просто – «Москва – большая деревня».

Но Москва продолжала свое дело. И к середине 90-х гг. она уже она не отставала от Питера ни по «культурности», ни по либеральности (события 1991 и 1993 гг.), а по финансам и престижности опережала кратно. Утратив экономический и прочие «материальные» потенциалы, «вторая столица» постепенно начала растрачивать и свой стратегический символический запас. Дело стало немного поправляться в связи с празднованием 300-летия города и приходом к власти в стране «питерской команды» во главе с Владимиром Путиным. Однако символическому выздоровлению препятствовали и препятствуют объективные факторы централистской направленности.

Сегодня Москва уже однозначно воспринимается не как один из субъектов РФ и даже не просто как «столичный» субъект РФ, но как Центр России, как то, откуда все начинается и куда все стекается, как Центр Власти и Богатства. Москва оказалась противоположена России, одновременно оставаясь ее частью. Питер естественным образом оказался за пределами Москвы как российского Центра.

На фоне символического позиционирования Питера как второй столицы другим регионам ничего не оставалось делать, как бороться за «звание» столицы третьей. В этом позиционировании всех опередили три города: Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск. Пермь, Челябинск, Самара, Уфа, Тюмень и другие очевидно отстали. Я уже не говорю о Пензе, Тамбове, Воронеже, Туле, Ульяновске и т.д.

При этом наблюдается любопытная закономерность: называя себя «третьей столицей» массовое сознание названных трех городов сравнивает себя именно с Москвой, признавая за ней эталонность, а не с Питером, который остается как бы вне сравнения, в стороне. И действительно Питер по многим показателям уже не критерий, во всяком случае, для Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Активные жители трех третьих столиц очень часто считают себя более пассионарными, чем петербуржцы, которых снисходительно называют «малохольными и малокровными». Особенно это заметно в Екатеринбурге. Новосибирск, ощущая свою отдаленность от культурных, финансовых и иных потоков, постепенно становится очередной банальной «столицей Сибири», и на сравнение с боле отдаленным Питером не претендует, а Нижний Новгород, напротив, чрезвычайно зависим от Москвы, а потому «глаза у его замутены» близостью к столице первой.

Позиционирование по отношению к Москве дает на самом деле очень многое, в том числе для развития региона. Например, общественное сознание в Свердловской области уже в 80-е – 90-е гг. стало позиционироваться не по отношению к соседним регионам, а по отношению к федеральному центру, к Москве. В частности, символический (но не политический!) смысл Уральской республики содержался, на самом деле, не только и не столько в заявке на выравнивание статусов субъектов РФ, но и в вызове властей Центра на политическую дуэль. И дуэль эту, заметим, Свердловская область провела с честью. Соответственно все другие регионы, которые столь жестко не оппонировали Центру, вольно или невольно вынуждены до сих пор воспринимать Свердловскую область не просто как один из многочисленных субъектов РФ, но как реального конкурента, имеющего особое значение, особый политический статус. Например, В Новосибирске сравнения с Екатеринбургом звучат много чаще, чем в Екатеринбурге сравнения с сибирской столицей. Другими словами, в 1995 г. в Свердловской области были заложены основные параметры символической системы защиты региональных экономических и политических интересов от экспансии и из других регионов, и из Москвы.

Но сегодня этого становится мало. Символическая «третьестоличность» начинает буксовать. Например, нет никаких гарантий, что завтра третьими столицами себя не объявят еще пять-десять городов: Уфа, Казань и т.д. Позиционирование по отношению к Москве ставит даже передовые регионы («третьи столицы») в ситуацию «догоняющих», второстепенных, неравных. Питер – «вторая столица» никогда не станет первым, ибо для

него эталоном все равно является Москва. Не Стокгольм, Хельсинки или Венеция, но Москва.

Но самое главное заключается в том, что позиционирование регионов в системе координат «регион – Москва», «регион – Центр» играет на руку Москве и центральной власти. В такой системе координат регионы никогда не смогут самореализоваться, они навсегда останутся периферией, провинцией.

Современное символическое позиционирование российского региона, намеревающегося не просто выживать, а развиваться, может быть только одним – по отношению не к Москве, а к СОВРЕМЕННОСТИ, к современной Европе, современному Китаю, к Японии, к США и т.д. Москва тоже может присутствовать в этом позиционировании, но не как «наше все», а как один из городов, представляющих современную цивилизацию и культуру, если, конечно, она этого будет достойна.

Другими словами, нужно сделать символический пропуск хода, символически обогнав Москву. И если Москва сегодня пытается оказаться в символической Европе, то там же должны стремиться оказаться и другие регионы, которые объективно отстают от Москвы. Пошаговая символическая стратегия устарела. Кстати заметим, на наш взгляд, первым в символической Европе окажется именно Санкт-Петербург, ибо европейские одежды ему более к лицу, чем Москве. Нужно сменить лишь систему координат, в которой Питер и другие российские регионы оказались благодаря организованному коллапсу федеративных отношений.

Большой проект

Символическое позиционирование региона предполагает наличие одной или нескольких идей (проектов), реализация которых, позволяет региону выделиться из десятков других, мобилизует население и элиту. По большому счету эти проекты не обязательно нацелены на мгновенный «современный (европейский) эффект», но обеспечивают присутствие в информационном пространстве, как минимум, страны и делают массовое/элитное сознание региона косвенно причастным к основным мировым вызовам, трендам, культуре.

Реальная политическая и символическая практика уже наработала множество вариантов такого рода проектов. Перечислим лишь некоторые из них.

Проект промышленный – гигантская стройка, открытие современного производства, модернизация действующего, создание мощного совместного предприятия и т.п.

Проект международный – открытие строительство международных центров, привлечение иностранцев ля создания чего-то «иностранного» (итальянская деревня в Екатеринбурге), вписывание города/региона в международное логистическое пространство, открытие торговых представительств, консульств и т.п. (Екатеринбург – консульский центр) и т.п.

Проект спортивный – проведение Олимпиады (как вариант, Игр доброй воли), строительство трассы Формулы-1, проведение регулярных международных соревнований и т.д.

Проект укрупнения – постоянный рост территории, присоединение новых территорий, принадлежащих соседним регионам, и т.п.

Новый город (район) – строительство нового города (Санкт-Петербург, Вашингтон), перенос столицы (или части столичных функций) в новый город (Астана). Новый город всегда несколько десятилетий - современный город, в котором аккумулируются новые техники и технологии. В этом отношении он более динамичен, более устремлен в будущее. Проблема многих российских городов – старость, историчность, которая часто тянет назад. Гордость за историю часто перерастается в стремление сохранить прошлое всеми силами, в отрицание перемен, их неприятие. Другими словами, в дискурсе региональной идентичности всегда есть место проблеме вечности и мимолетности, истории и современности. В 70-80-е гг. прошлого столетия Новосибирск и Нижний

Новгород были (считались) более современным, более столичными, более перспективными городами (по архитектуре, по научному потенциалу, наконец, по региональной пассионарности и т.п.). Но за двадцать-тридцать лет они не обновились (не было необходимости, ведь они были новыми!), тогда как Екатеринбург, Казань совершили прорыв, обогнав по этим же показателям бывших лидеров.

Проблема «новое – старое» в дискурсе региональной идентичности имеет и сугубо практическое приложение. Например, практически в каждом городе есть новостройки, которые устарели уже в ходе строительства. Или, в Екатеринбурге (и он не исключение) достаточно «свежие» микрорайоны панельных многоэтажек (Юго-Западный, часть Ботанического и Заречного) на глазах превращаются в трущобы. Таким образом, стратегическое планирование города/региона всегда должно предполагать импульс не только созидательный, но и возможность отрицании, разрушения, отказа даже от ближайшего прошлого, с одной стороны. И возведения бесспорно вечного, с другой.

Имиджевые проекты могут быть самыми различными: от проведении выставок международного уровня и организации симпозиумов и конгрессов до ваяния оригинальных помтников.

Очевидно, что проектов может быть великое множество, но есть минимум два обязательных требования к любому из них. Во-первых, если масштаб проекта хотя и имеет значение, но не определяющее, то *уникальность* проекта принципиальна. Например, масштабность Метрополитен музея и Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке несопоставимы, но их известность вполне сравнима. Не нужно иметь 5 тысяч картин, нужно иметь 50, но уникальных, в том числе и по месту и характеру их экспонирования. Во-вторых, проект, способствующий формированию или корректировке современной региональной идентичности, должен быть сопровождаем, обеспечен современной символикой, доступной *не только региональному восприятию, но имеющей мировое значение*. Посконные символы в России уже никого не удивляют. Например, памятник Даниле Мастеру (герой сказов П.П.Бажова) уже никого не в изумление не приведет. Слишком местечково. Каслинское литье сегодня тоже мало кого поражает. А вот все, что связано с гибелью одной из европейских царских династий, - явно доступно любому.

Кстати, памятники, хотя редко являются доминирующим основанием дискурса региональной идентичности, но роль вспомогательного средства безусловно выполняют. Поэтому количество и качество памятников – вопрос принципиальный. И тут уж возможности для творчества беспредельные: памятник первым людям, побывавшим на Марсе, первым инопланетянам, путешествовавшим по Уралу, первому БОМЖу, неопознанному летающему объекту, всем проезжавшим через Екатеринбург (скульптурная композиция), памятник «Шести соткам», Шахматам, Свободной Журналистике, Льву Гумилеву, Ивану Ботхитхарме, который движется с Юга на крыльях весны, свердловскому року, Машине времени, Биттлз и персонально Д.Леннону, сержанту ГАИ, Нельсону Манделе, Тутанхамону, Джоконде, Бунюэлю, Дружбе ЦРУ и ГРУ, Золушке, Буратино и т.д. Стоит только приветствовать, например, появление памятника компьютерной клавиатуре в Екатеринбурге. Оригинальность замысла, простота воплощения и вменяемость рекламного посыла – все это сделало памятник известным практически мгновенно. Пусть памятники будут разными. И не только имени Церетели или Грюнберга. Для памятников не обязательно нужны площади. Подходят скверы и парки, набережные, проспекты. Еще несколько примеров. На всероссийском кокурсе необычных монументов в тройку лидеров вошли Памятник человеку-невидимке, представляющий собой плиту с отпечатками ступней, Чижик-Пыжик с набережной Фонтанки, памятник со странным названием "Антон Павлович Чехов в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего "Каштанку" и другие.

Условия

Очевидно, что для формирования современного дискурса региональной идентичности необходима определенная среда. Причем, основные параметры этой среды также понятны. Например, в Питере и Верхотурье одинаково много истории. Верхотурье вообще есть сама история. Количество средств, вкладываемых в сохранение истории и в Питере, и в Верхотурье (на каждый памятник истории и архитектуры) вполне сопоставимо. Но только в Питере возможно формирование современного дискурса идентичности, а в Верхотурье едва ли. Потому что Верхотурье, равно как и тысячи других регионов и местечек, фактически выключено из современности. Дороги, гостиницы, мобильная связь, Интернет, транспорт, банки, сфера обслуживания – все эти атрибуты современной инфраструктуры Верхотурье практически не затронули. Таким образом, первым условием для современного позиционирования является включенность региона (субегиона), города в современную инфраструктуру и коммуникацию.

Вторым столь же важным условием – наличие гуманитарной, шире интеллектуальной среды, которая способна продуцировать символические ценности, сохранять их и транслировать. Современная ситуация в России в этом отношении явно не благоприятно. Позиционирование по линии «регион – Москва», которое доминирует сегодня, например, очевидно не способствует сохранению интеллектуального потенциала в области. Еще более неблагоприятная ситуация в соседних (тех же нефтегазодобывающих) регионах, где утечка кадров в Москву, Питер, Екатеринбург иногда приобретает просто катастрофические масштабы.

Проблема провинции – утечка мозгов. Мозги утекают не за границу. Зарубежные страны отсасывают интеллект, но не в таких масштабах, как это делает Москва. Москва отсасывает менеджеров, людей активных, молодых, мобильных, которые видят массы возможностей там, но не видят здесь.

Когда мне, екатеринбуржцу, говорят, что в Москве челябинская или пермская, или нижегородская диаспоры крепче екатеринбургской я радуюсь. Ибо это значит, что большинство «наших» осталось здесь. Но последние тенденции настораживают. «Мыслящая интеллигенция» и менеджеры стали уезжать и из Екатеринбурга. С одной стороны радостно за наших. За знакомых. С другой – с ростом новых кадров можно и не успеть. Осуждать, естественно, никого нельзя. Человек всегда будет там, где лучше. Просто это значит, что сегодня в регионах стало хуже. Не в абсолютном значении, но в относительном – абсолютно точно. Другой пример, если наличие загородного Академгородка считалось благом, то сегодня Новосибирск отстает, в том числе, потому что Академгородок расположен в 30 км от города. Это проблема и для ученых, и для города. Гуманитарная среда была разорвана.

Третье условие – наличие демократической конкуренции. При этом, очевидно, что демократичность значима не только сама по себе (сколько не повторяй «Демократия. Демократия. Демократия», халвы больше не будет), но в ее позитивном влиянии на экономические процессы. Плоды этой политической конкуренции сегодня мы можем видеть отчетливо в Свердловской области: социальная и экономическая инфраструктура города и области по большинству параметров более продвинута, чем во всех соседних (даже более богатых нефтяных и газовых!) регионах.

Кроме того, политическая конкурентность способствовала сохранению гуманитарного потенциала области, ибо формировала и обеспечивала востребованность экспертного сообщества. Как это ни парадоксально звучит, но гуманитарный потенциал области был сохранен во многом благодаря наличию публичной политики. Обратное влияние гуманитарной среды на качество политического и экономического менеджмента трудно переоценить. Не случайно и тюменцы, и челябинцы, и пермяки столь большое внимание уделяют привлечению гуманитарных (шире, научных) кадров в свои регионы. Однако создать зрелый «гуманитарный фон», гуманитарную среду им пока не удается. Для этого требуется не один десяток лет и значительные ресурсы.

Наконец, возможности формирования современного регионального дискурса идентичности в России невозможно без определенных усилий федеральной власти или, по меньшей мере, ослабления централистских тенденций.

Дело в том, что потенциал федерализма с приходом В.Путина до конца реализован не был. Точнее, новая команда с энтузиазмом, достойным лучшего применения, стала искоренять любую федералистскую «ересь», противную новой центростремительной моде. Это не могло не сказаться на развитии прежде всего передовых, экономически самостоятельных регионов. Межрегиональная конкуренция все больше стала перетекать в сферу административного лоббизма. Критериями оценки региональных проектов все чаще стали становиться критерии лояльности, «командности», приближенности «к телу» и т.п. Кремль, вольно или невольно, вновь начал выглаживать и причесывать российские регионы. Причем приглаживать так, что действительно мощных инструментов и механизмов для противостояния централизму у большинства регионов не осталось. Разве только у республик Северного Кавказа и, пожалуй, Татарстана, которые всегда могут шантажировать Центр угрозой радикального национализма. Что делать остальным?

Во-первых, регионы начинают отстраивать лоббистские механизмы. Во-вторых, некоторым регионам «помогли» протестные массовые движения социального характера, которых Центр явно боится. В-третьих, власти некоторых регионов стали все более интенсивно взаимодействовать с федеральными ФПГ, которые в своих контактах с Москвой решали в том числе и региональные проблемы. И т.д. Но очень мало кто в непростых условиях нарастания централистских тенденций и обострения межрегиональной конкуренции противопоставил всему этому продуманную символическую политику, продуманное региональное позиционирование, основанное на понимании перспективности и позитивности формирования современных дискурсов региональной идентичности. Впрочем, в оправдание региональных лидеров стоит сказать, что в современных российских условиях без разрешительной воли «центральной власти» целенаправленное формирование региональной идентичности представляет угрозу самим субъектам, инициировавшим этот процесс.

О.Ф.Русакова, А.Е. Спасский

ДИСКУРС КАК ВЛАСТНЫЙ РЕСУРС

Дискурс, скорее, следует понимать как насилие,
которое мы совершаем над вещами,
во всяком случае – как некую практику,
которую мы им навязываем…
Мишель Фуко

Одним из главных идейных источников исследований дискурса как властного ресурса, несомненно, является творчество Мишеля Фуко. В своих работах Фуко акцентировал внимание на властной, принудительной силе дискурса. Дискурсы в его интерпретации выступают мощным властным ресурсом и потому оказываются объектами желаний, опасений, контроля.

Доступ к дискурсам регламентируется и контролируется в обществе властными инстанциями. За право их присвоения идет непрерывная борьба.

Такой институт социализации как образование выступает важной инстанцией по контролю доступа к дискурсам, а также инструментом их социально-дифференцированного присвоения и распределения. «Сколько бы ни утверждалось, - пишет Фуко, - что образование по неотъемлемому праву является средством, открывающим для любого индивида в обществе, подобном нашему, доступ к дискурсу

любого типа, - хорошо известно, что в своем распределении, в том, что оно позволяет и чего не допускает, образование следует курсом, который характеризуется дистанциями, оппозициями и социальными битвами. Любая система образования является политическим способом поддержания или изменения форм присвоения дискурсов – со всеми знаниями и силами, которые они за собой влекут»[1].

В сфере науки властно-принудительная сила дискурса осуществляется в требованиях соблюдения дисциплинарной идентичности. «Дисциплина – это принцип контроля над производством дискурса. Она устанавливает для него границы благодаря игре идентичности, формой которой является постоянная реактуализация правил»[2].

Властная сила дискурсов, по Фуко, состоит в заключенных в них правилах и запретах, направленных на подавление всего, что не соответствует принятым в определенном сообществе нормам. Сила дискурсов как социальных контролеров проистекает из привносимых ими в общественное сознание оценочных схем, разделяющих слова, мысли, поступки на дозволенные и недозволенные, приличные и неприличные, публично артикулируемые и подлежащие умолчанию.

Следует подчеркнуть, что скрещивание понятий дискурса и власти у Фуко осуществляется на основе своеобразного толкования того, что представляет собой власть. Для Фуко власть – это не некий институт и не структура, а *«множественность отношений силы»,* интеграция отношений силы. Власть трактуется как интегрированный результат игры подвижных отношений неравенства: «отношения власти не находятся во внешнем положении к другим типам отношений (экономическим процессам, отношениям познания, сексуальным отношениям), но имманентны им; они являются непосредственными эффектами разделений, неравенств и неуровновешенностей, которые там производятся; …отношения власти не находятся в позиции надстройки, когда они играли бы роль простого запрещения или сопровождения; там, где они действуют, они выполняют роль непосредственно продуктивную»[3].

Внутри энергетического поля власти, по Фуко, находится множество точек сопротивления: «последние выполняют внутри отношений власти роль противника, мишени, упора или выступа для захвата. Эти точки сопротивления присутствуют повсюду в сети власти»[4]. Эти точки подвижны. Они вносят в общество динамику расслоения. Рой точек сопротивления, пронизывая социальные стратификации, перекраивает поле власти, производит изменения в индивидах, в их душах и телах.

Распределение и перераспределение власти для Фуко есть перегруппировка инстанций знаний. Сцепление власти и знания образует дискурс: «Именно в дискурсе власть и знание оказываются сочлененными» [5]. Иначе говоря, *дискурс – это диспозитив взаимосвязи знания и власти*.

В конкретном дискурсе сращение «знание-власть» воплощается в определенной стратегии или в *стратегических ансамблях*. Так, например, дискурс о сексе, по мнению Фуко, начиная с ХУ111 века, заключает в себе четыре стратегических ансамбля:1) *истеризация тела женщины* (тело женщины было квалифицировано как тело, до предела насыщенное сексуальностью, и потому подлежало дисциплинарному воздействию, т.е. приведению в соответствие с существующими представлениями о социальной роли женщины и с определенными моральными нормами); 2) *педагогизация секса ребенка* («дети определяются как «пороговые» сексуальные существа, как находящиеся еще по эту сторону от секса и одновременно – уже в нем, как стоящие на опасной линии раздела; родители, семья, воспитатели, врачи и психологи впоследствии должны будут взять на

---

[1] Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / Пер. с фр. – М. 1996. С. 74.
[2] Там же. С. 69.
[3] Там же. С. 193, 194.
[4] Там же. С. 196.
[5] Там же. С. 202.

себя постоянную заботу об этом зародыше секса»); 3) *социализации репродуктивного поведения* (проведение демографической политики путем применения различных социальных и налоговых мер по отношению к плодовитости супружеских пар, а также через вменение ответственности супругов перед социальным телом в целом, которое следует ограничить, или, наоборот увеличивать); 4) *психиатризация извращенного удовольствия (*сексульный инстинкт был подвержен дифференциации на нормальность и патологию посредством проведения клинического анализа выделенных аномалий; была предпринята попытка создания корректирующей технологии для вычлененных аномалий).[1]

Сексуальность, по Фуко, это не нечто, что существует независимо от «знания-власти». Это и есть само «знание-власть», т.е. дискурс в его конкретных стратегиях.

В целом отношения дискурса и власти носят амбивалентный характер. Дискурс одновременно выступает и средством и источником властвования, инструментом и эффектом власти, ее охраннником и подрывником. «Молчание и секрет, - пишет Фуко, - равно дают приют власти, закрепляют ее запреты; но они же и ослабляют ее тиски и дают место более или менее неясным формам терпимости»[2].

Если Фуко оперировал понятием дискурса для обозначения властной силы знания, то другой известный французский мыслитель - Жан Бодрийяр - рассматривал *дискурс как власть социальных знаковых форм, включая мир вещей вместе с их заменителями – симулякрами.*

Бодрийяр выбирает в качестве основного предмета своего исследования *дискурсы вещей*[3]. Для него вещи являются дискурсами потому, что они *говорят* о социальном статусе их обладателя, *свидетельствуют* об его вкусах и стиле, гламурности или брутальности, *сообщают* о достатке и притязаниях.

Дискурс-вещи, по Бодрийяру, - это знаки социальной стратификации, знаки культурных веяний, моды, технических достижений эпохи. Они информативно насыщены, являются ретрансляторами множества социокультурных смыслов.

Смысловые единицы дискурс-вещей в обществе массового потребления формируются и усиливаются рекламой. *Реклама есть дискурс о вещах*[4]. Она не только информирует о ценностно-смысловом содержании дискурс-вещей, но и управляет процессом смыслопорождения и смыслопотребления.

В современном обществе рекламный дискурс превратился во властную силу, которая, с одной стороны, управляет процессом массового потребления, манипулирует общественным сознанием, а, с другой стороны, в силу своего навязчивого характера, вызывает реакцию сопротивления у аудитории: «словом, рекламный дискурс разубеждает не меньше, чем убеждает, и потребитель, по-видимому, если и не приобрел иммунитет к его сообщениям, то достаточно свободен по отношению к ним»[5].

Рекламный дискурс представляет собой особый язык, ключевым понятием которого является «марка». В данном языке, отмечает Бодрийяр, осуществляется «чудо психологического ярлыка», которое пробуждает желания потребления вещи-дискурса[6].

С позиций концепции существования в обществе массового потребления особого языка рекламы, выступающего властным дискурсом, управляющим психологией статусного и имиджевого потребления, Бодрийяр производит смысловую ревизию понятия «потребление», акцентруя внимание на его причастность к знаковым системам, а, следовательно, - к миру дискурсов:

[1] Там же. С. 205 - 207.
[2] Там же. С. 202 –203.
[3] См.: Бодрийяр Жан. Система вещей /пер. с фр. С.Н.Зенкина. М., 2001.
[4] Там же. С. 177.
[5] Тм же. С. 179.
[6] Там же. С. 207 –208.

«Потребление – это не материальная практика и не феноменология «изобилия», оно не определяется ни пищей, которую человек ест, ни одеждой, которую носит, ни машиной, в которой ездит, ни речевым или визуальным содержанием образов или сообщений, но лишь тем, как все это организуется в знаковую субстанцию: это *виртуальная целосность всех вещей и сообщений, составляющих отныне более или менее связный дискурс.* Потребление, в той мере в какой это слово вообще имеет смысл, есть *деятельность систематического манипулирования знаками*»[1].

Потребление, по Бодрийяру, представляет собой участие в символическом обмене, основным предметом которого выступают знаковые системы или символические формы[2].

Главными катализаторами и интеграторами символического обмена, считает автор, выступают *дискурсы маркетинга*, которые мобилизуют рекламный дискурс и иные дискурсы массовой коммуникации.

В дискурсе маркетинга, по-существу, происходит слияние экономических, политических и медийные властных ресурсов. При этом в итоге виртуализированный дискурс массмедиа оказывается наиболее сильным элеменом маркетингового дискурса. Вот как эта мысль формулируется Бодрийяром: «На протяжении Х1Х и ХХ веков политическая и экономическая практика все более смыкается в едином типе дискурса. Пропаганда и реклама сливаются в едином процессе маркетинга и мерчендайзинга вещей и идей, овладевающих массами. Такая языковая конвертация между экономикой и политикой вообще характерна для нашего общества, где в полной мере реализовалась «политическая экономия». Но одновременно это и конец политической экономии, так как обе эти сферы взаимно отменяются в совсем иной, медиатической реальности (или гиперреальности)»[3].

Идеи Фуко и Бодрийяра в значительной степени повлияли на нашу версию дискурса как властного ресурса. Кроме того, наши собственные исследования привели нас к выводу о тесной взаимосвязи таких категорий политического маркетинга, как «властный ресурс», «обмен» и «дискурс»[4].

Далее постараемся содержательно развернуть заявленную в настоящей статье трактовку дискурса как властного ресурса.

Дискурсы – это знаково-символические формы саморепрезентации власти.
Все властные ресурсы (административные, партийные, общественные, финансовые, информационные и др.) представляют собой капитал. *Дискурс – это тоже капитал, а именно, коммуникационный капитал, поскольку представляет собой искусство властвования при помощи знаковых систем и через установление такого режима общения (коммуникации), в ходе которого достигается необходимое согласие и понимание между участниками коммуникации.*

Указанный способ властвования мы обозначаем понятием «дискурсивное искусство». *Дискурсивное искусство* – это одновременно символический и социетальный капитал, т.е. капитал, который функционирует в пространстве производства, обмена и потребления *символических ценностей* (знаки отличия, символы веры, мифологемы, идеологемы, статусы, иерархии, идентичность, престиж, имидж, брэнд и др.) и социетальных ценностей (доверие, толерантность, согласие, взаимная ответственность, репутация и др.).

Важной сферой дискурсивного искусства является управление массовыми коммуникациями с целью производства и продвижения определенных ценностей и ценностных ориентаций. Пространство масс-медиа (печать, ТВ, радио, кинематограф, реклама, интернет и др.) выступает той областью, в которой современное медиатизированное дискурсивное искусство оказывает наиболее сильное воздействие на процессы символического и социетального обмена, областью, где дискурс превращается в

---

[1] Там же. С. 213.
[2] См.: Бодрийяр Жан. Символический обмен и смерть. М., 2000.
[3] Там же. С. 138.
[4] См.: Русакова О.Ф., Спасский А.Е. Что такое политический маркетинг?. Екатеринбург, 2004.

необычайно мощный властный ресурс и широко востребованный общественно-политический капитал.

К дискурсивному искусству относятся также традиционные социокультурные и политические практики, продуцирующие и воспроизводящие ритуалы, культы, верования, мифы, празднества, мистерии, церемонии, этикеты и др., выполняющие важные функции культурной и политической социализации.

Одной из новеших разновидностей дискурсивного искусства выступает PR-деятельность, направленная на создание и продвижение репутаций и имиджей. Дискурсивное искусство обладает большой практической значимостью в сфере педагогики, обучающей профессиональному, деловому и повседневному общению, прививающей навыки умелого коммуникатора. Сегодня как никогда дискурсивное искусство становится важнейшим компонентом бизнес-коммуникаций, одним из показателей их эффективности.

Дискурс как капитал и властный ресурс является составляющей *политического капитала*, который функционирует в пространстве политического рынка.

В пространстве данного рынка постоянно происходят процессы приобретения властных ресурсов, обменивания одних властных ресурсов на другие, а также - управления властными ресурсами. По словам известного российского политолога и социолога О. В. Крыштановской, «политическое пространство, исследуемое с ракурса отношений обмена властными ресурсами, может быть рассмотрено как рынок, на котором совершаются торги и сделки. Это рынок, субъектами которого являются представители политического класса, обменивающие одни ресурсы на другие. Ресурсы в аккумулированном и персонифицированном виде представляют собой *политический капитал*»[1].

Как любой другой капитал, политический капитал в виде властных ресурсов способен самовозрастать благодаря интегративному эффекту, когда соединяются, взаимодополняют и усиливая друг друга различные виды властных ресурсов, включая и такой ресурс как дискурс.

Основных игроков на рынке властных ресурсов можно разделить на две большие группы.

Первую группу составляют представители политического класса, т.е. те, кто уже получил доступ к ключевым властным ресурсам, т.е. к рычагам государственного управления, и потому обладает значительным политическим капиталом. Данная группа выступает основным субъектом контроля за пространством дискурсов.

Вторую группу образуют политические субъекты, которые только еще борются за получение властных ресурсов. Их политический капитал находится в стадии своего первоначального накопления. Дискурс данной группы конкурирует с дискурсом первой, пытаясь из маргинального перейти в разряд доминирующего дискурса.

Внутри каждой из групп, а также между первой и второй группами осуществляются политические сделки в отношении властных ресурсов, включая и дискурс.

Умение использовать дискурс как властный ресурс, в свою очередь, предполагает наличие определенных лидерских, т.е. психологических качеств. Таковыми, к примеру, являются *пассионарность* и *харизма*.

«Пассионарность, отмечал Л.Н.Гумилев, – это характерологическая доминанта, непреоборимое внутреннее стремление (осознанное или, чаще, неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели (часто иллюзорной). Заметим, что цель эта,- отмечал Гумилев, - представляется пассионарной особи иногда

[1] Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М., 2005. С. 53 – 54.

ценнее даже собственной жизни, а тем более жизни и счастья современников и соплеменников»[1].

Пассионарность заразительна, она как вирус передается от человека к человеку. Гумилев приводит пример с Кутузовым, чья пассионарность во время Отечественной войны 1812 года вдохновляла солдат на военные подвиги, внушала им непримиримость к противнику. Именно Кутузов как никто другой смог поднять военный дух в русских войсках, укрепить волю к победе.

Пассионарность Кутузова стала решающим фактором в назначении его главнокомандующим. Данным качеством не обладал другой знаменитый русский полководец – генерал Барклай де Толли. Барклай де Толли, - «очень толковый, очень храбрый человек, очень умный, составивший план победы над Наполеоном. Все он умел делать. Единственное, что он не мог, - это заставить солдат и офицеров себя любить, за собой идти, слушаться. Поэтому пришлось заменить его Кутузовым, и Кутузов, взяв план Барклая де Толли и в точности его выполнив, сумел заставить солдат идти бить французов. Поэтому совершенно правильно у нас перед Казанским собором памятники этих двух полководцев стоят рядом. Они оба одинаково много вложили в дело спасения России в 1812 г., но Барклай де Толли вложил свой интеллект, а Кутузов свою пассионарность, которая у него, бесспорно, была. Он сумел как бы наэлектризовать солдат, он сумел вдохнуть в них тот самый дух, который нужен для любой армии»[2].

Многолетний анализ деятельности различных исторических личностей и политических лидеров показал, что самое сильное воздействие на массы оказывают лидеры особого рода, которых в народе называют вождями, а в науке – *харизматическими лидерами*.

Харизма – это, с одной стороны, психологическая способность человека влиять на других людей, устанавливая над ними свой контроль, а, с другой стороны, - это символическая власть культового происхождения. Следовательно, *харизму можно отнести к дискурсивно-психологическим формам властвования.*

Природа харизмы сродни верованиям людей в идолов, богов, пророков, мессий, шаманов, жрецов, магов, гуру.

Харизматическое господство – это власть дискурсивного, культового происхождения. Дискурс культа – главный инструмент харизматического господства.

Политические культы рождаются в переломные эпохи, в годы, когда народы, нации, государства оказываются перед лицом исторического вызова. Именно тогда и возникает потребность в так называемой «сильной руке». По словам французского политолога Д. Кола, «харизматический вождь появляется во время кризиса, когда традиция прервана и возникает новый порядок».

Харизматический дискурс лидера реализуется в его имидже, который олицетворяет коллективные ожидания и представления о благе широких масс.

При работе над имиджем политика маркетологи стремятся к тому, чтобы его образ включал элемены харизматического дискурса.

Для понимания основных элементов харизматического дискурса весьма интересна, на наш взгляд, концепция харизмы, представленная А. И. Сосландом – автором программы «Харизматический тренинг».

Согласно Сосланду, можно выделить шесть основных компонентов харизмы: чуждость, стигматы, озарение, новизна, ритуалы, борьба.

Чуждость – это некий ореол таинственности, нередко связанный с иным этническим или национальным происхождением лидера. Примеры: корсиканец Наполеон, грузин Сталин.

---

[1] Гумилев Л. Н. География этноса в исторический период. Л., 1990. С. 33.
[2] Там же. С. 42-43.

Стигматы (отметины) – это знаки, которые выделяют человека из окружающей массы, запоминающиеся внешние атрибуты личности. Примеры: сигара, трость и котелок Черчилля, трубка и френч Сталина, кепка Лужкова.

Озарение – это легенда об осознании лидером своего исторического предназначения. Примеры: легенда о мальчике-семинаристе И. Джугашвили, решившем бороться с мировой несправедливостью; легенда о сыне сахарного магната, блестящем молодом юристе Ф. Кастро, порвавшем со своим окружением ради народного блага.

Новизна – это то новое, что вносит лидер в умы людей и в жизнь страны. Примеры: Хомейни сформулировал принципы исламской революции; Кастро пообещал народу Кубы равенство и победу над Америкой; Ельцин повел борьбу с советским коммунизмом.

Ритуалы – это церемонии, которыми обставляется общение лидера с народом. Примеры: регулярные радиообращения Рузвельта к нации; пятничные проповеди Хомейни.

Борьба – это непременный атрибут сильного политика. Победы над внутренними и внешними врагами приносят лидерам славу и народную любовь. Примеры: Черчилль прославился как борец с фашизмом и мировым коммунизмом; Сталин вел непрерывную борьбу с «врагами народа» и международным империализмом[1].

Харизма как дискурсивно-психологический властный ресурс в последнее время наиболее активно и эффективно использовался командой Юлии Тимошенко в ходе президентской и парламентской избирательных кампаний в Украине в 2004 г. и 2006 г.

В имидже Тимошенко акцентировались следующие элменты харизмы: *стигматы* (женственная, эмоциональная составляющая политического имиджа, по-украински уложенная коса, сочетание европейского и национального стиля в одежде), *новизна* (первая в Украине женщина премьер-министр, программа реприватизации); *ритуалы* (многочисленные личные встречи с избирателями из разных регионов страны, пламенность публичных выступлений; *борьба* (борьба с социальной несправедливостью, с авторитаризмом, с коррупцией и криминалитетом во властных структурах).

В современном обществе все большее значение в производстве символического капитала приобретают средства массовой коммуникации – СМИ, реклама, PR.

Средства массовой коммуникации сегодня выступают главными поставщиками и трансляторами новых мифов, идеологий, стереотипов мышления и поведения, т.е. символических фигур, образующих дискурсивное пространство современной эпохи. В данном символическом пространстве располагается также политическая мифология.

Политическая мифология – это совокупность дискурсивных комплексов, формирующих коллективные политические представления, которые слежат делу легитимации определенных политических стратегий.

Основными *функциями политической мифологии* являются:

- функция сакрализации власти: формирование представления о власти как священном таинстве, порождении высших, сверхъестественных сил;
- функция символизации власти: превращение политически значимых ценностей в символы веры, фигуры поклонения;
- суггестивная функция: закрепление на уровне коллективного бессознательного стереотипов политического мышления и поведения;
- мировоззренческая функция: формирование представлений о силах мирового Добра и Зла, о «своих» и «чужих», о ценностной иерархии;
- мобилизующая функция: канализация в нужном направлении коллективной психологической энергии масс (энергии любви, созидания и энергии ненависти, разрушения);

[1] См.: Сосланд А. Курс молодого вождя. Как «нарастить» себе харизму // Коммерсантъ. Власть. 2000, № 7. С. 38 –43.

- консолидирующая функция: объединение и сплочение масс вокруг политических символов веры, формирование чувства соборности, причастности к разделяемой коллективом определенной системе ценностей, тайному знанию;
- креативная функция: стимуляция образного мышления, творческого воображения, пробуждение ассоциативных смысловых рядов, погружение в многообразные смысловые пласты символических фигур, присутствующих в мифе, открытие новых смыслов.

Среди наиболее распространенных политических мифов – мифы об «отце народа», о «врагах народа», о «мировом зле».

Мифотворческую функцию сегодня выполняет коммерческая и политическая реклама, продвигая сконструированные маркетологами и шоу-мейкерами имиджи товаров, фирм, институтов, теле- и кино-звезд, имиджи политических деятелей. Рекламная деятельность в сфере конструирования политических имиджей получила освещение в целой серии работ современных исследователей[1].

Помимо мифов весьма распространенным дискурсивным властным ресурсом является *идеология*.

Идеология реализуется в дискурсивных практиках, сутью которых является процедура *идентификации* субъекта с определенной системой ценностных ориентаций. Идеология имманентно входит в структуру любого дискурса - повседневного, институционального, публичного, политического и др.

Каждая эпоха рождает новые разновидности идеологий как способов ценностных идентификаций. Ценностные идентификации реализуются в дискурсах, которые находятся в состоянии конкурентной борьбы между собой. В зависимости от того, какие ценностные идентификации пользуются спросом на рынке идеологических предложений, а какие оказываются слабо востребованными, можно говорить о доминирующих и маргинальнгых идеологических дискурсах.

К числу доминирующих дискурсов на современном рынке ценностных ориентаций можно отнести *дискурс потребительской идеологии*, который широко распространяется коммерческой рекламой, шоу-бизнесом.

Ключевым понятием в дискурсе потребительской идеологии является категория успеха. Главными критериями успеха считаются высокое статусное положение, солидный счет в банке и цветущий внешний вид. Достижение успеха выступает показателем правильности жизненной ориентации, которая воплощается в известной дискурсивной формуле: «жизнь удалась».

Дискурс успеха ориентирует личность на утилитарное и гедонистическое мировосприятие. Другими словами, человек программируется на получение максимального наслаждения от обладания предметами, символизирующими достаток и престиж, и на сугубо утилитарное отношение к действительности. «Бери от жизни все» - это не просто рекламный слоган, но еще и жизненный девиз, внедряемый в массовое сознание. Человек с указанной ценностной ориентацией, по словам крупного философа и психоаналитика XX века Э. Фромма, считает, что «мир – это один большой объект для удовлетворения нашего аппетита»[2].

Говоря о дискурсе успеха, который программирует людей на рыночную ценностную ориентацию, Фромм отмечал такую закономерность, как превращение личности в конкурентный товар, причем, оценка себя именно с товарно-конкурентной точки зрения становится доминирующей; на то, чтобы придать себе товарный вид, уходят главные

---

[1] См.: Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR. М., 2001; Егорова_Гартман Е. В., Плешаков К. В., Байбакова Р. Б. Политическая реклама. М., 1999; Кольев А. Политическая мифология: реализация социального опыта. М., 2003; Сапронов Н. Политический маркетинг: подходы к операционализации образа «политического продукта» в прикладном политическом анализе // Политический маркетинг. 2005, № 5; Ситников А. П., Гундарин М. В. Победа без победителей: Очерки теории прагматических коммуникаций. М., 2003; Цуладзе А. Политическая мифология. М., 2003 и др.

[2] Фромм Э. Душа человека. М., 1992. С. 155.

жизненные силы человека: «Успех в большей степени зависит от того, насколько хорошо человек может представить себя, насколько привлекательна его «упаковка», насколько правдиво он может показать себя «бодрым», «крепким», «энергичным», «надежным», «амбициозным». «Для того чтобы добиться успеха, - отмечает Фромм, - недостаточно обладать лишь умением и умственным багажом, необходимыми для выполнения той или иной задачи, нужно еще быть способным вступить в соревнование со многими другими. Нужно уметь состязаться. Такое положение вещей формирует у человека определенную установку по отношению к самому себе. Если бы для достижения жизненных целей было достаточно тех знаний и умений, которыми человек владеет, то самооценка была бы пропорциональна собственным способностям, т.е. собственной полезной ценности. Но поскольку успех в большинстве случаев зависит и от того, как человек умеет себя преподнести, преподать, продать свою личность, то он воспринимает себя в качестве товара, или в качестве продавца, или одновременно в качестве продавца и товара. И получается так, что человек сосредоточивается и заботится не о своей жизни, счастье, а о том, как бы это стать наиболее ходким товаром, как бы это пользоваться наибольшим спросом. Такие чувства человека равносильны и равноценны чувствам товара, например сумок на прилавке, если бы они могли чувствовать и мыслить»[1].

Современный процесс глобализации со всеми его многочисленными противоречиями породил новые идеологические дискурсы, такие как дискурс неолиберализма и дискурс «антиглобализма».

Будучи весьма различными и даже антагонистическими по своим ценностным установкам, данные дискурсы имеют одну общую черту – они распространяются и поддерживаются, благодаря развитой системе массовых коммуникаций. Их сторонники активно используют методы политического сетевого маркетинга, ньюс-мейкинга, шоу-политики и другие технологии политического маркетинга.

В основе дискурса неолиберализма лежит доктрина, согласно которой в эпоху глобализации национальные государственные институты утрачивают свое влияние на развитие внутренней экономики, поскольку развитие рынков и капиталов в новую эпоху не имеет границ. Ведущая роль в стремительно глобализирующемся мире, по мнению сторонников данной доктрины, принадлежит внегосударственным структурам.

Неолиберализм, как ценностная ориентация, ставит во главу угла рыночную эффективность, но игнорирует или отрицает значение этических и культурных ценностей в экономике.

Наибольшие политические дивиденды и экономические прибыли от реализации на практике идеологии неолиберализма, провозглашающей глобализацию финансовых и торговых рынков, получили и продолжают получать США. Данная идеология выражает геополитические интересы США, способствует укреплению их господства на мировом политическом рынке. «На глобальном уровне, - отмечает критик неолиберальной идеологии А. Каллиникос, - навязывание неолиберальной ортодоксии, по крайней мере отчасти, отражало осознанную стратегию, которой следовали удачливые американские администрации для сохранения гегемонии Соединенных Штатов в эпоху, наступившую после окончания холодной войны: само название, данное этой политике, - «Вашингтонский консенсус» - указывает на роль, которую сыграл в ее осуществлении институциональный комплекс, связующий воедино Министерство финансов США, МВФ и Всемирный банк»[2].

Неолиберальному дискурсу противостоит дискурс альтерглобализма.

К старшему поколению критиков дискурса неолиберализма и теоретиков дискурса антиглобализма относятся П. Бурдье и Н.Хомский. «Движение «антиглобалистов», - пишет Каллиникос, - нашло идеологическую формулировку в корпусе критических работ, созданных множеством интеллектуалов. Среди них выделяются две главные фигуры. С

[1] Фромм Э. Человек для себя. Минск. 2003. С. 106-107.
[2] Каллиникос А. Антикапиталистический манифест. М., 2005. С. 10 –11.

забастовок 1995 года и до своей смерти в январе 2002 года Пьер Бурдье бросил свой огромный авторитет ведущего французского интеллектуала на борьбу против неолиберализма; вместе с «Поводами к действию» с группой ученых-активистов он выпустил ряд небольших недорогих книг, включая два тома собственных полемических статей – «Ответный огонь» и «Ответный огонь-2». Ноам Хомский – единственный, но последовательный критик американской внешней политики последнего поколения – получил всемирную аудиторию, которая с готовностью откликнулась на его призыв осадить притязания американской империи, выявленной им в контексте глобального капитализма»[1].

К более молодому поколению носителей антиглобалистского дискурса принадлежат Майкл Альберт, Уолден Белло, Сьюзен Джордж, Алекс Каллиникос, Тони Негри, Наоми Кляйн и Майкл Хардт. В России видным идеологом альтерглобализма является А. В. Бузгалин[2].

В дискурсивный комплекс альтерглобализма входят: концепция альтернативной глобализации, которая основана на экономической и политической демонополизации; стратегия глокализации, предполагающая свободное развитие локальных культур; концепция глобального гражданского общества, построенного по принципу сетевой демократии; лозунги «Иной мир возможен», «Глобализация «снизу», «Мыслить глобально, действовать локально» и др.

Одним из центральных пунктов борьбы неолиберального и альтерглобалистского дискурса выступает борьба за доминирование на идеологическом рынке ценностных ориентаций. Неолиберализм отстаивает в качестве ведущей рыночную ориентацию, альтерглобализм в основном разделяет гуманистическую ценностную ориентацию, соединяя ее с элементами постмодернизма (отрицание иерархий).

В эпоху массовых коммуникаций никакая идеология не может успешно проводиться без привлечения таких эффективных властных ресурсов как дискурс массовой культуры и массмедиа. В конкурентной политической борьбе победу одерживает тот, кто имеет наибольший контроль над ключевыми информационными каналами и коммуникациями, транслирующими образцы массовой культуры.

Главной функцией массовой культуры является функция *развлечения.* Развлекай и властвуй – таков центральный принцип масскульта.

Указанный принцип распространяется и на массмедиа. Даже производство телевизионных новостей сегодня основано на подчинении функции информирования задаче развлечения, в результате чего получается специфический шоу-продукт под названием news entertainment.

Согласно развлекательной концепции новостного телевещания, любая новость должна конструироваться по законам шоу, где всегда присутствует зрелищный эффект, притягивающий внимание зрителей (пожары, катастрофы, панорамные боевые сражения, сцены насилия и т. п.). Зритель должен не столько проникнуться сочувствием к людям, оказавшимся в эпицентре трагических событий, сколько получить эмоциональный заряд от увиденного. Именно такого эффекта добилось, к примеру, телевидение, многократно повторяя «картинку» обрушения в результате авиаударов двух башен-небоскребов Всемирного Торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г.

Массмедиа как дискурсивный властный ресурс выполняет важную задачу ментального конструирования реальности, преподнося события в том свете, который отвечает интересам тех или иных властных групп.

---

[1] Каллиникос А. Антикапиталистический манифест. М., 2005. С. 18.

[2] См.: Бузгалин А. Глобализация, антиглобалистское движение в России // Альтернативы. 2001, № ;. С. 2-17; Альтерглобазм: теория и практика «антиглобалистского движения» / Под ред. А. В. Бузгалина. М., 2003 и др.

В соответствии с властным выбором и видением значимых событий выстраивается порядок подачи новостей или порядок новостного дискурса. Данный прием называется «установлением повестки дня» [1].

Новость, передаваемая по каналам массмедиа, представляет собой особого рода дискурсивный конструкт, который формирует определенный, заданный властной установкой, образ реальности и одновременно выступает в роли информационного товара, чье формирование осуществляется по законам рынка, т.е. спроса и предложения.

Спрос на определенный новостной конструкт определяется не только заказом «сверху» (со стороны властных структур), но и «снизу» (со стороны потребителя). Потребительский спрос в значительной степени определяет способы подачи новостных сюжетов. Р. Харрис, известный специалист в области психологии массовых коммуникаций, отмечает следующие приемы моделирования значимых для потребителя новостей:

- у каждой важной новости должен быть свой главный герой, чтобы потребитель мог идентифицировать себя с ним; самый выигрышный вариант, когда герой является «звездой» - президентом, Папой Римским, серийным убийцей, террористом;
- значительное событие должно быть наполнено драматизмом, борьбой интересов; внимание следует сфокусировать на конфликтной ситуации, которую можно воспроизвести через демонстрацию противоположных точек зрения;
- значимое событие должно содержать какое-либо активное действие или так называемый «крючок», на который подвешивается информация, имеющая общее, отвлеченное от конкретики содержание; например, увеличение инфляции можно представить в виде репортажа из супермаркета, где покупатели выражают свое личное отношение к росту цен на товары;
- новость произведет эмоциональный эффект и надолго запомнится, если будет содержать нечто экстраординарное (например, если убийство произойдет там, где его меньше всего ожидают, а убийцами окажутся не бандиты и наркоторговцы, а скажем, представители религиозной секты);
- в целях придания событию общественного звучания его можно привязать к ходовым темам, т.е. к таким сюжетам, которые всегда привлекают внимание зрителя (слушателя) или в настоящее время находятся в центре внимания общественности; например, всегда интересны всяческие разоблачения, события из жизни «звезд», скандалы, обнаружение чего-то сверхъестественного, непонятного и т. п.[2].

По словам Харриса, «новости – это рамка, которая придает миру определенные очертания»[3]. Массмедиа, следовательно, конструируют новостной дискурс по лекалам двух основных его заказчиков – власть имущих и массового потребителя.

В целом дискурс массмедиа, как и все другие дискурсивные формы представляет собой коммуникативно-семиотическую систему, которая пронизана властными интенциями и которая сама выступает властным ресурсом.

Структурно дискурс как символический властный ресурс или символический капитал состоит, на наш взгляд, из диалектического соединения следующих планов: 1) *интенциональный* план (властные интенции, стратегии, замыслы); 2) *актуальный* план или *перформанс* (реализация властных интенций в живой деятельности, имеющей знаково-символический характер); 3) *виртуальный* план (план распознавания и понимания смыслов, ценностей, идентичностей, репертуар интерпретаций); 4) *контекстуальный* план (расширение смыслового поля на основе социокультурных,

---

[1] См.: Дьякова Е. Г., Трахтенберг А. Д. «…И все подумали хором» (средства массовой информации и проблема установления повестки дня) Екатеринбург. 1999; Дьякова Е. Г Массовая коммуникация и власть. Екатеринбург, 2002; Ее же. Эффект установления повестки дня как предвыборная технология // Дискурс-Пи. Выпуск 3: Дискурс толерантности в глобальном мире/Под ред. О. Ф.Русаковой. Екатеринбург, 2003 и др.

[2] См.: Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб., 2003. С. 232-233.

[3] Там же. С. 238.

исторических и иных контексов); 5) *психологический* план (эмоциональный энергетический заряд, содержащийся в дискурсе и придающий дискурсу суггестивную силу); 6) *«осадочный»* план (запечатление всех вышеназванных планов в виде документов, литературных, художественных, архитектурных и иных памятников культуры).

На основе данного структурирования дискурса можно вычленить три основные функции дискурса как властного ресурса:

- *функция культурно-символической репрезентации власти*, представленная планами 2 и 6 (план перформанса и «осадочный» план);
- *функция смыслопорождения и идентификации*, представленная планами 3 и 4 (виртуальный план и контекстуальный план);
- *функция коммуникативного и эмоционального доминирования*, представленная планами 1 и 5 (интенциональный план и психологический план).

В последнее время становится все более очевидным, что успешность той или иной политической идеологии оказывается в прямой зависимости от эмоциональной заряженности ее дискурса. Чем сильнее воздействие дискурсивных форм идеологической репрезентации на чувства массовой аудитории, чем с большей страстностью в них демонстрируются переживания, связанные с самоидентификацией, тем большей мобилизующей властью обладает дискурс данной политической идеолологии.

Саспенс или страстный эмоциональный отклик – непременный атрибут эффективной политической коммуникации. Сутью данного отклика является *многослойное удовольствие от Мы-идентификации*, а именно: удовольствие от причастности к действиям и идеям коллективного политического субъекта; удовольствие от возможности выйти за рамки рутины повседневности и стать актором значимого политического события; удовольствие от собственной игры в политическом шоу, от использования определенной театрализованной атрибутики, рекламных и ритуальных действий; удовольствие от внимания к Нашему политическому перформансу со стороны СМИ, представителей власти, оппозиционной и сочувствующей общественности.

Градус удовольствия заметно повышается, когда политический перформанс разыгрывается на улицах и площадях городов. Главная цель уличной политики – расширение дискурсивного пространства для получения эффекта доминирования и тотального политического присутствия. (К примеру, весьма распространенным методом формирования данного эффекта является расдача гражданам цветных ленточек, символизирующих причастность к определенной политической общности).

Особенно сильной эмоциональной заразительностью обладают дискурсы, культивирующие религиозные и националистические чувства. Религиозные и националистические дискурсы интенционально ориентированы на борьбу с угрозами, исходящими от разнообразных сил (иноверцы, шовинисты, раскольники, сепаратисты т.е.), которые, согласно заложенной в идеологических структурах данных дискурсов легенде, размывают и подрывают Нашу религиозную и национальную идентичность.

Образы врага, имманентно присутствующие в религиозных и националистических дискурсах, часто сознательно и целенаправленно демонизируются определенной частью религиозных и политических деятелей. Это приводит к возникновению в массовом сознании эмоционально напряженного и чрезвычайно заразительного чувства ненависти.

Одним из распространенных способов провоцирования взрыва коллективной ненависти выступает метод придания определенному событию символически-ритуального значения, связанного с коварными происками Врага, покушающегося на Нашу идентичность путем осквернения Наших святынь. Типичным примером использования подобного метода является так называемая «карикатурная война», развязанная представителями исламского фундаментализма.

Что касается транснациональных типов политического дискурса (например, дискурса либерализма и дискурса европейской идентичности), то, следует отметить, что их эмоциональная составляющая по уровню своей интенсивности существенно уступает эмоциональному потенциалу дискурсов национальной и религиозной идентичности.

Для усиления психологического эффекта либерального и европейского дискурсов современные политики и политтехнологи прибегают к методу внедрения в структуру данных дискурсов определенных националистических элементов, используя такие стереотипы, как образ тоталитарной демонической силы, покушающейся на национальную независимость и западные либерально-демократические ценности. Так, например, сегодня политическое руководство ряда стран, образовавшихся в результате распада СССР, активно внедряет в сознание своего народа и международной общественности представление о России как о главном Враге новых государств, который препятствует упрочению в их пределах институциональных форм национальной идентичности и либерально-демократических ценностей.

Представление о дискурсе как о властном ресурсе распространяется не только на сферы политики, идеологии и массовых коммуникаций. Хорошо известна властная сила экономических дискурсов, к которым, в первую очередь, следует отнести *денежные знаки*. В принципе, всю экономику, как считал Бодрийяр, можно интерпретировать посредством «политической экономии знака». Поэтому властная сила и сфера дискурса не имеет пределов.

В.Н.Меркушев

ДИСКУРС ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ЗАПАДА

Современный дискурс прав человека, получивший выражение в либеральной идеологии, опирается на определенные парадигмальные основы и риторические формулы, которые нуждаются в определенном теоретическом осмыслении. Так, в документах и комментариях ООН утверждается, например, что права человека, кодифицированные в основных международных документах, являются не только универсальными, но и прирожденными и естественными[1].

Между тем, среди антропологов продолжается спор об историческом существовании обществ, где права человека не соблюдались даже в минимальном понимании этого слова, и в этом смысле термины «естественность» и «универсальность» вряд ли могут подходить к отношениям, сложившимся, например, в племенах каннибалов.

Попытки простого переноса исторически влиятельной универсалисткой естественно-правовой доктрины на современный язык мировой и внутренней политики и международного права, к сожалению, часто наталкиваются на социальные явления, восходящие в противоречия с древними традициями, которые продолжают существовать и в современном мире[2]. Существование подобных «традиционных» нарушений самых основных прав ставит под сомнение всю концептуальную основу существования

[1] Права человека: вопросы и ответы. Женева. Департамент общественной информации ООН. 1990. С. 3.

[2] В современном мире также существуют культуры, которые не гарантируют право на жизнь даже в минимальном понимании этого термина (примером является продолжающаяся в Западной Индии и по сей день многовековая традиция убийства первого новорожденного ребенка, если это девочка, до сих пор происходит до 25 000 таких убийств в год).

универсалистской доктрины и способствует развитию радикальных версий культурного релятивизма.

Очевидно, что для более четкого осмысления дискурса прав человека в современной политике необходим анализ его базовых концептов, каковыми являются, на наш взгляд, *универсализм и культурный релятивизм*.

Универсализм и культурный релятивизм следует рассматривать в контексте *трех традиций интерпретации прав человека*, получивших развитие в истории общественно-политической мысли. Первая – это естественно-правовая традиция; вторая традиция, конкурирующая с первой, будет названа нами исторической интерпретацией; третью, наиболее современную традицию, можно назвать легалистской или юридически-позитивистской. С нашей точки зрения, именно в рамках этих трех основных традиций и могут быть классифицированы все многообразные дискурсы прав человека.

Общепринято, что основными точками развития естественно-правовой традиции в истории общественно-политической жизни были следующие учения: социальная философия стоиков, ранние христианские идеи, гуманистические концепции Возрождения, естественно-правовые учения Гоббса, Спинозы и Локка. Кульминацией же этих идей можно назвать теории французских просветителей и «отцов-основателей» США.

Анализируя в исторической перспективе эти учения и их влияние на формирование универсализма и культурного релятивизма, одним из главных вопросов остается соответствие терминов «естественные права» и «права человека». Являются ли эти термины лишь разными ярлыками одного и того же, или же в этих названиях есть некая историческая динамика, или же здесь можно найти даже значительное несоответствие?

Очевидно, что естественное право, начинавшееся с космополитизма стоиков (и даже ранее), с древнегреческого понимания разумного начала природы у Гераклита и интерпретаций демократических законов в трудах Перикла и Демосфена, в значительной степени не соответствовало современному пониманию универсальных прав человека и интерпретации естественно-правовой концепции. Вплоть до начала Нового Времени и возникновения естественно-правовых теорий Гроция, Спинозы, Гоббса и Локка говорить о соответствии современного понимания термина «универсальные права человека» и естественного права во многом не приходится.

До начала Нового Времени, несмотря на концепции существования индивида как морального субъекта, тезис естественно-правовых теорий о соответствии общего в обществе общему в природе во всех своих интерпретациях фактически усреднял концепции естественных прав до прав общества, или, по крайне мере, до прав, неразрывно связанных с неким сообществом людей, будь то жители древнегреческого полиса или представители религиозной общины. Лишь с приближением к пониманию прав человека как универсальных (в подлинном понимании этого слова, ведь в рабовладельческих обществах определение всеобщего на самом деле не включало рабов) и в то же время индивидуальных прав, и с возникновением идей, четко очерчивающих возможности создания международного права, можно говорить о начале пути к современному пониманию универсалистской и культурно-релятивистской доктрин прав человека.

Начать анализ универсалистской и культурно-релятивистской доктрин прав человека в истории политической мысли нужно, с нашей точки зрения, с компаративного анализа учений Томаса Гоббса и Гуго Гроция. В политических теориях этих двух влиятельных мыслителей начала Нового Времени, по нашему мнению, впервые в истории политических учений можно отметить черты дискуссий об универсальности и релятивности прав человека.

Гроций предлагал начинать любой правовой, и даже социальный, анализ с прав человека, где естественным правилом является уважение индивидами друг друга. В этом начальном пункте своей теории он, в принципе, не шел дальше Гоббса, который, как известно, предлагал свою естественно-правовую концепцию, настаивая на развитии

индивидуальных механизмов самозащиты, в том числе применимых и к условиям объективно существующей анархии в межгосударственных отношениях суверенных держав, которая в отдельно взятой государственной механистически понимаемой системе социальных взаимоотношений была заменена на общественный договор, приведший к отмене анархии внутри одного социального организма.

Далее же логика концепции Гроция, в отличие от Гоббса, приводила к пониманию того, что существует некая автономная политика гражданского общества, хотя и понимаемая в этом контексте как часть общей социальной системы, основанной на общественном договоре. В этом смысле Гроций предвосхищал появление универсализма как доктрины, настаивающей на всеобщности прав человека и механизмов их защиты. Эта политика, по Гроцию, должна быть основана на принципе политической справедливости, который, в свою очередь, сопровождается принципом пользы или целесообразности (в этом контексте Гроция можно также считать одним из предвестников утилитаризма, хотя подобная точка зрения и является спорной). В этом смысле в обществе неизменно возникает вопрос о соотношении права и силы, которое в концепции Гроция сводится к соотношению естественного права и права волеустановленного. Именно найденное Гроцием соотношение монополии государства и государств на использование силы и прямая защита государством прав подданных (парадоксально, все-таки независимых от воли государств как таковых) и позволяет назвать идеи Гроция первой систематизированной универсальной концепцией прав человека в политике. Гроций настаивал на необходимости регулирования прав, в том числе и в рамках международно-правового сообщества стран, а не анархического взаимодействия суверенных стран, как на этом настаивал Гоббс. Томас Гоббс, считающийся основоположником теории политического реализма, полагал невозможным какие-либо стабильно действующие договоры между суверенными государствами. В контексте же его концепции объективации анархии как основы межгосударственных отношений Гоббс отнесен нами также и к лагерю умеренных культурных релятивистов.

Гроций, в отличие от Гоббса полагал, что сила является средством практической реализации положений естественного права (которое с современной точки зрения может быть названо универсальным естественным правом) как в рамках внутригосударственной политики, так и во внешней политике стран.

С точки зрения Гроция, люди принуждаются силой к соблюдению справедливости, но только в том случае, если соблюдение этого принципа способствует осуществлению права на деле. Сочетание естественного и волеустановленного права находит свое отражение в государстве, которое является, исходя из первоначальной индивидуалистической посылки Гроция, неким «совершенным союзом свободных людей, заключенным ради соблюдения права и общей пользы»[1]. Но из этого отнюдь не следует вывод, что народ оставляет за собой естественное право сопротивляться верховной власти. Наоборот, этому праву он противопоставляет «закон о непротивлении», отступать от которого можно лишь в случае крайней необходимости. Теория Гроция в целом подчеркивает новое понимание прав, индивидуализируя и даже несколько персонифицируя право, и фактически предлагая рамки для создания международного права как необходимого и недостающего элемента универсалистской концепции прав и свобод человека, которая обосновывает утверждение правовых начал мировой политики и более эффективные способы достижения мира.

Именно с теорий Гроция и Гоббса начинается понимание индивидуальных прав человека как начального пункта политической теории и, наоборот, политики как сферы, напрямую влияющей не только на реализацию, но и на понимание сущности прав и свобод в контексте универсализма и релятивизма.

---

[1] *Гроций Г.* О праве войны и мира. М.: Госюриздат, 1956. С. 74.

Другой важной вехой в развитии умеренного культурного релятивизма стала теория Бенедикта Спинозы. С точки зрения Спинозы, естественное право запрещает только то, чего никто не желает или чего никто не может сделать. В этом смысле естественное состояние в представлении Спинозы похоже на «войну всех против всех» Гоббса. В этой войне силы и права каждый стремится к самосохранению. Но в естественном состоянии речи о самосохранении нет. Достигнуть некоего безопасного предела можно только при переходе к состоянию гражданского общества (этот термин употребляется Спинозой в отличном от современных интерпретаций стиле), которое было бы согласовано с правом каждого. В гражданском обществе человек получает ту свободу, которая не дана ему в естественном состоянии. Таким образом, «цель государства в действительности есть свобода»[1], и главным образом свобода индивидуальная. Естественное право в гражданском состоянии не прекращает свое существование, так как человек все равно действует по законам своей природы, сообразуется со своей пользой.

Несколько позднее, в конце XVII столетия, появилась более развернутая, чем у Гоббса, Гроция и Спинозы, теория прав человека. В «Трактате о государственном правлении» Джон Локк формулирует три основных неотчуждаемых прирожденных права человека, которые индивиды должны признавать друг за другом в «естественном состоянии» и которые затем гарантируются самим государством: это право на жизнь, свободу и собственность (lives, liberties and estates). Эти три права образуют конституционный базис правового порядка и законодательства с духом свободы. Локк пишет: «Целью закона является не ограничение, а сохранение и расширение свободы. Она представляет собою свободу человека располагать и распоряжаться как угодно своей личностью, своими действиями и всей своей собственностью»[2]. В свою очередь «закон природы требует мира и безопасности для всего человечества»[3].

Локка часто называют не только одним из основоположников универсалистской либеральной доктрины прав человека и основателем современной теории естественных прав человека, но и мыслителем, в наибольшей степени повлиявшим на Американскую революцию и принятие 10 поправок о правах человека (так называемого Билля о правах человека) к Конституции США. В этом контексте, конечно, необходимо упомянуть и о том, что Локк, говоря о незыблемости прав на частную собственность, ничего не говорил о праве на владение рабами (о такой интерпретации прав на частную и даже личную собственность настаивали во время гражданской войны конфедераты). Ведь, по Локку, нарушением права на жизнь является уже всякое закабаление индивида, всякое насильственное присвоение его производительных способностей, то есть не только убийство как таковое, но и рабство.

Три основных права Локка вошли не только в американскую конституцию, они являлись основой, из которой в принципе выросли другие более дифференцированные универсалистские интерпретации прав человека. Для анализа доктрины Локка важно понимать и то, что основные права человека впервые были представлены в виде взаимозависимой элементарной системы, где одна норма с необходимостью соответствует другой. В отличие от своих предшественников Локк имплицитно настаивал на том, что право на свободное распоряжение собственностью должно выступать при этом как итоговое, результирующее право, а право на свободу и жизнь – как предпосылка. В этом смысле Локк предвосхищает описанную нами в первой главе полемику марксизма и либерализма о «первичности групп прав», развернувшуюся уже позднее в XIX-ом веке и особенно в XX-ом веке.

---

[1] *Спиноза Б.* Политический трактат // Избранные произведения. В 2 т. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 2. С. 302.

[2] *Локк Д.* Избранные философские произведения. В 2 т. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1960. Т. 2. С. 269.

[3] Там же. С. 8.

В своем более радикальном понимании универсализм и индивидуализм в доктрине прав и свобод был представлен в учениях французских просветителей и «отцов-основателей» США.

Французские просветители предполагали, что права индивидов приоритетны над правами сообществ как в воображаемом естественном состоянии, так и в гражданском обществе, источником которого являются также индивиды. Целью общественного договора здесь являются также ценности и, прежде всего, права человека, существующие в тех интерпретациях, на которые согласны индивиды, действующие в этом аспекте не только рационально, но и что более важно автономно. Именно эти части теории прав человека в политике и были представлены как основа отрицания (вплоть до физического уничтожения) «традиционных» гражданских и церковных властей. Томас Пейн, критикуя в этом смысле страх Эдмунда Берка перед ужасами Французской революции, говорил о том, что ум нации возник не из хаоса, а был изменен заранее, и новый порядок вещей был предвосхищен новым порядком мыслей[1].

В этом контексте политические аспекты универсалистской доктрины прав человека впервые были самым широким образом применены на практике именно во Франции.

Безусловно, индивидуализм прав человека в политике был навеян идеями Вольтера и Шарля Монтескье. Именно Шарль Монтескье первым четко определил (но не предложил, так как в целом эта идея «летала в воздухе столетий») принципы универсальных политических прав и свобод. В естественном состоянии, когда царит вседозволенность, свободы, равенства и справедливости не существует и этим утверждением здесь Монтескье повторяет традицию, заложенную еще Гоббсом. Однако, по Монтескье, политические права в отличие от естественных и даже договорных (то есть символически установленных через общественный договор) проявляются и тем более реализуются только через конкретное и реальное законодательство, которое должно действовать на основе универсальных принципов.

В этом контексте Монтескье также является не только одним из основоположников естественно-правовой концепции, но и в равной мере основателем легалистской или юридически-позитивистской доктрины прав человека.

Монтескье также четко доказывал (и это не выходит за рамки легалистского подхода) то, что наиболее эффективно законы работают при разделении властей. С его точки зрения, только при соблюдении принципов разделения властей могут существовать универсальные политические права и свободы. По отношению к гражданину подобные права и свободы выступают и как гарантия обеспечения гражданских прав. Одним из самых важных прав гражданина Монтескье считал право на безопасность, тем самым значительно расширяя понятие основного права на жизнь, что не сделали до него Гоббс и Локк, не вдававшиеся в подробности того, что просто нарушение права на жизнь есть не только смерть человека, но и угроза его безопасности и здоровью. Продолжая развивать легалистскую тенденцию, Монтескье настаивал на том, что судебная система и уголовные законы должны быть направлены на презумпцию невиновности, ибо, «если не ограждена невиновность граждан, то не ограждена и свобода»[2].

Идея индивидуальных прав и свобод нашла свое отражение и была развита в работах великого современника французских просветителей немецкого философа Иммануила Канта. Кроме того, нужно отметить и тот факт, что именно с интерпретации его концепции прав Гегелем начинается развитие традиции исторического понимания прав человека. Кант, оставаясь в рамках универсалистской естественно-правовой традиции, настаивает на том, что есть только одно естественное право, присущее каждому человеку в силу его принадлежности к человеческому роду – это свобода[3].

---

[1] *Tomas Paine*. The Right of Man. London: Everyman Edition, 1969.

[2] *Монтескье Ш*. О духе законов // Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1955. С. 318.

[3] *Кант И*. Метафизика нравов в двух частях // Собрание сочинений в 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Часть 2. 1965. С. 139.

По Канту, в принципе без свободной воли невозможно существование индивида. Поступок свободной воли независим от внешних воздействий и природных инстинктов, которые присущи человеку как эмпирическому существу. Свободная воля может устанавливать правила, которым можно будет следовать без ущерба для себя и других. «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»[1]. С точки зрения Канта, все понимание прав должно опираться на идею автономности личности. Свободная же воля этой личности должна быть настолько совершенна, что она сможет установить себе законы и жить по ним без всякого принуждения. Мораль получает некий автономный статус и становится предпосылкой для существования универсального права (именно эта идея явно идет вразрез с легалистской традицией и оставляет Канта все же приверженцем естественно-правовой традиции).

Идея об автономной и свободной личности в ее связи с правами как воплощением свободы уже в другом ключе была интерпретирована Гегелем. Гегель, развивая универсалистскую историческую концепцию прав и свобод, в своем стремлении обосновать существование прав человека настаивает на возможности преодолеть разрыв между индивидом и государством через анализ ступеней развития свободы, которые обладают своим особым правом. В этом смысле государственный строй не есть что-либо сфабрикованное, а представляет собой работу истории и сознание разумного[2]. Гегель подчеркивает, что существует опасность того, что провозглашенная естественно-правовой доктриной и практически ничем не ограниченная индивидуальная свобода ведет к деструкции общественного порядка. Этот порядок, по Гегелю, все-таки должен быть основан на дифференцированной иерархии законов и права как такового. Взгляды Гегеля на три ступени развития права также могут рассматриваться в контексте преодоления естественно-правовой доктрины индивидуалистически понимаемых прав человека. Нравственность, как высшая ступень развития права, противопоставляется своеволию индивида. Гегель не отрицает прав человека на жизнь, свободу и частную собственность. С его точки зрения, именно эти права формируют принципы участия человека в гражданском обществе. Однако под гражданским обществом Гегель понимает не то, что имел в виду Локк. Гегель понимает под гражданским обществом систему спроса и предложения, то есть систему обмена и рынка, где постоянно сталкиваются антагонистические интересы людей. Политическое общество в этом контексте является такой сферой, где частные права означают не слишком много.

История человечества у Гегеля предстает как история развития Духа. Свобода – это результат развития, конечная цель – его эволюции. «Освобождение» свободы от эгоизма и опасных страстей индивидов происходит на уровне объективации абсолютной идеи, где происходит отождествление всеобщей и особенной воли. Это происходит в государстве, и на этом уровне, по Гегелю, свобода может существовать лишь при условии существования законов. Существование законов и определят разумность государства. «Право есть вообще свобода как идея»[3], а «система права есть царство осуществленной свободы».[4]

Государство как воплощение системы права становится и воплощением свободы, где частные интересы переходят в ведение государства, то есть объективируются и в смысле прав человека во многом универсализируются. В этом и заключается дальнейшее развитие прав человека.

Однако Гегель в своей философии права не только развил универсалистскую историческую (естественно, в ее идеалистической интерпретации) концепцию прав

---

[1] *Кант И.* Основы метафизики нравственности // Собрание сочинений в 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Часть 1. С. 260.

[2] *Гегель Г.В.Ф.* Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 299.

[3] Там же. С. 89.

[4] Там же. С. 67.

человека, но и создал концептуальную основу для доктрины основных прав человека как части института гражданства и умеренного культурного релятивизма (анализ этой концепции был представлен в первой главе).

Глубинная суть истории, показанная Гегелем, и в ее применении к правам человека, которые, с его точки зрения, появились с развитием истории, а не были прирожденными атрибутами человека (как на этом настаивает естественно-правовая традиция), была использована Карлом Марксом.

Однако еще до появления марксизма значительный вклад в критику универсалистской естественно-правовой доктрины внес основатель утилитаризма, английский мыслитель Джереми Бентам. По Бентаму, сторонники естественно-правовой доктрины просто сделали ошибку в своем философском методе, поставив придуманные принципы впереди следствий, тогда как в сфере прав оптимальным будет анализ от частного к общему. Предположения об универсализме и прирожденном и естественном характере прав и свобод являются, по Бентаму, нонсенсом, и идея естественных прав есть лишь фикция. Люди не рождены свободными и не рождены равными, а становятся таковыми впоследствии. Позитивной же свободой, по Бентаму, является максимизация всеобщей пользы и полезность как критерий оценки любых явлений.

С точки зрения Бентама, права и свободы не возникают в умах людей, как это произошло с французским вариантом естественных прав, а существуют в реальном праве, созданном в ходе исторического развития человечества. По Бентаму, из реального права следуют реальные права, а не воображаемые, как на этом настаивает естественно-правовая доктрина. Отрицая теорию общественного договора в сфере прав человека, Бентам настаивает и на том, что политическая система как таковая является через государство основой и гарантом прав, а не наоборот, как это предлагали резко критикуемые им (часто англичанина Бентама обвиняют за это во франкофобии) французские просветители. С точки зрения Бентама, правительство само заключает контракты, а не является результатом какого-то мифического контракта. Реализация права человека в республике как единственно правильной форме политического правления должна основываться на постепенном расширении избирательных прав[1], изначально эта динамика обусловлена исторически и основана на культурных ценностях прогрессивных сообществ.

Важнейший вклад в универсалистскую историческую интерпретацию возникновения оснований прав человека внес Карл Маркс. Критика Маркса естественно-правовой доктрины была ближе к теории Гегеля, чем Бентама. С точки зрения Маркса, права человека в интерпретации французских просветителей и «отцов-основателей» США не могут рассматриваться как мировоззренческие основы для всего человечества, это права буржуазии, выдаваемые за универсальные.

Буржуазный человек являлся, по Марксу, личностью, участвующей в гражданском обществе (здесь, несомненно, заимствована концепция Гегеля) в смысле, противоположном участию в обществе политическом.

По Марксу, гражданское общество характеризует, прежде всего, жизнь материальную, эгоистическую по своей сути. Гражданское общество в этом смысле выступает как основа некоего институционализированного эгоизма, где человек, обладающий естественными и неотъемлемыми правами, превращается в ограниченного и замкнутого на себя индивида. В этом смысле, например, право на свободу может трактоваться лишь как негативное право на независимость от других, право на изоляцию и эгоизм. В гражданском обществе человек действует как частное лицо, «рассматривает других людей как средство, низводит себя самого до роли средства и становится игрушкой чуждых сил»[2]. В государстве человек признает себя общественным лицом. Государство возникло исторически, и человеческая природа всегда относится к особому виду социального человека, являющегося продуктом истории, а не природы, как

[1] *Бентам И.* Введение в основания нравственности и законодательства. М.: РОССПЭН, 1998.

[2] *Маркс К., Энгельс Ф.* К еврейскому вопросу // Сочинения. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1955. Т.1. С. 391.

утверждает универсалистская естественно-правовая доктрина. В своей критике гегелевской философии права Маркс утверждает, что человек не только социальное животное, но и животное, которое становится индивидом только в обществе. В этой своей работе Маркс, подобно Гегелю, пытался предложить вариант интеграции гражданского и политического, то есть объединения человека и гражданина, но не на основе доктрины прирожденных прав, а на основе политической эмансипации.

Универсальная естественно-правовая доктрина в принципе является, по Марксу, неким языком буржуазии XVIII века, борющейся с остатками феодализма. В условиях капитализма XIX века естественные права и, прежде всего, право на частную собственность являются не чем иным как средством легитимации неравного распределения собственности в глазах неимущих. Маркс противопоставлял естественно-правовой доктрине историцизм, и во многом повторяя Гегеля, настаивал на возможности свободы только в обществе, создание которого возможно только через социальную революцию (а не через развитие правовых институтов, о чем говорил другой сторонник исторического возникновения прав Дж. Бентам).

Часто труды Маркса разделяются исследователями на «ранние гуманистические» работы и поздние «ортодоксально-революционные». В некотором смысле это разделение может быть применено и в процессе анализа марксистского дискурса прав человека.

Ранний Маркс придавал большее значение своей концепции отчуждения. Современный Марксу мир, по этой концепции, описывался как отчужденный, как мир, в котором господствуют вещи как творения человека, но приобретшие черты самостоятельности и неконтролируемые человеком. По этой логике Маркса, сама сущность человека также отчуждена, и в этом смысле человек стоит перед лицом отчужденного мира, в котором все его творения приобрели черты самостоятельности и вышли из-под контроля. В своих ранних работах Маркс настаивал на необходимости эмансипации человека, на необходимости решения проблемы отчуждения, на возвращении человеку его подлинной человеческой сущности и понимаемых универсально подлинных человеческих отношений.

Задачей социальной революции, по Марксу, должно быть преобразование мира в мир свободных людей, которые осознанно творят свою судьбу. Но и в этой концепции он не связывает возможность достижения гармоничного общества с индивидуальными правами и все же отождествляет личные интересы с классовыми, а классовые с общественными. В этом смысле универсализм Маркса несколько ограничен политизированностью его доктрины классово-разделенного буржуазного общества. То есть универсализм прав и свобод человека, по Марксу, возможен только после истории в некоем новом гармоничном мире, называемом коммунизмом.

Отрицание незыблемости права на частную собственность и идея социальной революции, выраженная в том числе и в концепции интеграции гражданского и политического, не без оснований парадоксально выделяют доктрину Маркса в качестве важного источника развития дискурса прав человека. В целом, политическую теорию Маркса можно отнести (особенно в части его учения о коммунизме) к универсалистскому дискурсу.

Анализ процесса развития теоретических основ дискурса прав человека в XX-м веке, показывает, что в нем исчезает дихотомичность (в смысле противостояния историцизма и естественно-правового подхода). Серьезную роль в упрочении теоретической базы дискурса прав человека начинает играть юридически-позитивистская или легалистская концепция. Часто в литературе эту концепткальную основу дискурса прав человека называют просто позитивистской[1].

Юридически-позитивистская концепция развивалась как самостоятельная доктрина еще в конце XIX века. Главным постулатом этой концепции было то, что реальный объем

[1] Общая теория прав человека / Под ред. Е.А. Лукашевой. М.: НОРМА, 1996. С. 11-12.

и содержание прав человека существует только в реальном праве и определяется государством. Естественность и прирожденность прав является лишь утопией, реальные же права человека существуют лишь в законах. В этом смысле исходной точкой анализа может быть то, что права человека скорее релятивны, чем универсальны, и зависят прежде всего от политического строя в государстве, определяющего наличие и действенность законов по защите и реализации прав.

С развитием теории и практики международного права релятивность юридического позитивизма меняется на крайний универсализм. Даже такая организация, как ООН, включающая в себя государства со всеми возможными культурами, уровнями развития политических и правовых систем, стандартами реализации и масштабами нарушений основных прав, официально признает в сфере прав человека универсализм.

Как уже было отмечено выше, некоторые элементы этой концепции были предложены еще Гроцием и Монтескье (в универсалистской интерпретации), и Бентамом (в умеренной культурно-релятивистской интерпретации). Однако только с появлением первых стабильных демократических режимов и началом правозащитной юридической практики началось полномасштабное оформление юридически-позитивисткой концепции. Особую роль эта концепция приобрела в XX веке с началом развертывания системы международного права прав человека.

В XX веке наибольшее влияние на юридический позитивизм оказали известные ученые-обществоведы - англичане Лаутерпакт и Харт, немец Штерн и швейцарец Хефлиргер. С точки зрения Лаутерпакта, главным источником прав человека ко второй половине двадцатого века стало международное право, которое по аналогии с правом национальным также может быть и персонифицированным правом[1].

Немецкий юрист Штерн говорил о том, что основные права, закрепленные в конституциях как основах позитивно-правовой институализации, были заимствованы из постулатов и деклараций как права естественные, в этом смысле позитивное право универсально и вбирает в себя естественно-правовую доктрину. В этом же контексте швейцарский исследователь Артур Хефлигер утверждал, что если какие-либо важные права признаются Судом, но не входят в Конституцию, то это так называемые неписаные права, основанные в том числе и на вневременных, опять же универсальных постулатах естественно-правовой доктрины, главным отражением которой является Всеобщая Декларация Прав Человека[2].

Харт, говоря о позитивистской интерпретации прав, также несколько смягчал критику универсализма естественно-правовой доктрины, утверждая, что концепция естественных прав должна пониматься, по крайней мере, в минималистской трактовке. Главным для него было то, что демократические институты и право как таковое являются лишь частью гарантий прав, хотя и очень важной. Но если речь ведется об основных негативных правах (таких, например, как защита от насилия), то здесь часто можно говорить о смысле прав в более строгом понимании слова, в том числе и в смысле возможности применения универсалистской естественно-правовой доктрины. Харт был также первым из сторонников легалистской концепции, кто настаивал на уникальности предмета прав человека и на возможности существования отдельной теории прав человека как части политической теории, которая, в продолжение кантианской традиции должна стать некой «новой верой»[3], которая универсальна в отличие от постулатов утилитаризма и релятивизма, настаивающих на том, что права человека это лишь средства достижения более высокой цели, то есть максимальной пользы для всего общества.

---

[1] *Lauterpacht H.* International Law and Human Rights. // Human Rights Reader / Edited by W. Laqueur and B. Rubin. Meridian: Ottawa. 1978.

[2] Общая теория прав человека. С. 16.

[3] *Макеева Л.Б.* Предисловие // Современный либерализм. М.: Прогресс-традиция. 1998. С. 13.

Семидесятые годы XX-го века можно назвать десятилетием возрождения интереса к правам человека. Именно в эти годы[1] вышли уже ставшие классическими работы, ставящие права человека в центр анализа политических явлений. В это время наиболее важными вехами в разработке теоретических основ дискурса прав человека стали публикации трех книг, которые быстро стали бестселлерами и классикой политической философии еще при жизни их авторов: «Теория справедливости» (Theory of Justice) Джона Роулза, 1971 года[2]; «Анархия, государство и утопия» (Anarchy, State and Utopia) Роберта Нозика, 1974 года[3]; «Займемся правами серьезно» (Taking Rights Seriously) Рональда Дворкина, 1977 года[4].

Права человека являются важнейшей частью исследования, хотя и не отправной точкой, в «Теории справедливости» профессора Гарвардского университета Джона Роулза. Главным для его теории справедливости являются принципы, структурирующие общество на основе справедливости и социального сотрудничества. По Роулзу, эти принципы могут быть выведены из понимаемого по-новому общественного договора. При заключении этого символического договора индивиды изначально символически же находятся в некой гипотетической ситуации, в которой необходимо выбрать принципы справедливого устройства общества.

Первый принцип справедливости, по Роулзу, гласит, что в так называемой исходной позиции на каждого рационально мыслящего индивида, выбирающего принципы справедливого устройства общества, как бы накинут покров неведения в отношении фактов его существования и будущего. То есть, человек, не зная, какое место он займет в будущем обществе, должен выбрать наиболее справедливые условия для равного обеспечения прав и свобод каждой личности. В этом смысле человек будет иметь равное право на максимально широкую систему индивидуальных свобод, совместимых со свободой других[5].

Согласно второму принципу справедливости (принципу дифференциации), социальное неравенство должно быть регулируемо так, чтобы наименее преуспевающие получали от общества наибольшую выгоду. Эта система должна быть безусловной и в соблюдении принципа равенства возможностей.

По Роулзу, рациональный индивид в списке так называемых первичных благ ставит на первое место основные права и свободы, и уже потом - материальное вознаграждение и самореализацию. Роулз в начале 70-х гг. в своей теории не предполагал, что в реальных социальных и политических условиях экономически процветающего Запада именно расширение гарантий основных прав и свобод является самой трудной задачей.

Концепция другого знаменитого профессора Гарварда Роберта Нозика, критикующая теорию справедливости Роулза[6], основана на радикальном понимании прав человека. Государству и его институтам в ней отводится лишь та роль, которую им оставляют индивиды. Государство в этой доктрине является институтом с постоянно уменьшающимися полномочиями, которые сужаются с расширением прав и свобод граждан.

---

[1] Этот период совпал и с ростом общественного внимания к этой проблематике. Апогеем этого внимания стала доктрина президента США Дж. Картера (правившего Соединенными Штатами в 1977-1981 гг.). Эта официальная политическая доктрина впервые в истории США впрямую была институционально сфокусирована на проблеме защиты прав человека. Доктрина Картера особенно повлияла на реальную внешнюю политику США.

[2] *Rowls J.* A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989.

[3] *Nozick R.* Anarchy, State and Utopia. N.Y. Basic Books, 1974.

[4] *Dworkin R.* Taking Rights Seriously. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1977.

[5] *Rowls J.* A Theory of Justice. P. 302.

[6] Главной частью этой критики было неприятие контрактарианистской легитимации наличия бюрократического аппарата, необходимого для справедливого распределения, основанного на принципе дифференциации Роулза.

Нозик полагал, что индивидуальные права (в том числе право на частную собственность и частная сфера жизни человека в целом) вообще должны быть значительно расширены за счет государства, в том числе и с помощью «приватизации» военной и пенитенциарной сфер. Нозик просто предлагал перейти к частным армиям, тюрьмам и судам.

Надо сказать, что идеи Нозика, несмотря на весь свой радикальный либерализм, получили некоторое воплощение в сфере реальной политики в 80-е гг. прошлого столетия, например в Великобритании, где начали функционировать частные тюрьмы[1].

Несмотря на некоторые сходные черты с либеральным консерватизмом Фридриха Хайека и Милтона Фридмена, политическая философия Нозика в большей степени может быть отнесена к либертарианизму. Недаром, Нозик, бывший в 60-гг. прошлого века активным сторонником взглядов «новых левых», и после выхода в свет своего основного труда «Анархия, Государство и Утопия» в 70-е гг. прошлого века продолжал отрицать важность такого фактора в реализации свободы и прав человека, как рынок. Для него главным оставались индивидуальные свободы как основания для хорошей или даже для наилучшей жизни. Эта лучшая жизнь, по Нозику, осуществляется при соблюдении прав человека и объективируется в любви, сексе, дружбе, успехе, игре, интеллектуальном понимании, богатстве, роскоши, приключениях и т.п.

Профессор университета Нью-Йорка Рональд Дворкин в своей книге «Займемся правами серьезно» в некотором смысле сделал попытку примерить идеи Роулза и Нозика. Для него права человека являются ни чем иным, как козырями в перманентной борьбе индивидов с государством, стремящимся, в отличие от человека, к достижению коллективных целей. Его теория прав человека не сводится к юридическому позитивизму[2], ибо с его точки зрения, судебная система и судьи как таковые априори не являются защитниками прав граждан. Индивидуальные права, по Дворкину, выступают в виде естественных предпочтений и выбора человека, то есть они изначально универсальны и не являются продуктом национального и международного законодательств и гипотетического договора. В области прав человека правосудие, однако, может выступать как посредник в спорах граждан и государства.

Либеральные доктрины Дворкина, Роулза и Нозика в значительной мере воскресили в сфере изучения прав человека рационализм и универсализм естественно-правовой доктрины, хотя, в целом, оригинальность и логика их концепций, уровень абстракций и обобщений, представленных в их теориях, ставит их воззрения за рамки естественно-правых традиций понимания права и морали. Нозик, Роулз и Дворкин, возрождая в своих теориях либеральную доктрину прав и свобод, основывались в большей степени на политической составляющей универсальных основ существования прав человека.

Анализируя теоретический дискурс прав человека в исторической перспективе, можно прийти к выводу о том, что естественно-правовая доктрина и современная юридически-позитивистская концепции ближе к универсалистскому дискурсу прав человека. И, наоборот, историческая (за исключением, пожалуй, марксизма) и классическая легалистская концепции прав человека ближе к культурно-релятивистскому дискурсу.

В целом, говоря о теоретических основах дискурса прав человека, можно сделать вывод о том, что в исследованиях данной проблематики сегодня наметился отход от юридического позитивизма в сторону синтеза неокантианской этики и исторической концепции. В настоящий момент, несмотря на кажущееся многообразие идей, в длинной

---

[1] Частная полиция и даже частные микроармии существовали и существуют в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, однако их деятельность не имеет ничего общего с институтом прав человека в интерпретации либерала-либертарианиста Роберта Нозика.

[2] Ряд авторов приписывают его концепцию в целом именно к юридическому позитивизму. См.: Ronald Dworkin and Contemporary Jurisprudence / Edited by M. Cohen. Rowman & Littlefield, 1984.

истории осмысления парадигмальных основ дискурса прав человека точка еще не поставлена.

А.С.Кузнецов[1]

Г.С. СЛЕМБРУК. ЧТО ПОНИМАТЬ ПОД «ДИСКУРС-АНАЛИЗОМ»?

Работа профессора университета Гент (Великобритания) Стефана Слембрука «Что понимать под дискурс-анализом?»[2] является одним из серьёзных исследований в западной литературе, системно анализирующих большинство существующих походов в понимании дискурс-анализа. Слембрук, за плечами которого более 40 работ по проблематике дискурс-анализа, предлагает глубокое сравнительное исследование, в котором даёт представление об основных вехах развития теории дискурс анализа.

На страницах исследования развёрнута дискуссия о достоинствах и недостатках разнообразных подходов к теории дискурс-анализа. В работе в алфавитном порядке приводится следующий список дисциплин, в рамках которых возникли определенные подходы к дискурс-анализу:

1. *Аналитическая философия*: Теория речевой деятельности; Принципы информационного обмена;
2. *Лингвистика*: Структуралистская лингвистика; Регистрационные исследования и стилистика; Тукстуальная лингвистика; Прагматика;
3. *Лингвистическая антропология*: Этнография разговора; Этнопоэтика; Индексикология; Интерактивная социолингвистика; Естественные истории дискурса;
4. *Новые литературные исследования*;
5. *Постструктуралистская теория*: М.М.Бахтин;
6. *Семиотика и культурные исследования*: Семиотика и коммуникативистика; Культурные исследования;
7. *Социальная теория*: Пьер Бурдье; Мишель Фуко; Юрген Хабермас;
8. *Социология принципов взаимодействия*: Эрвин Гоффман (принцип взаимодействия, фрейм-анализ, базис, поверхность); Конверсационный анализ; Этнометодология;
9. *Благодарности*.

Особое внимание Слембрук уделяет дискурс-анализу, представленному в работах Бахтина, в социальных теориях Бурдье, Фуко, Хабермаса.

Слембрук не ставит своей целью создать новое знание о теории дискурс-анализа, как пишет сам автор, основная задача его труда - определить, не что есть дискурс-анализ, а что понимается в существующей литературе под дискурс-анализом.

Далее приводятся некоторые выдержки из работы Слембрука «Что понимать под дискурс анализом?».

…Дискурс анализ не предполагает смещения в сторону исследования речи или письменного языка. В действительности, целостный характер категорий речи и письма является крайне спорным, особенно когда взгляды специалистов обращены на мультимедиа тексты и Интернет. Подобным образом, кто-нибудь должен в корне не соглашаться со сворачиванием дискурсивности к так называемому «наружному слою»

[1] Автор выражает благодарность «Фонду содействия отечественной науке».
[2] Slembrouck S. What is meant by «discourse analysis»? // www. http://bank.rug.ac.be/da/da.htm#pr.

употребления языка, хотя такое сворачивание хорошо показывает, как отдельные варианты дискурсивности одновременно открывали границы и загонялись в рамки формами иерархического умозаключения.

Другое влияние на развитие дискурса является диаметрально противоположным по отношению к лингвистической «специфике». Здесь фокус делается на особенности языкового использования и одновременно на неотъемлемость социальной и интерактивной составляющей – даже в случае с письменной коммуникацией. С этой позиции, предложение (минимальная предикация) как начальный объект анализа неминуемо смещается и «двигается вне предложения», становясь метафорой для критики филологической традиции, в которой письменная коммуникация материализовалось как парадигма использования языка в целом. В этом подходе, дискурс анализ ставит на первый план использование языка как социального действия, как определённого практического речевого закона, как сущностной материи «практики». Неудивительно, что существует также точка зрения, исходя из которой, дискурс анализ является ключом к пониманию социальных истоков, эта теория, которая полностью отделена от эмпирической проблематики связанной с анализом использования языка…

…Дискурс анализ является многогранным проблемным полем. Его «дисциплинарные заимствования» прослеживаются во многих гуманитарных и социальных науках, имеет место и сложная историческая аффиляция дискурс анализа, и его многообразные пересечения с другими феноменами. Тем не менее, эта сложность и взаимная взаимообусловленность не должны быть препятствием к «совместимости» между различными традициями. Эта совместимость не является обязательной высшей целью, разительно отличающейся от изучения критических стратегии и от создания большинства теоретических неопределенностей. Традиции и пересекающиеся феномены лучше осознаны с исторической точки зрения – они одновременно являются взаимно поддерживающими и антагонистическими элементами и допускают развитие особых областей знания внутри системы…

…Школа «естественного языка» в аналитической философии

Понятие «школа естественного языка» имеет отношение к особой традиции в аналитической философии, которая характеризуется верой в способность формулировать условия для логического, объективного языка на базе исследования значений естественного языка (язык, который противоположен искусственному или математическому языку). Необходимо заметить, что в этом процессе, в истории англо-американского философствования, философия видела смысл своего существования в развитии адекватных инструментов для научной проблематики, нежели в работе над значимыми морально-этическими и социальными вопросами. По иронии, это было поиском «правды научного высказывания», которая лежит в основании теории речевого действия, теории, которая ставит на первый план социальные аспекты использования языка, и тем самым весьма спорно заполняет пространство всех последующих попыток сформулировать условия для того типа речи, который был бы в чистом виде ориентирован на объективность.

Теория речевого действия (Остин, Серль). Это была одна из попыток поиска (чистого) констатива (утверждения, которое описывает нечто, находящееся вне текста и то, что может, следовательно, быть оценено по шкале «ложь» или «правда»), которая подсказала Джону Остину обратить внимание на отличительную особенность так называемых перформативов, то есть утверждений, которые ни «правда» и ни «ложь», но которые вызывают особенный социальный эффект, будучи высказанными в виде утверждений (например, «С этим кольцом я на тебе женюсь» -- говоря утверждение, вы совершаете акт)…

…Пост-структуралистская теория

Пост-структуралистские мыслители представляли социальное пространство (организации, институты, социальные категории, концепции, отношения и т.д) и мир материальных объектов как дискурсивность в природе. Это утверждение *так же общеизвестно, как «ничего не существует вне текста»*. Это утверждение часто неправильно истолковывается, понимаясь, как идеалистическое отрицание существования материального мира.

Второй базовый принцип пост-структуралистской теории дискурса заключается в том, что процесс создания смысла по отношению к людям и объектам оказывается в бесконечной игре между «горизонтальными» эквивалентами и «горизонтальными» различиями. Значение, в конечном счёте, никогда не фиксируется, оно всегда неустойчиво.

Одним из достижений пост-структурализма стало то, что дискурс анализ занял центральное место в социально-научном поиске и оказал значительное влияние на такие дисциплины, как антропология, история, правоведение, социальная психология, социология и на многие другие. Например, пост-структуралистская логика защищает точку зрения, что «исторические факты» или «легальные факты» являются дискурсивными конструкциями. В результате научные исторические письмена становятся частью сферы нарративного анализа в то время, как юридические решения рассматриваются как источник дискурсивных практик…

Одна из слабостей пост-структуралистской теории дискурса -- это её явная неспособность быть точной в отношении того, как работать с анализом актуальных текстов или с социальной составляющей контекста. Отметим, что это не является непосредственной проблемой взаимодействия теории дискурса с эмпирическим анализом текста или речи. Основная проблема здесь видится в том, как совместить необходимость в точности методологии с непозитивистским взглядом на создание знания…

…Семиотика и коммуникационные исследования

Термин семиотика, в первую очередь, ассоциируется с именем её отца основателя Ф. де Соссюра, который доказал, что язык является одной из множества систем знаков (например, визуальные формы коммуникации). Лингвистика, следовательно, должна рассматриваться как субдицплина, входящая в более широкую дисциплину семиотики – науки о системе знаков. На протяжении многих лет семиотика, главным образом, развивалась в рамках факультетов журналистики и коммуникации. Это не удивительно, так как изначально это были единственные факультеты, которые исследовали медиатексты и для кого «визуальный текст» был так же важен, как «вербальный текст». Термин семиотика также характерен для работ французского постструктуралистского литературоведа Роланда Барта, который изучал моду, упаковку и т.п. как систему знаков…

…Культурные исследования

Культурные исследования являются очень многогранной сферой. Истоки культурных исследований чаще всего связывают с двумя основополагающими фигурами - Р.Вильямсом и Р. Хогартом и, в частности, с их спором по поводу «высокой» и «низкой» культуры в 1950-х годах. Они соглашались с взглядами предшественников (например, с Т.С. Элиотом), что литературный критицизм может предложить критику культуры в том смысле, что культура общества может быть «читаема» с помощью методов литературной критики, но они не соглашались с тем, что считать объектом критики. По мнению Вильямса и Хогарта, культура не должна ограничиваться великими творениями искусства. Напротив, в фокусе внимания должны находиться повседневные действия и выражения, то есть, культура «как сама жизнь». Одним из важных научных центров, отстаивающих эту точку зрения, был BCCS (Бирмингемский Центр Современных Культурных

Исследований, основанный Хогартом в 1964 году). Когда Стюарт Холл стал его директором в 1972 году, он придал Центру новый характер путем принятия идей французского структурализма, опоры на социологические методы и соединения современных культурных исследований с идеями политической борьбы в трактовке Грамши. Центр занимается главным образом массовой культурой и обществом потребления. Его программа может быть обозначена такими понятиями, как критика и политическая ответственность за социальные, экономические и культурные изменения, происходящие в западных позднекапиталистических обществах. Согласно CCS, культура приводит к тотальности повседневного социального существования. Работы Центра характеризуются сильным марксистским и постмаркстстстким подтекстом…, а также сильным влиянием идей Франкфуртской школы. Его основными темами исследования были: этничность и идентичность (в особенности, «новые этничности» - идентичности иммигрантов в Британии) и анализ «новых правых» (к примеру, трансформация общества благоденствия в эпоху тэтчеровской Британии).

Дискурс – в центре внимания Бирмингемского центра, но его повседневное использование имеет те же ограничения, что и пост-структуралистская теория. Центром было сделано много теоретических работ по дискурсу постмодернизма, но он не предложил парадигмы его текст-анализа как такового. Вместе с тем, в его трудах присутствует глубокая связь с коммуникационными исследованиями и семиотикой…

Социальная теория

…С точки зрения лингвистических исследований имя французского социолога/антрополога Пьера Бурдье тесно связано с ключевыми концепциями лингвистического/символического капитала и лингвистического габитуса, с идеями их позиционирования на «языковом рынке», их роли в производстве коммуникативной легитимации, с концепциями, сопутствующими этому феномену (социальное воспроизводство, доминирование, исключение и умолчание). Однако, всё это лишь часть значительного проекта, над которым он работал совместно с Люком Вакантом, сутью которого является преодоление «антиномии между субъективной и объективной точками зрения, между социальной физикой и социальной семиологией с целью создания единой материалистической науки о человеческих действиях и символической власти»…

…Схема Бурдье, которая выстраивается вокруг концепта «капитал» и его различных разновидностей, не ставит целью объяснение социальных процессов в образовании, искусстве и т.д. посредством логики экономического рынка. Совсем наоборот, введение Бурдье концептов «социальный капитал», «культурный капитал», «символический капитал» и т.д., ведет к переосмыслению понятия рынка как сугубо экономической категории, за рамками которой оказываются явления искусства, образования и т.д. С точки зрения Бурдье, каждый исследователь должен изучать формы капитала в их разнообразных проявлениях (а не только тот капитал, который изучается в экономической теории)…

…Через понятие лингвистического габитуса Бурдье обращается к индивидуальным различиям в практике лингвистической компетенции. Габитус относится к компетенции говорящего как стратегического игрока: имеется в виду его способность применять языковые ресурсы на практике, а также – предвидеть восприятие своих слов и уметь извлекать из них пользу. Однако, в то же самое время, габитус рассматривается как размещение в определённом порядке объективных структур: система отбора, находящаяся под влиянием унаследованных и накопленных ценностных структур… Образование габитуса - это продолжающийся процесс, который зависит от относительных успехов или неудач на рынке языковых обменов.

Важно отметить, что концепция «габитуса» гораздо больше предопределила теорию лингвистической практики, чем теорию лингвистической системы (которую Бурдье

радикально отрицал как абстракцию, полностью отделённую от «сферы социального действия»). Габитус получает множественные дефиниции:

Габитус это дискурс, регулирующий ситуацию, рынок, поле.

Габитус это капитал.

Габитус это органическое соединение, внутрителесная диспозиция.

Габитус – это систематизированное знание, поскольку генерирует практики и регулирует их оценочное восприятие.

Наконец, габитус образует этос (сравни с заявлением Гоффмана о том, что порядок интеракции есть моральный порядок).

В модели Бурдье все лингвистические ситуации функционируют как **рынки**… Он определяет дискурс через формулу: компетенция говорящего + рынок = дискурс.

…Таким образом, дискурс здесь выступает в качестве основного понятия, под которым подразумевается лингвистическая практика, управляющая ситуацией рыночного обмена. Дискурс определяется как употребление языка, связанное со структурой власти/веры.

В.М.Русаков

Я. СТАВРАКАКИС. СТРАСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ: ДИСКУРС, НАСЛАЖДЕНИЕ И ЕВРОПЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Статья Яниса Ставракакиса «Страсти идентификации: дискурс, наслаждение и европейская идентичность»[1] посвящена довольно актуальному «пересечению» тем: европейская интеграция, идентичность, дискурс-анализ. Вызвано это вполне понятным стремлением подвергнуть непростую современную проблему формирования европейской идентичности теоретическому препарированию с помощью методологического инструментария дискурс-анализа.

Я. Ставракакис правильно подчеркивает, что при всем интересе и внимании к проблеме европейской интеграции в аспекте идентичности за 40 лет разговоров о ней европейская мысль мало продвинулась в понимании того, что же она собой представляет: «Слово «идентификация» входит в моду, но его значение как теоретической категории и способы анализа идентификации остаются неясными. Такие проблемы и области концептуальной четкости и теоретической строгости влекут за собой серьезные последствия».

В российской литературе давно подмечено, что происхождение этого модного термина отягощено чертами его психоаналитического происхождения (См.: Российская социологическая энциклопедия, 1998). Отчего, по-видимому, и наблюдается неприемлемое для отечественной научной ментальности смешение социальных (политических, экономических, культурно-этнических) и психологических (эмоциональных) аспектов в западноевропейских работах по этой теме, где как нечто само собой разумеющееся встречается коктейль из «эмоциональных значений», «общего энтузиазма» и политико-экономических институциональных противоречий в европолитике и экономике.

Автор задается целью сфокусировать «внимание на некоторых аспектах политической идентификации и формировании личности в целом», хочет провести «подробную и тщательную концептуализацию понятий личности и идентификации». В этом направлении он ограничивает себя исследованием вопроса о «принадлежности»,

[1] Stavrakakis Y. Passions of Identification: Discourse, Enjoyment, and European Identity // Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance. Palgrave Macmillan. Ltd. 2005. Pp. 68 –92.

стремлении и способности людей отождествлять себя с теми или иными образованиями в обществе (партии, движения, государства) и что понимается под таким отождествлением.

В качестве теоретического инструмента он предлагает теорию дискурса в варианте Лакло и Муфф. Что тут надо иметь в виду? Автор совершенно прав, когда говорит о том, что «не станет представлять теорию дискурса как какого-либо рода панацею», а тем более — полностью разработанный теоретический подход, который можно было бы использовать без каких-либо ограничений. Кроме того, используемый вариант теории дискурса отнюдь не является лидирующим или содержащим какие-то бесспорные преимущества. В статьях и реферативных обзорах настоящего сборника, как нам кажется, достаточно представлена сложная картина возникновения интереса к категории дискурса, формирования методологии дискурс-анализа, поэтому в данном вопросе мы вполне можем опереться на эти материалы.

В чем же увидел Я.Ставракакис возможное «пересечение» этих двух тематических аспектов: дискурса и идентичности?

Во-первых, он констатирует как итог теоретического развития вполне тривиальное для российского ученого (не окончательно утратившего в результате «промывки мозгов» остатки марксистского образования) положение о том, что «личность носит социально формируемый характер». Другими словами, «самость» личности, ее ядро – носит социальный характер. Во-вторых, что еще более важно — эта самость не преднаходима изначально, но является вполне процессуальной! Она не дана и не задана, она формируется в процессе социальной деятельности. Сказанное вполне относится к идентичности как принадлежности, в процессе которых и формируется личность. Всякий любопытствующий мог бы это прочесть в любом мало-мальски обстоятельном советском учебнике «времен исторического материализма».

Заметим, однако, сразу же характерную для немарксистской социальной методологии передержку: автор напирает на процессуальность принадлежности, но при этом утверждает: «идентичность как на личностном уровне, так и на политическом – это всего лишь название для того, чего мы желаем, но никогда не можем полностью достичь»! Это весьма характерное для постмодернизма суждение: как же! Все фундаментальные идеологии и ценности – утратили свое былое значение и никакой из них нельзя отдать предпочтение, все главные социальные институты приобрели некий характер конвенции-игры. А потому, дескать, и нет никаких существенных различий типа прежних, «устаревших»: «эксплуататоров и эксплуатируемых», «рабов и господ», «пролетариев и буржуазии», «правых и левых», «расистов и интернационалистов» и т.п. Здесь мы должны не поверить Я.Ставракакису: при всей текучести вещей и явлений реальности, они все же сохраняют определенность своей сущности в границах собственной меры: тысячу раз прав знаменитый автор знаменитого примера — стакан может выступать чем угодно в различных ситуациях, но как стакан он все же остается «инструментом для питья». Социальная практика в полной мере подтверждает эту максиму: в стремлении отстоять свою идентичность-принадлежность люди готовы пожертвовать очень многим, даже жизнью (и уж тем более — не только своей).

Кстати сказать, Лакло обосновывает эту постоянную неполноту идентичности или принадлежности достаточно просто: он постулирует, что человеку изначально недостает (не хватает) какого-нибудь отождествления. Оставим это на совести теоретика.

Куда более интересно, как справедливо говорит Ставракакис, разобраться: что движет нескончаемым процессом, повторением идентификации? Что происходит при этом с субъектом? Есть ли это только «игра семиотики»? (Опять же: семиотика почему-то обязательно должна носить игровой характер!?). Справедливости ради скажем, что автор признает наличие «всеобъемлющего характера, долговременной устойчивости некоторых идентификаций».

За ответами на эти, безусловно, ключевые вопросы нам предлагают обратиться к Фрейду, к его соображениям насчет идентификации и объединения людей в группы. Разумеется, к его идее, что «группу удерживает вместе некая сила по имени Эрос». Тут же заметим, что «теория Либидо» — всего лишь один из этапов развития воззрений Фрейда, не говоря уже о той критике, которой подвергли ее его ближайшие ученики. При чем тут тогда дискурсивная целостность групп – не очень понятно? Разумеется, Лакан попытался соединить оба варианта фрейдовского объяснения человеческих влечений: и либидо, и танатос.

Далее идут общеизвестные пассажи о двойственной природе либидозной основы объединения людей в группы: «любви-ненависти». Дискурс как реальные мысле-речевые практики лишь символически выражает эту основу.

Все это рассуждение необходимо только для того, чтобы подвести нас к выводу: «идентификацию надо понимать как процесс, существующий на обоих уровнях…: на уровне дискурсивной структурности и на уровне наслаждения». А далее все по обычной схеме фрейдизма периода теории «пансексуализма»: символический (читай – дискурсивный) аспект есть лишь продукт подавления и вытеснения (замещения) сексуальных влечений (желаний-наслаждений), поскольку все происходить должно по «логике желания», т.е. идентификация происходит с тем, что является объектом желания.

Схема здесь столь же давно известная, сколь и причудливая. Возникновение желания связано с так называемой символической кастрацией: т.к. желание предполагает жертвование пресимволическим наслаждением в его целостности, поскольку последнее запрещено при входе в социальную область лингвистического представления (проще сказать: ни реализовать, ни даже высказать его в «приличном обществе» нельзя!). В дальнейшем происходит якобы следующее: только при символическом замещении создается иллюзорная возможность дискурсивно реализовывать вытесненное желание (мыслить-говорить о нем). С другой стороны, хоть и замещенное и вытесненное, желание никуда по сути не девается, продолжая мотивировать поведение (стремление к сближению и отождествлению с объектом влечения), но уже как наслаждение и удовольствие от ожидания фантазматического слияния, объединения.

Понятно, что все это – полумера, что все это иллюзорно, что это лишь суррогат настоящего исполнения (удовлетворения) желания, а потому — оно вновь и вновь толкает человека. В этом процессе, разумеется, велика роль фантазии: «С одной стороны, фантазия обещает гармоничное избавление от социального антагонизма…». С другой стороны, фантазия и ее продукты суть не более, чем суррогаты.

В этот момент новейшие последователи фрейдистских разысканий причин любви-ненависти на почве двойственности либидо (Лакан, Жижек) и вводят (а точнее – просто уточняют и слегка конкретизируют) понятие Другого. Причем не просто другого, а такого, который несет в себе всю горечь иллюзорности и суррогатности подобного способа удовлетворения желания (влечения, наслаждения), после чего складывается идея (и соответствующие ей чувства) «кражи удовольствия». Таким образом, внутри классической пары субъект-объект возникает посредник, Другой, окрашенный в мрачные тона причины кражи наслаждения.

Что означает эта новация? Ставракакис просто ссылается на того же С. Жижека, что, дескать, «губительный аспект, создающий обстоятельства, когда наслаждение, которое мы потеряли, сконцентрировано в Другом, который украл его у нас». Ясно, что объект – это объект желания, субъект – жаждет отождествления, приобщения-удовлетворения; ясно, что почему-то оказывается обязательно невозможным и недостижимым реально, но лишь в фантазии, что в общем-то и осознается как иллюзорный заменитель, то здесь самое время появиться ненавистному Другому, на котором субъект неудовлетворенного реально, а лишь удовлетворяемого частично, неполно, иллюзорно, — желания вымещает

всю горечь подобного разочарования. Получается нечто напоминающее нам повседневность: субъективное желание приобщения, слияния и отождествления с объектом подогревается иллюзорными фантасмагорическими суррогатами, но не осуществляется в действительности — иначе и в том, и в другом случае желание бы исчезло.

Ставракакис, разумеется, не может обойти вниманием тот факт, что лакановская теория наслаждения, в сущности, бьется над проблемой социального и биологического. При всей материально-вещественной природе объектов влечений и желаний человека, они эти объекты обретают знаково-символические формы. Поэтому Лакан «подчеркивает связь между наслаждением и символом, символическим и реальным, языком и аффектом. Все эти сферы существуют отдельно, но не изолированно друг от друга». Потому-то область физического так загадочна для него. Да и как иначе: ведь он воочию видит эту крайне парадоксальную и противоречивую, но связь. А вот объяснить – почему стороны парадоксального противоречия связаны, а тем более – как он переходят один в другой, он не может. Это, кстати, к вопросу о диалектике. Гегель в таком случае всегда подчеркивал, что решение лежит не посередине («золотая середина»). Посредине, между крайностями, лежит не решение, а проблема; вернее, правильная ее постановка. Но Лакан не диалектик.

Решение ищется путем введения мистической «движущей силы». Ставракакис отрешенно добавляет: «В некоторых, самых загадочных моментах его работы, Лакан доходит до того, что объявляет о слиянии воображаемых плоти и слова, подчеркивая, что символ расположен на уровне сущности наслаждения, являясь одновременно причиной и пределом наслаждения… Все прежде всего рассматривается с позиций структуралистского/постструктуралистского уровня символического. Затем добавляется аспект реального, аспект наслаждения. В конечном счете, который все-таки остается загадочным и неполным, рассматриваются оба вышеупомянутых аспекта в их взаимосвязи». Действительно, почему, например, одни и те же объекты реальности являются предметами различных — вплоть до противоположности, — наслаждений? Занятно, что психоаналитическая методология, породившая методологическую подозрительность к продуктам сознания (символически-дискурсивным продуктам), в этом случае оказывается столь наивно-доверчива!.

Признание, которое следует из этих рассуждений, фактически развенчивает многосложную конструкцию «структурализма/постструктурализма»: оказывается, для того, чтобы эффективно описать идентификацию, нужно обратить внимание не на дискурс, а на удовольствие. Если перевести все это на более понятный язык, то это означает, что дискурсивно-языковой аспект (сознание, теории, идеологии, языковые и речевые практики) вовсе не играет в делах идентификации (самидентификации) той роли, которую им приписывают. При всей активной роли их, они все-таки выступают эпифеноменом по отношению к реальным жизненно-практическим интересам и ценностям, вокруг которых и строится настоящая, жизнь людей а не вымышленная или напрочь заманипулированная жизнь сознания. Но это говорит Ставракакис, Лакан же продолжает настаивать на том, что просто надо «обогатить теорию дискурса» так, чтобы дискурс и наслаждение, желание и агрессивность – поставить на один теоретический уровень. Однако сами Шанталь и Муфф все-таки признали, что «страсти» и «эмоции» играют ведущую роль в процессах идентификации.

Но каков же тогда смысл применения теории дискурса? На старом примере национальной идентичности предлагается увидеть решение. «Нации – это дискурсивные объединения», гласит первый и главный постулат. Но тогда объяснить ту преданность, которую люди чувствуют по отношению к этому продукту своего воображения (дискурса)? Да, конечно, одного единства дискурсивности мало. Все дело, оказывается, в эмоциях людей. Ставракакис цитирует С. Жижека: «Существует намного более реальный …аспект, который нужно принять во внимание: элемент, который удерживает вместе

конкретное сообщество, не может быть сведен к простой символической идентификации: связь, соединяющая членов этого сообщества, всегда предполагает одинаковое отношение к… воплощению удовольствия», которое воплощается в социальной практике и передается при помощи различных (национальных) стереотипов. Ясно, что для объяснения национальной идентичности надо опереться на что-то более осязаемое, чем символические аспекты, ведь национальную принадлежность не сменишь, как прошлогоднюю одежду.

Только проблема соотношения идеально-символического и реального планов еще не конец, другая проблема – это невозможность объяснить, почему национальная идентичность, вроде бы связанная с наслаждением, вдруг оборачивается негативной стороной: национализмом, ксенофобией, национальной враждой. Наш патриотизм – их национализм! В этой парадигме данный аспект точно также оказывается неразрешим.

Особенно остро все эти пороки обнаруживают себя при анализе конкретной программы европейской интеграции. Очевидна ее дискурсивная составляющая – базовые идеологии, планомерно разработанная программа, организованные институты и написанные документы. Очевидны эмоциональные аспекты – страсти вокруг европейской интеграции кипят: одни выступают решительно за, другие – против. Попытки сосредоточить внимание на содержании программных документов и идей интеграции ничего не дают для понимания того, почему люди так по-разному относятся к ней. Только потому, что кто-то что-то не понял, или людям не разъяснили суть? Разумеется, нет. Почему-то не хватает «страсти».

Ставракакис, говоря об академическом анализе проблемы, не может игнорировать тот факт, что «европейцы не воспринимают ЕС как важную сферу для политики, в отличие от своего родного государства». Отчего бы это? Оказывается, он всего лишь лишен «уровня эмоциональной привязанности»! Складывается какой-то заколдованный дискурс, который никак не может вырваться за некий предельно узкий и примитивный горизонт – теоретик никак не хочет обратить внимание на то, почему у людей вообще возникают те или иные эмоции, почему хоть сто раз скажи «халва», во рту слаще не станет!?

Внимание читателя систематически и упорно перемещается в область дискурсов сферы обыденного сознания: анти-европейские политические и идеологические дискурсы были подхвачены оппозиционерами-националистами (типа Ле Пена) и, переведенные в в план и стиль агрессии, насмешки (вплоть до непристойности) и насилия, завладели массовым сознанием! Дескать, сознанием населения завладели непристойные образы стандартных презервативов, таких же огурцов и бананов — это и есть «евро-скептицизм». Ставракакис признает, что эти дискурсы настолько несопоставимы со стандартными политическими и акдемическими дебатами, что политический класс и научное сообщество не принимают их во внимание. Но от этого, они, разумеется, не исчезают.

Ставракакис предупреждает, что к этим эпифеноменам надо относиться «очень осторожно», что они – страшно сказать! – могут проникать даже «в более серьезные газеты». Что же предлагается сделать? «Читатели, которым незнакома аргументация психоанализа или теории дискурса, могут запросто прийти к естественному выводу, что люди должны поддаться агрессивности и губительному наслаждению, что изучение Европы должно перефокусировать свой интерес на размер фруктов и кастрационные фантазии европейских народов, и что Европа только тогда станет притягательным объектом для идентификации, когда там произойдет сексуальная революция» Но коль скоро, читателям это не грозит, стоит обратить внимание на что-нибудь более осмысленное? Оказывается, надо всерьез воспринять двойственную природу идентификации (дискурсивную и аффективную, символическую и основанную на либидо), нужно «впрыснуть страсть в демократию», вместо того, чтобы сводить политику

к непривлекательному зрелищу нейтральной администрации и неизбежных необходимостей».

Таково заключение. Что же можно в свою очередь заключить в итоге ознакомления со столь причудливым дискурсом? Несколько идей навевают эти страницы. Во-первых, создается впечатление, что гремучая смесь психоанализа с многослойным понятием дискурса способна на что угодно, кроме того, чтобы посодействовать естественному желанию хоть что-то понять. Даже самые простые моменты (вроде вопроса о том, кому выгодна евроинтеграция, почему население встречает с опасениями и настороженностью, а то и враждебностью ряд аспектов интеграции?) интерпретируются столь же нарочито причудливо, сколь и эвристически бесплодно. Ложная страсть во что бы то ни стало изничтожить «эссенциализм» - т.е. докопаться до сущности, отличив ее от явлений, в том числе превращенных форм, - толкает всякого вступающего на этот путь в область тщательных двусмысленностей. Двусмысленность исходная: скрупулезно организуемый хаос из субъективного и объективного планов, сущности и существования, сущности и явления, необходимости и случайности. Это проистекает из ребячливого опасения, что всякое выявление сущности (объективного, закономерного) «уничтожает» явление, существование во всей его непосредственной данности. Забвение опыта развития эпистемологической мысли чревато тем, что мы будем обречены вместо поиска действительных причин выступления различных групп за европейскую интеграцию или против нее — облекать стереотипы обыденного сознания в трескучие фразы о либидо и агрессии к Другому, как пестрое иносказание про обывателя, «завидующего длине члена у чернокожего» или «особенному сексуальному аппетиту чернокожих»..

Н.В. Белоножко

Т. А. ВАН ДЕЙК. ДИСКУРС КАК СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕРАКЦИЯ

В работе Ван Дейка[1] представлены некоторые фундаментальные концепции, определяющие отношения между дискурсом и обществом. По мнению автора, ***дискурс-действие*** - стандартный принцип современных исследований дискурса. Такие феномены как текст и разговор стали обычными составляющими социально-культурного поля. Само собой разумеющимся считается ***контекстность дискурса***. Кроме того, общепризнанно, что дискурс описывает и воспроизводит власть.

Автор также дает понять, что упомянутые концепции чрезвычайно сложны и еще не полностью разработаны. Если мы говорим о «дискурсе-действии», необходимо определить условия и состояния дискурса, типы, уровни и возможности вовлеченных в анализ действий. Дискурс-контекст, формирующий структуры текста и разговора, возможно, стал обычным, но очень важно в связи с ним понять то, чем структуры контекста являются и как они способны затронуть сам дискурс.

Важный аспект дискурс-анализа - концепция власти. Критическое выявление роли дискурса в воспроизводстве социального неравенства требует детального анализа видов вовлеченной власти, форм воспроизведения власти в тексте и разговоре. Тот же подход требуется и для социопознавательной копии власти - идеологии, как основания разделенных социальных представлений групп.

В исследованиях этих понятий происходит движение между макро- и микро-уровнями социального анализа. Ван Дейк очень четко старается отделить социальное от индивидуального, поскольку, как он подчеркивает, пользователи языка говорят и слушают и как члены группы и как члены общества. Каждый спикер столь же уникален и его

---

[1] Van Dijk Teun A. Discourse as Intraction in Society // Discourse as Social Intraction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Volume 2. Sage Publications. London. Thousand Oaks. New Delhy. 1996. Pp. 1– 37.

дискурс, помимо социального подобия, объединяющего членов группы, вполне ожидаемо может привнести неравенство и инакомыслие.

Основная цель социального анализа дискурса состоит в том, чтобы понять отношения между структурами дискурса, с одной стороны, местными и глобальными социальными контекстами, с другой стороны. Это отношение не может быть установлено без такого фундаментального аспекта социального взаимодействия в обществе, как социально приобретенные и социально разделенные ментальные представления, определяющие культуру группы, организующие и контролирующие верования, социальные методы и дискурсы группы. Именно интеграция когнитивных и социальных измерений, по мнению Ван Дейка, позволит полностью понять отношения между дискурсом и обществом.

Далее дается перевод ряда фрагментов статьи Т.А.ван Дейка «Discourse as Intraction in Society», опубликованной во втором томе коллективной монографии «Дискурс как социальная интеракция», вышедшей под его редакцией.

Дискурс как Действие

Дискурс, однако, имеет другое фундаментальное измерение, которому было уделено мало внимания в первом томе, и будет центром второго настоящего тома, а именно факт, что дискурс является также практическим, социальным и культурным явлением. Мы видели на примере парламентской речи, как пользователи языка, участвующие в дискурсе, выполняют социальные действия и участвуют в социальном взаимодействии в различных формах диалога. Такое взаимодействие в свою очередь присутствует в различных социальных и культурных контекстах от неофициальных встреч с друзьями или профессиональных контактов до таких столкновений, как парламентские дебаты.

Акцентирование внимания на дискурсе как взаимодействии в обществе не уменьшает наш интерес к структуре дискурса. Напротив, анализ дискурса как продолжающегося, социального действия должен быть сконцентрирован на его порядке и организации. Наша речь состоит не только из определенного ряда слов, предложений и суждений, но также из последовательностей взаимосвязанных действий...

Порядок слов, стиль или последовательность, среди многих других свойств дискурса, могут быть описаны не только как абстрактные структуры, как это делается в лингвистике, но также и в терминах стратегических достижений пользователей языка: например, спикеры и авторы любых текстов постоянно участвуют в создании последовательных дискурсов. Все, что характерно для структуры дискурса, истинно также для представлений, необходимых для его создания и понимания: познание имеет социальное измерение и возникает, используется и изменяется как в устных, так и в других формах взаимодействия...

Пользователи Языка и Контекст

Пользователи Языка активно участвуют в создании текста и разговора не только как спикеры, авторы, слушатели или читатели, но также и как члены социальных категорий, групп, профессий, организаций, общин, обществ или культур. Они взаимодействуют как женщины и люди, чернокожие и белые, старые и молодые, бедные и богатые, доктора и пациенты, преподаватели и студенты, друзья и враги, китайцы и нигерийцы, и так далее, и главным образом в сложных комбинациях этих социальных и культурных ролей и тождеств. И наоборот, осуществляя дискурс в социальных ситуациях, пользователи языка в то же самое время активно строят и демонстрируют свои роли...

Контекстом мы называем совокупность свойств социокультурной ситуации, формирующую декларацию дискурса. Типичные примеры, составляющие контекст дискурса также показывают, что анализ контекста, может быть столь же сложен и многослоен как сам текст и непосредственное общение. Принимая во внимание, что структуры неофициального общения между друзьями могут управляться только несколькими контекстными параметрами (типа установки и знания собственных социальных ролей); новости, парламентские дебаты или взаимодействие участников в

зале суда должны быть проанализированы с учетом относительно сложных социальных, политических и культурных условий, состояний и последствий...

Разговор и Текст

Должно быть, очевидно, что письмо и чтение являются также формами социального действия, и большая часть из того, что говорится, также обращается к письменному тексту, его созданию и пониманию. Существует одно критическое различие: в разговорах (кроме бесед по телефону) имеет место присутствие участников лицом к лицу, столкновения пользователей языка, занятых в непосредственном взаимодействии. То есть говорящие вообще реагируют исходя из того, что предыдущий спикер сказал или сделал. Однако, нюансы «разговора» по электронной почте стирают даже это различие между письменной и устной речью.

Ежедневные разговоры непосредственны и имеют много свойств импровизированной речи: паузы, ошибки, ремонт, ложные запуски, повторения и так далее. Письмо текста главным образом более управляемо, и особенно это отражается на электронных текстах; у авторов этих текстов в распоряжении много средств, чтобы исправлять и изменить текст, написанный прежде...

Иерархии действия

При письме или разговоре, мы конечно выполняем действия письма и разговора, но дело в том, что таким образом мы создаем утверждения и обвинения, отвечаем на вопросы, защищаемся и так далее. То есть дискурс представлен сложной иерархией различных действий на различных уровнях абстрактности и общности, посредством чего мы делаем А при выполнении В...

Эти действия могут иметь различные свойства, но они - все общественные действия. Хотя намерения и цели обычно описываются как ментальные представления, они социально уместны, и проявляются как социальная деятельность, потому что они приписаны нам другими, кто интерпретируют эту деятельность: другие таким образом определяют нас с рациональной точки зрения как социальных актеров..

Цели

Мы можем просто следовать за здравым смыслом и предполагать, что дискурс - форма действия и взаимодействия и объявить, что дискурс социален. Но некоторые примеры, упомянутые выше, предлагают, что связи между дискурсом и обществом гораздо более сложны, и нуждаются в теоретическом анализе. Концепции, выбранные для дальнейшего анализа, регулярно появляются в нескольких главах этого тома и во многих других социальных подходах к дискурсу.

1 Действие. Мы определили дискурс как действие, но чем точно является действие и что, делает дискурс формой социального взаимодействия?

2 Контекст. Социальный анализ дискурса обыкновенно изучает дискурс в контексте. Несмотря на частое использование, понятие контекста не всегда анализируется в большой степени как текст и разговор, хотя контексты должны выступать в качестве интерфейса между дискурсом как действием с одной стороны и социальными ситуациями и социальными структурами с другой. Так, чем же точно является контекст?

3 Власть. И действие, и контексты дискурса предполагают участников, таких как члены различных социальных групп. Власть - ключевое понятие в изучении отношений группы в обществе. Если какая-то особенность контекста и общества в целом посягает на текст и разговор (и наоборот), это - власть. Для критического подхода к дискурсу важно проанализировать это фундаментальное понятие.

4 Идеологии. На уровне идеологии также устанавливают связи между дискурсом и обществом. В некотором смысле, идеологии - познающая сторона власти. Для социального знания имеет значение, что, пользователи языка представлены в дискурсе как члены конкурирующих групп, таким образом, важно понять социальные интересы и управлять социальными конфликтами. В то же самое время, дискурс необходим в воспроизводстве идеологий группы...

Некоторые понятия, упомянутые в этом томе, вполне понятны в их ежедневном непосредственном использовании, но теоретически довольно сложны, как только мы начинаем вглядываться в них.

Интуитивное определение действий – «то, что люди делают». Однако, люди делают много вещей, некоторые из них было бы странно называть действиями: падение с лестницы, размышления, наблюдения. Наоборот, в некоторых ситуациях мы можем социально, нравственно или юридически действовать, хотя мы не делаем фактически ничего, например, когда мы молчим, оказываемся помещенным куда-либо, или воздерживаемся от курения.

Это наблюдение предлагает определение, что 'события' или 'действия' (или воздержание от выполнения кое-чего) могут со всеми основаниями называться ' действия, только, если они таким образом интерпретированы...

Согласно этому анализу, дискурс - очевидная форма действия. Это главным образом намеренно управляемая, целеустремленная человеческая деятельность: мы обычно не говорим, пишем, читаем или слушаем случайно или только для того, чтобы проявлять наши вокальные данные и прочие физические способности...

Множество дискурсов находят свою окончательную рациональность и функциональные возможности в социальных и культурных структурах. По этой причине, имеет смысл провести различия между местным и международным контекстом или глобальным и социальным контекстом.

Власть

Одна из концепций, исследующих отношений между дискурсом и обществом – концепция власти…

Мы ограничимся в своем исследовании социальной властью, определенной как между социальными группами или учреждениями. То есть мы, здесь игнорируем различные формы личной власти, если таковая не основана на членстве группы…

Объясняющая концепция, которую мы используем, чтобы определить социальную власть - *контроль*. Одна группа имеет власть над другой группой, если обладает некоторой формой контроля над другой группой: мы управляем другими, если мы можем заставить их действовать, поскольку мы желаем предотвратить их от действия против нас.

Вопрос - как мы способны заставить других действовать определенным образом? Первый вариант - простая сила: мы вынуждаем других делать то, что мы хотим, хотят ли они этого или нет. Часто власть в обществе не принудительная, а скорее ментальная. Вместо непосредственного управления действиями других, мы управляем основанием действий, а именно намерениями или целями… один из весомых способов влиять на умы людей так, чтобы они действовали, как мы хотим - текст или разговор. В этом заключается первый, довольно очевидный, аспект взаимоотношений между властью и дискурсом.

Команды «работают», если другие люди исполняют их. То есть, если получатели делают то, что мы хотим. …Явно или неявно мы можем в то же самое время сообщать, что нет никакой альтернативы, кроме как подчиняться: если Вы не делаете А, тогда мы можем делать В…Таким образом, осуществление власти ограничивает выбора действия, и таким образом свободу, других…

Есть другое фундаментальное понятие, которое устанавливает связь между дискурсом и обществом - *идеология*.…

Чтобы понять, что есть идеология и каким образом она связана с дискурсом, мы должны ответить на основной вопрос об ее *социальных функциях*. Почему в первую очередь люди нуждаются в идеологиях? Что люди *делают* с идеологиями? Классический ответ на тот вопрос состоит в том, что идеологии изобретены доминирующими группами, чтобы воспроизводить и легитимировать свое господство. Одной из стратегий осуществления такой легитимации выступает, к примеру, трактовка доминирования как божественной данности, естественного состояния, милости, которая отстаивается

доминирующей группой в целях упрочения существущих социальных отношений… Дискурс в таком подходе в основном рассматривается в качестве медиума, посредством которого идеологии включаются в социальную коммуникацию и таким образом помогают воспроизводить власть и доминирование специфических групп или классов.

Хотя данный подход не является полностью неверным, он одновременно и односторонен и поверхностен…

В противовес приведенной трактовке давайте предпримем иной, более аналитический подход к идеологиям, переосмыслив сначала их социальные функции, а затем, исходя из этого, проанализируем и социальную роль дискурса…

Люди вырабатывают идеологии, чтобы решить спцифическую проблему: идеологии служат для того, чтобы координировать действия или практики членов социальной группы. Однажды принятые, идеологии формируют уверенность, что члены группы будут в основном действовать одинаковым образом в одинаковых ситуациях, будут способны объединяться для решения задач, и таким образом внесут свой вклад в сплочение группы, солидарность и успешное воспроизводство группы. Это особенно относится к ситуациям угрозы и соревнования, когда отсутствие взаимодействия и солидарности может привести к потере власти, дезинтеграции или поражению…

Одно фундаментальное различие между языком и идеологией заключается в том, что группы развивают и используют язык исключительно для внутренних целей, для связи между членами, принимая во внимание, что идеологии служат не только, чтобы координировать социальные практики в пределах группы, но также и (если не прежде всего) для того, чтобы координировать социальное взаимодействие с членами других групп. То есть, идеологии нужны для того, чтобы «определять» положение группы в внутри сложных социетальных структур и в отношении других групп. Именно это *самоопределение* или *социальная идентичность*, востребованная и разделяемая членами группы, позволяет защищать интересы группы в целом.

Характеризуемые таким образом…идеологии обнаруживают свои базовые характеристики. Они выступают критериями, на основе которых определяются членство и принадлежность к группе (Кто мы? Кто к нам относится?), типичные действия и цели (Что мы делаем и почему?), нормы и ценности (Что хорошо и, что плохо для нас?), социальные позиции по отношению к другим группам (Где мы?), а также – социальные ресурсы группы (Что мы имеем?)…

Идеологический анализ

Идеологический дискурс-анализ является частью более широкого изучения социального дискурса. Что на самом деле является «идеологическим» в тексте и разговоре, и в каком контексте?…

…Идеологичность вытекает из социального контекста: пользователи языка должны говорить или писать как члены группы. Так простое высказывание, содержащее персональное желание, «Мне не нравится это яблоко!», будет менее идеологичным, чем высказывание, которое выразит групповое мнение, например: «Я выступаю против дальнейшего законодательного закрепления прав человека»… Аналогично дискурсные структуры, которые представляют или реализуют групповые цели и интересы, являются более идеологичными, чем те, что сфокусированы на сугубо персональных желаниях. Выражение «Мы должны выступать против всех форм цезуры» является более идеологичным, чем выражение «Я хочу завтра отправиться в Амстердам»…

В целом, все уровни и структурные свойства дискурса и контекста могут быть идеологическими кодами пользователей языка, действующих в качестве членов группы. Часто это происходит косвенным образом, например, через групповые мнения, персональные мнения или через специфические ментальные модели событий и действий. «Невинный» рассказ о соседях-иностранцах может оказаться отражением конфликта с иностранными соседями, в котором, в свою очередь, может быть отражена более общая модель социально разделяемых предрассудков и идеологий. Таким же образом, порой,

детали мужского разговора могут косвенно сигнализировать и воспроизводить гендерные идеологии. Члены организации или институции будут подобным же образом воспроизводить или оспаривать идеологию организации в своих рабочих разговорах или аргументациях.

Е.А. Степанова

ЭНТОНИ М. КЛОХЕЗИ. АКТ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА: ПОЛИТИКА, ВЛАСТЬ И ЗАКОН

В статье Э.М.Клохези[1] речь идет о законодательном урегулировании прав человека, в частности, о том, что в 1998 г. парламент Соединенного королевства одобрил Акт о правах человека, согласно которому положения Европейской конвенции о правах человека были включены в британское законодательство. Данный Акт, вступивший в силу 2 октября 2002 г., гарантирует широкий спектр базовых прав и свобод, например, право на жизнь, на справедливый суд, на частную жизнь и создание семьи, на образование, на свободу совести, на свободу от дискриминации, пыток, рабства, незаконного заключения под стражу и пр.

Как отмечает автор статьи, Акт, который, как многие считают, является наиболее выдающимся примером развития конституционного законодательства в Британии последнего времени, направлен на разрешение неизбежного противоречия между демократическим правом большинства на обладание политической властью и демократической потребностью отдельных людей и меньшинств в защите своих прав. Теперь каждый человек, находящийся под юрисдикцией Соединенного королевства, независимо от гражданства и национальности может требовать защиты своих прав согласно положениям Европейской конвенции. Другими словами, если права нарушены властями, каждый человек имеет право обратиться в любой суд государства. Акт о правах человека делает судей ответственными за защиту положений Европейской конвенции и дает им возможность оценивать существующее законодательство с точки зрения его соответствия конвенции. При возникновении противоречий высшие суды имеют право заявить о «несоответствии», что, в свою очередь, может побудить парламент к изменению законодательства.

Принятие Акта привело к существенному изменению соотношения между исполнительной, законодательной и судебной властью.

Важно понять, отмечает Клохези, почему лейбористское правительство, которое ранее скептически оценивало политику, основанную на защите прав человека, в своей деятельности поставило Акт на первое место, тем более что его принятие не сопровождалось поддержкой общества. Многие выступали против принятия Акта. Принц Чарльз, например, в своем письме лорду-канцлеру выразил обеспокоенность тем, что Акт, по его мнению, представляет собой серьезную угрозу нормальному цивилизованному образу жизни. В правой прессе отмечалось, что правительство больше озабочено защитой прав тех, кто виновен, нежели тех, кто невиновен. Представители консервативной партии обращали внимание на то, что противопоставление прав индивидов власти, осуществляемой во имя общества в целом, дает политикам, борющимся за голоса избирателей, значительные моральные преимущества перед неизбираемыми и несмещаемыми судьями.

Тревога по поводу двусмысленности некоторых положений Акта высказывалась и внутри самой лейбористской партии. Сущность возражений с этой стороны заключалась в следующем: права человека в рамках Акта рассматриваются как права индивида в противоположность власти государства и правам других индивидов. Но это предполагает,

[1] Clohesy A.M. The Human Rights Act: Politics,Power, and the Law // Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance. Palgrave Macmillan. Ltd. 2005. Pp. 170-189.

что антагонизм между интересами государства и интересами индивидов непреодолим, следовательно, коммунитарный идеал государства оказывается недостижимым.

Тем не менее, правительство продолжало настаивать на принятии Акта, объясняя это моральными и этическими причинами. При этом оно подчеркивало, что права следует рассматривать в контексте обязанностей. Одной из причин этого была четко выверенная стратегия удержания власти, поскольку Акт был во многом выгоден правительству. В частности, его принятие значительно уменьшило количество обращений в Европейский суд по правам человека, которые наносили серьезный вред репутации Великобритании. Кроме того, решения страсбургского суда часто приводили к усилению традиционно негативного восприятия «европейских дел» британским общественным мнением, что противоречило направленности политики правительства на европейскую интеграцию.

Некоторые критики лейбористского правительства рассматривали принятие Акта в качестве циничной попытки усиления его власти и отказа от действительно важных политических реформ. В частности, отмечалось, что британские суды в некоторых случаях игнорировали решения страсбургского суда, ссылаясь на то, что следование этим решениям может задеть национальные интересы. Страсбургский суд, по мнению этих критиков, должен исходить из уважения политических и культурных традиций стран – членов Европейского сообщества: «Например, то, что задевает религиозные чувства в одной стране, может оказаться важным проявлением свободы совести в другой».[1]

Далее автор статьи рассматривает Акт о правах человека в контексте теории «трех волн», которую, в частности, развивает современная исследовательница Франческа Клаг (Francesca Klug). Первая волна обычно ассоциируется с французской «Декларацией прав человека» 1789 г. и американским «Биллем о правах» 1791 г. Эти документы были проникнуты идеалами эпохи Просвещения, согласно которым индивиды наделены естественными правами, которые следует защищать от тирании государства и религиозных гонений. В то же время в этих документах присутствовало указание на важное значение не только прав, но и обязанностей. С критикой теории естественного права выступил К. Маркс, который считал, что так называемые права человека не идут дальше рассмотрения индивида как члена гражданского общества, предоставленного самому себе и своим частным интересам и отделенного от реального сообщества.

Индивидуалистическая и коллективистская концепция прав соревновались друг с другом до конца Второй мировой войны, и в конце концов индивидуалистическая концепция с ее представлениями о неотчуждаемых правах одержала победу. Подписание Декларации о правах человека ООН (1948 г.) означало, по мнению Ф. Клаг, наступление второй волны в понимании прав человека. От традиции естественных прав ее отличала артикуляция прав не только в негативной, но и в позитивной форме. Такие понятия, как «достоинство, равенство и сообщество» заменили собой идею о Боге или природе как базисе прав человека. «Обе волны были нацелены на защиту индивидов от тирании, но изменились представления о достижении этой цели. В предыдущий период главная задача заключалась в освобождении людей; в последующий период она заключалась в том, чтобы создать ощущение моральной цели для всего человечества. С тех пор борьба за права человека в значительной степени превратилась в проблему создания лучшего мира для каждого человека».[2]

Ф. Клаг утверждает, что с принятием Акта о правах человека Великобритания вступила в третью волну, в результате чего понятие о правах может получить новое культурное и политическое значение. «Хотя сегодня присутствует такое же признание ценности достоинства, равенства и сообщества, как во второй волне (а также свободы, автономии и справедливости, как в первой), сегодня все больший акцент делается на соучастии и взаимности… Корпорации, общественные организации и даже отдельные

---

[1] Wadman J, Mountfield H. Blackstone's Guide to the Human Rights Act. London, Blackstone, 2000, p. 22.
[2] Klug F. The Human Rights Act – a Third Way or a Third Wave Bill of Rights. In: European Human Rights Law Review, 2001, 4, p. 364.

индивиды в некоторых обстоятельствах все больше оказываются ответственными за соблюдение прав других».[1]

Сущность аргументации Ф. Клаг в обосновании начала третьей волны заключается в том, что Акт о правах человека дает возможность формирования новой правовой и политической культуры, в центре которой находится продуктивный диалог между правительством, парламентом и судами по поводу прав человека. Препятствием на пути этого формирования является позиция «новых лейбористов», которые считают необходимым обсуждать проблему прав человека исключительно в контексте обязанностей и ответственности. С их точки зрения, о правах можно говорить только после исполнения обязанностей. Примером тому являются дебаты по поводу проблемы занятости. Подход «новых лейбористов» к этому вопросу заключается в том, что каждый человек обязан работать, и только после этого он имеет право на получение каких-либо материальных привилегий. Однако Ф. Клаг рассматривает эти дебаты как часть более широкого диалога и полагает, что даже если по этой причине права ограничиваются, это должно происходить пропорционально и соответствовать правовым нормам демократического общества.

Далее в статье рассматриваются методологические вопросы и, в частности, значение дискурсивной теории для анализа прав человека. Однако ситуацию вокруг Акта можно оценивать и с точки зрения инструменталистского методологического подхода. Согласно ему, правительство заговорило о новом соотношении между правами и обязанностями исключительно с целью внедрения определенной идеологии. Это проявилось в том, что коммунитарная философия «третьего пути», которой придерживаются некоторые «христианские правые» внутри новой лейбористской иерархии, была интегрирована в дискурс прав человека. Это помогает успокоить лоббистов прав человека и в то же время нейтрализовать их потенциальную опасность. С точки зрения инструментализма, целью принятия Акта о правах человека было продвижение идеи *обязанностей* за счет *прав*.

По мнению Клохези, инструменталистский подход имеет определенные недостатки. Проблему того, *почему* возникает та или иная методологическая стратегия, следует ставить в более широком теоретическом контексте, прежде всего, исследуя вопрос о том, *каким образом* эта стратегия становится *возможной*. С точки зрения дискурсивной теории, возможность постижения идентичности и смысла тех или иных понятий основана на существовании внешних для них оснований, другими словами, понятия нельзя выводить из них самих. Наличие внешних оснований приводит к том, что все претензии на позитивность и универсальность немедленно теряют под собой почву. Идентичность не может быть выведена из структуры явления или события, она требует дополнения извне. Согласно теории Ж. Дерриды, означаемое сохраняет свое значение потому, что его смысл не может быть исчерпан. Оно всегда является предметом реартикуляции в рамках новых контекстов. Если контекст, в котором возникает знак, изменяется, его смысл также изменяется.

Эта мысль важна для оценки политических явлений, поскольку помогает понять, что явления, возникающие, казалось бы, необходимым и естественным образом, представляют собой продукт более широкой контекстуальной системы. Интеграция означаемого в новую систему смыслов всегда представляет собой специфический властный акт, который на время исключает другие возможные интерпретации. Поскольку содержание взаимозависимости прав и обязанностей неисчерпаемо, всегда существует возможность его реконтектуализации и реконфигурации, хотя это и непросто. Другими словами, поскольку контекст, из которого вытекает значение явления, представляет собой результат властных усилий, его смысл всегда будет предметом будущих изменений посредством новых властных усилий. Возвращаясь к теории «трех волн» Ф. Клаг, автор

[1] Ibid., p. 369.

утверждает, что, с точки зрения дискурсивной теории, эти волны сменяли друг друга потому, что права человека представляли собой предмет новых политических усилий по их реконфигурации. Ответ на вопрос, почему лейбористское правительство настаивало на принятии Акта о правах человека, следует формулировать, исходя из ответа на вопрос, *каким образом* стала возможной реконфигурация представлений о правах человека.

Некоторые скептики продолжают утверждать, что принятие Акта объясняется тем, что он соответствовал эгоистическим интересам правительства. Тем не менее, автор статьи считает, что следует рассматривать действия правительства в более широком контексте, который позволяет выйти за пределы обычной субъективной оценки этих действий и стоящих за ними интересов. Другими словами, политические исследования всегда должны *отступать на шаг* от субъекта как выразителя своих интересов. Политику следует изучать в таком контексте, который исключает редукцию политических действий к действиям суверенного субъекта. Необходимо понимать, что артикуляция интересов, политических целей и стратегий представляет собой то, что Л. Витгенштейн называл «языковой игрой», дискурсивной рекурсивностью, в которой ни субъект, ни социо-экономические структуры, в которые он включен, не являются приоритетными относительно друг друга. Неспособность признать этот более широкий подход может привести к обеднению понимания смысла политических действий.

Далее автор переходит к рассмотрению того, как дискурсивная теория может помочь в понимании значения Акта о правах человека в конкретном эмпирическом смысле. В этом аспекте следует рассматривать интересы тех или иных политических групп в их развитии, исследовать, как именно конструировались стратегии «за» и «против» принятия Акта. Такое внимание к стратегии позволяет увидеть отличия тактики групп, выступавших против Акта, от тактики его защитников. Клохези отмечает, что обе стороны использовали лишь незначительно различавшиеся риторические приемы, желая убедить общественность в целостности своего подхода к интерпретации законодательства. Противники Акта утверждали, что его принятие приведет к административному хаосу, эрозии прецедентного права и деградации общества. С другой стороны, правительство подчеркивало, что принятие Акта приведет не к ослаблению обязанностей, а, наоборот, к их усилению. Д. Стро в одном из своих выступлений утверждал: «Культура прав и обязанностей, которую нам нужно создать, не подразумевает выдачу гражданам разрешения нападать на государство. Это есть пример вышедшей из моды индивидуалистической либералистской идеи, которая придала всему движению за права человека дурной эгоистический смысл. Эта идея забывает о том, что права существуют не в вакууме, она забывает о взаимоотношениях между индивидом и группой. Это не та культура прав и обязанностей, которая нам нужна».[1]

Если стратегия противников Акта заключалась в обосновании его негативных последствий, то стратегия правительства заключалась в отстаивании идеи гармоничного сочетания прав и обязанностей. Приверженцы теории рационального выбора утверждают, что всякое действие подразумевает выбор наиболее эффективных средств для его осуществления. Другими словами, человек всегда действует рационально, реализуя свои интересы независимо от их онтологического статуса. Однако автор статьи полагает, что конституирование интересов и стратегий их реализации следует анализировать не с помощью рациональной методологии, а лишь в контексте дискурсивной теории и властных отношений.

Одним из способов такого анализа может быть исследование стратегий в контексте «логики тождества» и «логики различия». Первая логика устанавливает дискурсивное единство между разрозненными элементами путем утверждения существования общей опасности. Она стремится разделить социальное пространство путем отнесения смыслов к двум противоположным полюсам. Наоборот, логика различия стремится разрушить

---

[1] Cit. in: Croft J. Whitehall and the Human Rights Act / The Constitution Unit, University College London, 2000, p. 12.

границы между смыслами. Так, стратегия противников Акта может быть понята в контексте логики тождества, согласно которой права и обязанности понимаются в качестве антагонистов. Для левых внимание правительства к правам человека представляло собой измену социалистической мечте об обществе, объединенном общими интересами. Для правых Акт представлял собой угрозу распада социального и политического устройства общества. С другой стороны, стратегия правительства, понимаемая в рамках логики различия, была прямо противоположной. Ее целью было *ослабление* антагонизма между правами и обязанностями посредством их совместного артикулирования таким способом, чтобы они выглядели не противоположными, но совпадающими.

Описывая свои методологические предпочтения, автор статьи указывает, что его главной целью был анализ интервью, речей и текстов как защитников Акта о правах человека, так и его противников. Кроме того, были использованы два специфических аналитических подхода, которые существуют в рамках дискурсивной теории. Во-первых, автор обратил особое внимание на категорию повторяемости, которая позволила понять смысл принятия Акта о правах человека. Суть здесь заключается в том, что предыдущее обсуждение проблемы соотношения прав и обязанностей в рамках «второй волны» полностью определялось властью и политикой, что сделало эту проблему открытой для новых интерпретаций по мере изменения политической ситуации. Во-вторых, анализ интервью, заявлений и текстов с точки зрения логики тождества и логики различия позволил выявить, каким именно образом конкретные риторические стратегии были использованы для обоснования нового подхода к пониманию соотношения прав и обязанностей.

Клохези отмечает, что уже после принятия Акта о правах человека премьер-министр Тони Блэр продолжил попытки сближения понимания прав и обязанностей. В одной из речей он утверждал, что главная задача левых центристов заключалась не в том, чтобы заменить грубый индивидуализм эпохи М. Тэтчер концепцией патерналистского государства. Скорее, эта задача заключалась в восстановлении сильного гражданского общества, в котором права и обязанности идут рука об руку. «Сотрудничество – это непростое понятие. Оно одновременно подразумевает способность давать и получать. Оно подразумевает, что каждый человек имеет как обязанности, так и права, что они должны не только получать, но и созидать».[1]

По мнению автора, инструменталистская методология, которая сводит политические действия и выборы к утилитарным интересам, очень *мало* способна сказать о реальной политике. Наоборот, анализ конструирования конкретного дискурса дает большие возможности для проникновения в реальный механизм формирования политики. В этом случае мы можем, например, понять, каким образом такие означаемые как права и обязанности могут выступать либо как взаимно обогащаемые метафоры, либо как совершенно противоположные термины.

Возвращаясь к причинам усиления судебной власти относительно исполнительной и законодательной власти в Великобритании после принятия Акта о правах человека, автор ставит проблему соотношения закона и политики в свете дискурсивной теории. Он цитирует Ж. Дерриду, который заметил следующее: «Закон – это не то же самое, что справедливость. Закон – это количественный элемент…, а справедливость не подлежит подсчету… Закон заставляет нас подсчитывать неисчислимое».[2]

Данный методологический подход противоречит позитивистскому, который рассматривает закон как носитель моральных норм, а судей – как определителей тех принципов, которые позволяют защищать индивидуальные права. Однако обсуждение этой проблемы, как отмечает автор, выходит за рамки данной статьи. Он лишь

[1] Speech to the Progressive Governance Conference, 2002.
[2] Derrida J/ Force of Law: The Mystical Foundation of Authority. In: Deconstruction and the Possibility of Justice. New-York, 1992, p. 16.

констатирует, что принятие Акта свидетельствует о наступлении третьей волны в понимании прав человека, связанной с открытым диалогом между действующими агентами гражданского общества по поводу соотношения прав и обязанностей, сущности закона, социальной справедливости и т.п.

Это обстоятельство также может быть рассмотрено в более широком этическом контексте. Дискурсивную теорию часто обвиняют в излишнем релятивизме, то есть в неспособности создать «твердые основания» для критики несправедливости и неравенства, а также в таком понимании природы власти, которое служит интересам тех, кто приходит к власти незаконными способами. Однако, как отмечает автор, следует помнить о том, что исследование власти методами дискурсивной теории, которые направлены на анализ способа конструирования политических утверждений, является необходимым условием деконструкции ложных аргументов, выдвигаемых с целью отрицания социальных и политических прав. В этом смысле дискурсивная теория остается важным инструментом в борьбе за демократические права человека в Британии.

В заключении Клохези подчеркивает, что он стремился показать важность дискурсивной теории для анализа Акта о правах человека в двух аспектах. Во-первых, она позволяет предположить, что властные отношения являются условиями конституирования интересов и, в первую очередь, анализировать причины тех или иных действий. Так, в контексте Акта о правах человека, правительство оказалось способным внедрить новый дискурс потому, что проблема взаимоотношений между правами и обязанностями уже была поставлена ранее и поэтому стала предметом реартикуляуии. Во-вторых, дискурсивная теория позволяет добиться критического осмысления движущих механизмов политики и ведущей роли власти в конструировании и поддержании единства дискурсов. В этой связи автор стремился опровергнуть мнение, согласно которому дискурсивная теория представляет собой мета-теоретический уровень анализа и, следовательно, является слишком абстрактной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После прочтения книги читатель, наверняка, придет к выводу, что интерпретиций теримина «дискурс» и способов анализа существующих дискурсов великое множество. Вполне возможно, что читателю самому захочется предложить или выработать собственную версию дискурса и дискурс-анализа, которая сможет внести определенный вклад в развитие новой дисциплины под названием «дискурсология». Такая творческая активность нами только приветствуется.

Предлагая нашим читателям и будущим автором принять участие в разработке указанной дисциплины, мы хотели бы сделать несколько дополнительных пояснений относительно места дискурсологии в системе общественных наук, ее структурных компонентов и технологий.

Прежде всего, следует отметить, что дискурсология представляет собой единство теории, технологии и искусства дискурса как важнейшего компонента общественной жизни.

В целом, всю общественну жизнь можно представить как взаимопроникновение экономической, политической и дискурсивной сфер деятельности, т.е. как взаимосвязь экономики, политики и дискурса.

В каждой сфере осуществляется производство определенного капитала как системы общественных отношений и общественного обмена.. В сфере экономики происходит производство главным образом утилитарного капитала, основной целью которого является получение *максимальной выгоды.* В сфере политики осуществляется производство и функционирование политического капитала, главной целью которого является возрастание *власти*.

В сфере дискурса вырабатывается символический и социетальный капитал. Символический капитал представляет собой систему культурных кодов, необходимых для осуществления коммуникативно-информационного обмена. Социетальный же капитал представляет собой систему социальных контактов, основанных на доверии, уважении и согласии участников коммуникаций.

Главными инструментами создания утилитарного капитала выступают натуральный и товарно-денежный обмен, или, условно, « Золото». Основными инструментами обретения политического капитала выступают социально-энергетические ресурсы властвования (административный ресурс, правовой ресурс, партийный ресурс, общественно-организационный ресурс и др.) Условное название - «Меч». Основными инструментами дискурса как символического и социетального капитала являются: речь, диалог, знание, образ, символ, знак, интерпретация, аргументация, внушение. Условное название данного инструментария - «Слово».

В современной системе общественных наук сложились дисциплинарные комплексы, изучающие определенные сферы общественной жизни. Так, например, существуют комплексы экономических и политических наук, изучающие соответственно экономику (мир Золота) и политику (мир Меча). Данные дисциплинарные комплексы на сегодняшний день довольно хорошо теоретически разработаны.

Что же касается той сферы, где функционирует и правит дискурс, или, условно, «Слово», то здесь наблюдается явное дисциплинарно-теоретическое и методологическое отставание. Дискурсология как комплексная дисциплина о дискурсе еще не сложилась и находится на стадии своего первоначального оформления.

Конечно, с незапамятных времен существуют различные дисциплины, изучающие под определенным углом зрения и с определенными целями власть «Слова» или сферу дискурса. К традиционным дисциплинам, исследующим дискурс, относятся риторика, поэтика, педагогика, лингвистика, литературоведение, искусствоведение, источниковедение, историография и др.

В эпоху массовых коммуникаций возникли новые дискурс-аналитические дисциплины, такие как теория и практика журналистики, кино, телевидения, рекламы, PR и др.

Вместе с тем, важнейшее, сущностное свойство дискурса, связанное с обеспечением общественного единства, согласия, доверия и понимания, наиболее всесторонне и глубоко рассматривается, главным образом, в рамках политической философии и социокультурной лингвистики.

Вместе с тем, теория и практика достижения единства, согласия, доверия и понимания – занятие, достойное не только философов, политологов и лингвистов. Данные вопросы весьма актуальны также для бизнеса, для семейной жизни, для личностного самоутверждения и успеха. Вот почему они сегодня волнуют большинство людей.

В семье все три сферы общественно жизни – экономика, политика и дискурс – теснейшим образом взаимосвязаны. Для устойчивого существования семьи необходимо установление отношений взаимопонимания, согласия и выгоды между всеми ее членами. Иначе говоря, очень важно как на уровне идей, так и на уровне практики развивать дискурс внутрисемейных отношений. (Сегодня в развитых странах мира семья как базовый компонент общества находится в состоянии кризиса. Одна из причин – неразвитость теории и практики дискурса семьи. Нет идей, объединяющих мужа и жену, родителей и детей. Дискурс семьи опирается на политику семьи, которая диктует определенную специализацию между членами семьи, полами, а также особенности распределения внутрисемейной власти. В эпоху унификации полов в семье объединяются два почти одинаковых субъекта, которые практически не дополняют друг друга, не усиливают друг друга, не делают объединение мужчины и женщины технологией возрастания выгодности).

Дискурсология по аналогии с логикой развития экономических и политических наук в итоге должна превратиться в разветвленный комплекс различных дисциплин, в рамках которого могут получить относительно самостоятельное существование такие специализированные дисциплины, как: 1) теория дискурса; 2) методология дискурс-анализа; 3) искусство и культура дискурса.

К примеру, дисциплина « искусство и культура дискурса» может включать тренинги, обеспечивающие развитие креативного мышления и приобретение практических навыков творческого решения коммуникативных задач. Данная дисциплина должна также способствовать приобретению определенных знаний, касающихся особенностей менталитета, обычаев, традиций и нравов различных народов, социальных групп, субкультурных объединений, помочь в расшифровке их *культурных кодов.*

Искусство и культура дискурса предполагает изучение способов *заражения желаниями* по аналогии с действием и распространением вирусов. Иначе говоря, предметом исследования дискурсологии должны стать так называемые *информационные вирусы*. Информационный вирус заражает другое лицо, перенося на него свою информационную программу. После чего субъект, подверженный информационному вирусу, начинает воспринимать мир уже в соответствии с новой программой.

Другой составляющей предметной области искусства и культуры дискурса, на наш взгляд, является изучение технологий *внушения* (суггестии) определенной системы жизненных приоритетов и установок, к примеру, установок успеха в обществе массового потребления и глобального маркетинга.

При анализе дискурса маркетинга в центре внимания не могут не оказаться такие маркетинговые технологии, как брендбилдинг и брендинг, технологии саморепрезентации и имиджирования, технологии формирования Звезд.

Понятие Звезды является символом Успеха в дискурсе современного маркетинга. Для того, чтобы стать Звездой, необходимо обладать тремя основными качествами: 1) пассионарностью – внутренней энергией для свершения задуманного; 2) харизмой – умением вызывать чувства уважения или любви; 3) лидерскими навыками - способностями видеть цели, вести за собой людей, управлять подчиненными. Искусство и культура дискурса призвана, на наш взгляд, дать в комплексе всю сумму современных знаний и навыков, необходимых для формирования востребованных качеств успеха.

В рамках дисциплины «искусство и культура дискурса» можно выделить также несколько универсальных технологий успеха, применяемых в деловых и социокультурных коммуникациях. К таковым, например, относятся технологии «Масок», «Парадоксальности» и «Системности».

Умелое владение технологией «Масок» характеризует Профи. Профи в автоматическом режиме способен придать своему облику необходимый образ, сменить имидж. Реализация технологии «Парадоксальности» характеризует Гения. Гений – это тот, который выбирает нестандартные пути решения вопросов, благодаря чему

становится «звездой». Технология «Системности» характерна для Коуча (педагога-тренера). Коуч, благодаря системному видению объекта и системному освоению собственного опыта, обладает способностью передавать свои идеи, знания и опыт ученику.

В целом, дискурсология как мультидисциплинарное образование на сегодняшний момент пребывает в стадии начального институционального формирования. Вопросы, касающиеся особенностей ее предметной области и методологии, открыты для широкого научного обсуждения.

В последующих выпусках серии «Дискурсология» мы планируем познакомить наших читателей с оригинальными авторскими версиями дискурс-исследований и ценным опытом дискурсных практик. Надеемся, что данный проект получит благоприятный научный и общественный отклик.

О.Ф.Русакова, А.Е.Спасский.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Белоножко Наталья Викторовна – кандидат философских наук, младший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН.

Дьякова Елена Григорьевна – доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института философии и права УрО РАН.

Зенкова Анна Юрьевна – кандидат философских наук, докторант Института философии и права УрО РАН.

Ишменев Евгений Васильевич – студент факультета политологии и социологии УрГУ.

Карпентье Нико (Carpentier N., Ph.D.) – профессор отделения коммуникативных исследований Брюссельского свободного университета и Брюссельского католического университета, Бельгия.

Киселев Константин Викторович – кандидат философских наук, зам. Директора Института философии и права УрО РАН по научной работе.

Кузнецов Александр Сергеевич – магистр политологии, аспирант Института философии и права УрО РАН.

Ли Рико (Lie R, Ph.D.), — преподаватель отделения коммуникативных и инновацицонных исследований (CIS) Вагенингенского университета, Вагиненген, Нидерлады.

Максимов Дмитрий Аркадьевич – магистр политологии, аспирант Института философии и права УрО РАН.

Мартьянов Виктор Сергеевич – кандидат политических наук, ученый секретарь Института философии и права УрО РАН.

Меркушев Виталий Николаевич – кандидат политических наук, научный сотрудник Института философии и права УрО РАН.

Руденко Виктор Николаевич – доктор юридических наук, директор Института философии и права УрО РАН.

Русаков Василий Матвеевич – доктор философских наук, профессор, директор колледжа Инстита международных связей.

Русакова Ольга Фредовна – доктор политических наук, профессор, зав. отделом философии Института философии и права УрО РАН.

Сервэ Ян (Servaes J., Ph.D.), – доктор философии, профессор, глава Школы журналистики и коммуникации Квинслэндского университета, Брисбейн, Австралия.

Спасский Александр Евгеньевич – кандидат политических наук, генеральный директор ДРП «Локомотив».

Степанова Елена Алексеевна – доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН.

Трахтенберг Анна Давидовна – кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН.

Фадеичева Марианна Альфредовна – доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института философии и права УрО РАН.

Фан Ирина Борисовна – кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии и права УрО РАН.

Фишман Леонид Гершевич – кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСКУРСОЛОГИИ

Гаврилова М.В. Политический дискурс как объект лингвистического анализа. – Полис. 2004, № 2.

Герасимов В.И., Ильин М.В. Политический дискурс-анализ. - Политическая наука. 2002, № 3.

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Москва: Гнозис, 2004.

Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.

Массовая культура на рубеже XX-XX1 веков: Человек и его дискурс. Сборник научных трудов /Под ред. Ю.А.Сорокина, М.Р.Желтухиной. ИЯ РАН. – М.: «Азбуковник», 2003.

Мухарямов Н.М., Мухарямова Л.М. Политическая лингвистика как научная дисциплина - Политическая наука. 2003, № 3.

Русакова О.Ф. Дискурс, политический дискурс, политическая дискурсология// Многообразие политического дискурса. – Екатеринбург: УрО РАН, 2004.

Русакова О.Ф., Спасский А.Е. Искусство «звезд» политического маркетинга. – Екатеринбург: Издательский дом «Дискурс-Пи», 2004.

Серио П. Анализ дискурса во Французской школе (дискурс и интердискурс) // Семиотика: Антология /Сост. Ю.С.Степанов. Изд. 2-е, испр. И доп. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001.

Филлипс Л.Дж., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ: теория и метод / Пер. с англ. – Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2004.

Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. - М.: ИТДГК «Гнозис», 2004.

Carpentier N., Servaes J., Lie R. (2003). Community Media: Muting the Democratic Media Discourse. – *Continuum*, vol. 17, № 1.

Dijk T.A. van. (1985). Introduction: Discourse Analysis as a New Cross-Discipline// *Handbook of Discourse Analysis*, vol.1, *Disciplines of Discourse.* Academic Press.

Dijk T.A. van. Elite Discourse and Institutional Racism. Universitat Pombeu Fabra, Barcelona. – *http://www. Teun at discourse –in-Society.org*.

Dijk T.A. van. Racism and Discourse in Spain and Latin America: Discourse Approaches to Politics, Society and Culture. Chapter 1. - *http://www. Discourse –in-Society.org*.

Fairclough N. (1992). *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.

Fairclough N. (1995). *Critical Discourse Analysis*. London: Lohgman.

Fairclough N. (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge.

Gee J.P. (2005). An Introduction to Discourse Analysis: Theory and method. New York and London: Routledge.

Laclau E., Mouffe C. (1985). *Hegemony and Socialist Strategy*. L.

Laclau E. (1996a). The Death and Resurrection of Ideology. – *Journal of Political Ideologies*, vol.1, № 3.

Laclau E. (2000). 'Identity and Hegemony', 'Structure, History and the Political', and 'Constructing Universality'. – Butler J., Laclau E., Žižek S. (eds.) *Contingency, Hegemony, Universality*. L.

Philllips L. (1999). Media Discourse and the Danish Monarchy: Reconciling Egalitarianism and Royalism. – *Media, Culture and Society,* vol. 21.

Stavrakakis Y. (2005). Passions of Identification: Discourse, Enjoyment, and European Identity. – Howarth D., Torfing J. (eds.) *Discourse theory in European politics: identity, policy and governance.* N.Y.

Torfing J. (1999). *New theories of discourse: Laclau, Mouffe, and Žižek*. Oxford.

Torfing J. (2005). Discourse Theory: Achievements, Arguments, and Challenges. – Howarth D., Torfing J. (eds.) *Discourse theory in European politics: identity, policy and governance.* N.Y.

Wodak R. and Meyer M. (2001). *Methods of Critical Discourse Analysis/.* L.

Wodak R. (2002). Fragment identities: redefining and recontextualizing national identity. - Chilton P., Schäffner C. (eds.) *Politics as text and talk: analytic approaches to political discourse*. Amsterdam.

Žižek S. (1989). *The Sublime Object of Ideology*. L.

Žižek S. (1990). Beyond Discourse Analysis. – Laclau E. (ed.) *New Reflections on the Revolution of Our Time*. L.